

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК



Российский
литературно-художественный
журнал

Издается с октября 1933 года

2015 сентябрь **5** октябрь —



Учредитель

Союз писателей
Российской Федерации

Главный редактор

Александра НИКОЛАШИНА

Редакционная коллегия:

Ю. Н. Кабанков (Владивосток),
В. Н. Катеринич (Хабаровск),
Ю. И. Ковалёв (Хабаровск),
Л. И. Миланич (Хабаровск),
А. В. Николашина (Хабаровск),
Н. В. Семченко (Хабаровск),
А. А. Смышляев (Петропавловск-Камчатский),
В. В. Сукачёв (Сочи),
Н. А. Тарасов (Южно-Сахалинск),
Г. П. Якунина (Владивосток).

Издатель

КГБУК «Редакция
«Дальний Восток»

ХАБАРОВСК
2015

Содержание

ПРОЗА

Марина ЯСИНСКАЯ. Два рассказа	3
Елена ГРУШКО. Остров Туманный, <i>повесть</i>	30
Виталий МАКСИМЕНКО. Даже если на это уйдет вся моя жизнь, <i>рассказ</i>	84
Елена СУПРАНОВА. Чужаки, <i>рассказ</i>	100
Павел ПОДЗОРОВ. Три рассказа, <i>дебют</i>	106
Валентин БЕРДИЧЕВСКИЙ. Давай договоримся! <i>рассказ, дебют</i>	116

ПОЭЗИЯ

Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ. Забастовка соловьев	21
Александр КУЛИКОВ. Рэндзю на тему стихов Роберта Блая	79
Иван ЕРПЫЛЁВ. «Триста дорог»	93
Елена СОСНИНА. Портрет в подарок	110

ОКНО В ПРИРОДУ

Юрий ЖЕКотов. Секреты лесной избушки	129
---	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Алла ГОЛУБЕВА. Листья и корни, <i>о моем отце</i>	132
--	-----

ПО ЖИВОМУ СЛЕДУ

«По характеру я юморист и сарказмист», <i>слово прощания</i>	143
Виктор РЕМИЗОВСКИЙ. И тут меня осенило!	145

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Николай СЕМЧЕНКО. Таинственный друг по имени Гертайн	149
Гертайн СИМПЛИСО. Тексты, написанные на салфетках, промокашках и даже на манжетах	152

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Арина РОДИОНОВА. Ирина Оркина — часть пейзажа, <i>штрихи к портрету</i>	159
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Александр УРМАНОВ. «На Амуре все возможно...», <i>роман «Амурские волки»</i> как литературный феномен	162
---	-----

ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ

Александра НИКОЛАШИНА, Юрий ШМАКОВ. Саша и Юра. С песней по жизни	172
---	-----

АВТОРЫ НОМЕРА	237
----------------------------	-----



Марина ЯСИНСКАЯ

ДВА РАССКАЗА

ЗЕЛЕНКИ И БАКЛАЖАНЫ

Профессор Корнелли привык к тому, что, когда он входит в аудиторию, в ней немедленно наступает тишина. Но сегодня студियोzy словно и не заметили его появления; собравшись на задних рядах, они что-то громко обсуждали.

— Тишина! — призвал профессор.

Студियोzy на миг замолкли и, увидев преподавателя, неохотно расселись по местам. Но расселись не как обычно, а на противоположных сторонах аудитории, разбившись на две группы.

Профессор Корнелли не придавал этому особого значения — мало ли, какие у них там свои студийные дела? — и объявил:

— Тема сегодняшней лекции — разнообразие органического мира.

Тут один из его студийозов, кучерявый Толли, поднял руку и, не дожидаясь разрешения, спросил:

— Сократ Гомерович, как вы считаете, то, что сегодня пишут в газетах, — это правда?

Профессор Корнелли, проводивший все свободное время в лаборатории, газет не читал, потому ответил:

— Что именно вас интересует, Толли?

— Я про то, что, оказывается, наша земля не одно целое? Вчера геологи спустились на дно каньона в Мелких горах и нашли там тектоническую трещину. Говорят, много веков назад тектонические плиты столкнулись и, зацепившись друг за друга, остались рядом. Но все равно это — две отдельные плиты.

— Возможно, возможно, — профессор Корнелли нетерпеливо побарабанил пальцами по столу. Он изучал биологию, и прочие науки, в том числе и геология, его не особенно интересовали. — И что из того?

— Как это что? Получается, у нас есть своя собственная, отдельная земля, которую мы долгие века вынуждены были делить с захватчиками!

— Какими захватчиками? — не понял профессор.

— С этими, из Загорья!

— Это мы-то захватчики? — вскочил было один из студийозов с противоположной стороны аудитории, но товарищи силой усадили его на место.

А профессор нахмурился. Мондивилль стоял среди Мелких гор, прямо на стыке Загорья и Подгорья. Люди, населявшие земли по обе стороны гор, практически не отличались ни языком, ни нравами, ни обычаями и испокон веков

спокойно жили по соседству, свободно переселяясь и перемешиваясь. Много лет назад будущий профессор приехал в Мондивилль, сначала — учиться, а потом и преподавать в университете. Прожив в городе столько лет, он уже и забыл, что сам родом из Подгорья; до сегодняшнего дня это не имело никакого значения.

— И когда они якобы захватили Подгорье? — спросил профессор, раздумывая, не пропустил ли он, сидя в своей лаборатории, быструю завоевательную войну.

— Да много веков назад! — выпалил Толли и яростно дернул себя за лиловый галстук. — Проникли в наши земли, незаметно смешались с нами и стали нас разлагать, разрушать нашу культуру.

— Это мы вас разлагали? Да вы у нас на шее сидели! — выкрикнуло сразу несколько студюзов с другой половины аудитории.

— Тишина! — повысил голос профессор и, дождавшись, когда студюзы угомонятся, сказал: — То, что вы описали, Толли, есть естественный процесс смешения родственных народов, проживающих на одной территории.

— Ага! — радостно воскликнул Толли. — Это вы правильно сказали, Сократ Гомерович! Проживающих на одной территории! Но теперь-то мы знаем, что эти, из Загорья, нам все время врал! Ведь земля у нас не одна на двоих! Плиты-то две! Значит, и земли тоже две! И, значит, у нас есть своя собственная земля! И нам нужно взять над ней контроль!

Студюзы загалдели, а профессор Корнелли потер виски пальцами — у него началась мигрень.

— Пожалуй, сегодня лекции не будет, — сообщил он и вышел из аудитории.

В широком университетском коридоре царил оживление и неразбериха; туда-сюда сновали студюзы, галдели, шумели, собирались группами.

Кто-то сунул профессору в руки пачкающий свежей типографской краской лист. Потом еще один.

«Защитим исконно нашу тектоническую плиту! Прогоним подлых зеленки!» — было написано на одной листовке.

«Осадим зарвавшихся баклажан! Не дадим расколоть нашу землю!» — призывали с другой.

Зеленки? Баклажаны? Профессор Корнелли нахмурился. Он, разумеется, понял, что зеленками подгорцы обозвали загорцев, а загорцы подгорцев — баклажанами. Но почему?

— Записываемся в народное ополчение! — отвлек профессора от раздумий звонкий голос.

Сократ Гомерович оглянулся и увидел конопатую девушку, забравшуюся на подоконник и обращающуюся к собравшейся вокруг молодежи.

Рядом с ней пристроился юноша с рулоном зеленой ткани; он отрезал от него широкие полосы и раздавал студюзам, а те повязывали их себе на шею.

Профессор кивнул — ему стало ясно происхождение термина «зеленка».

В другом конце коридора тощий юноша, стоя на стуле, выкрикивал:

— Желающие стать повторяльщиками! Все сюда!

Стул был задрапирован лиловой тканью, а у юноши и у собравшихся вокруг студюзов на рукавах красовались лиловые повязки.

Профессор хмыкнул. Вот и секрет «баклажан» — лиловый цвет.

Однако появилась новая загадка. «Повторяльщики», — задумчиво повторил профессор про себя новое слово. Что это такое?

— Проверим готовность! Ваша работа? — выкрикнул юноша.

— Повторять! — слаженно рявкнули лиловые студии.

— Что повторять?

— Плита — наша! Зеленки, прочь руки от нашей земли!

— Где повторять?

— Везде!

— Кому повторять?

— Всем!

— Молодцы! А теперь — расходимся!

Толпа рассеялась, оставив профессора наедине с тощим юношей, в котором Сократ Гомерович наконец узнал студюоза, ходившего к нему на лекции по биологии в прошлом году.

— Нахалли, — позвал он юношу, вспомнив его имя, — а зачем нужны повторяльщики?

Студюоз удивленно воззрился на профессора, словно не мог поверить, что кто-то не понимает столь очевидных вещей.

— Профессор Корнелли! Неужели вы не знаете, что если одно и то же повторять много раз, то оно превратится в правду? А правде людям придется поверить.

— Вы хотите убедить подгорцев в том, что их захватили загорцы? — быстро сопоставил одно с другим профессор.

— Не убедить! — оскорбился Нахалли. — Напомнить! Ведь это правда! Зеленки действительно захватили нас — тихо, подло и незаметно. Но настала пора отмщения!

И протянул Сократу Гомеровичу полоску лиловой ткани. Профессор механически ее взял, внимательно вглядываясь в лицо студюоза. Зрачки у того вытянулись по вертикали, на лбу выступили капли пота, а дыхание было частым и неглубоким.

И все сразу встало на свои места.

«Он заболел», — понял профессор и поспешил на кафедру, сиюсья припомнить болезни с похожими симптомами.

В центре кафедры горел костер, и библиотекарь, повязав на голову зеленую бандану, методично бросал книги в огонь. Ему помогал профессор истории, а остальные преподаватели подпирали дальнюю дверь кафедры, сотрясавшуюся от ударов извне.

— Вы что пожар устроили? — всполошился Сократ Гомерович. — Зачем книги жжете?

— Мы сжигаем лживые книги, — заявил ему профессор истории. — Мы сжигаем учебники, напичканные враньем об истории нашего народа! И у этих баклажан, — кивнул он в сторону сотрясавшейся двери, — не выйдет нас остановить!

— Вы позволите? — спросил профессор и, не дожидаясь согласия, взял профессора истории за руку и прижал пальцы к запястью. Пульс был учащенным. Заглянув в глаза профессору, Сократ Гомерович заметил, что зрачки у того вытянуты по вертикали. А на лбу выступил пот.

«Болезнь заразна, и она распространяется», — пришел к выводу профессор Корнелли и поспешил прочь с кафедры — ему не хотелось заразиться.

Выйдя на улицу, профессор тут же увидел, что город претерпел разительные изменения. Улицы были увешаны где зелеными, где лиловыми стягами. На перекрестках люди деловито возводили баррикады, а высыпавшие из окрестных домов женщины радостно жертвовали на строительство домашнюю утварь и мебель.

«Если это болезнь, то, выздоровев, они об этом очень пожалеют», — подумал профессор, глядя на то, как одна женщина отдавала для баррикады дорогой рояль.

— Для чего вы все это строите? — спросил профессор мужчину, который тащил на баррикаду новый стройматериал: кресло-качалку, ночной горшок, швабру, кастрюлю и чугунный утюг. Шаткая груда качалась, ночной горшок на вершине опасно кренился, грозя упасть на землю.

— Для защиты от врага.

— А разве кто-то собирается нападать?

— Разумеется!

— А откуда вы знаете? — продолжил расспрашивать профессор, вглядываясь в лицо собеседника. Все то же — вертикальные зрачки, частое неглубокое дыхание, пот на лбу.

— Все знают! — безапелляционно ответил мужчина. Тут венчавший груду стройматериалов ночной горшок упал и покатился по брусчатке, и мужчина бросился за ним в погоню.

За баррикадами профессор увидел толпу, собравшуюся у арсенала. Несколько лет назад океанологи предположили, что в Узком океане, кроме их земли, могут находиться и другие. Власти встревожились и решили построить арсенал — на случай, если другие земли и впрямь есть, а на них живут враги.

Что ж, врагов с неизвестных земель так и не дождались, но арсенал пригодился — из его дверей один за другим выходили вооруженные пищалями и арбалетами люди, украшали оружие лиловыми бантиками и становились в строй.

— Для чего вооружаетесь? — спросил профессор у одного из них.

— Формируем армию сопротивления!

У этого мужчины тоже были вытянуты зрачки, и дышал он учащенно. Кроме того, профессор Корнелли заметил, что лицо его собеседника густо поросло щетиной и словно бы вытянулось немного вперед, став похожим на морду животного.

«Да это уже эпидемия!» — заключил профессор и поспешил домой. Дома у него обширная библиотека; возможно, в одном из старинных манускриптов он найдет описание похожего заболевания и поймет, что нужно делать, чтобы остановить распространение заразы.

Возле дома собралась толпа людей с лиловыми тряпицами на шеях.

— В чем дело? — осведомился профессор Корнелли.

Ему не ответили: собравшиеся задрали головы, смотрели на окна на втором этаже, в которых колыхались зеленые занавески, и тихонько подвывали.

На втором этаже жила домовладелица, госпожа Молли, вместе с внучкой.

Профессор торопливо постучал в ее дверь.

— Госпожа Молли, это я, Сократ Гомерович!

Дверь чуть приоткрылась, в узкой щелке показалась пышная копна домовладелицы.

— Профессор Корнелли! Это вы! Слава богу! Я не понимаю, что происходит! Они стоят под моими окнами и... и воют! — воскликнула она.

Сократ Гомерович отметил, что глаза у госпожи Молли были с нормальными зрачками.

«А она не заразилась, — подумал он. — Почему же одни заболели, а другие — нет? Может, эта болезнь липнет к тем, у кого внутри есть какая-то гнильца? Тогда почему не заразился я?»

— Они больны, — пояснил профессор домовладелице. — Я еще не выяснил, что это за заболевание, но один из симптомов — неадекватная реакция на некоторые цвета. В частности, у этих людей зеленый цвет вызывает немотивированную агрессию. Так что снимите скорее эти ваши занавески.

— Да, да, я так и сделаю! — воскликнула госпожа Молли и убежала вглубь квартиры. — Ляля, деточка, не бойся, все хорошо, — бросила она на ходу сжавшейся в уголке прихожей испуганной внучке с зелеными бантами в волосах.

— И банты с Ляли на всякий случай снимите! — крикнул профессор вдогонку.

Всю ночь Сократ Гомерович копался в древних фолиантах, а рано утром устало вышел на улицу. У него было недостаточно информации, чтобы поставить диагноз, и ему требовалось больше понаблюдать за больными.

У входа в университет он столкнулся с колонной, волокущей длинные сваи, пушки и пищали.

— Вы куда? — спросил он предводителя.

— К тектонической трещине, — пояснил тот. — Просунем сваи внутрь, поднажмем — и оттолкнем нашу плиту от вражеской! И будет у нас своя собственная земля!

— Вы собираетесь оттолкнуть тектонические плиты? — воскликнул профессор. — Да вы в своем уме? Вы хоть понимаете, какую нелепицу несете?

Предводитель уставился на Сократа Гомеровича абсолютно пустыми глазами — ни проблеска разума! Профессор всмотрелся в вытянутое вперед, поросшее щетиной лицо, немного смахивающее на собачью морду, и признал в предводителе университетского повара.

«Изменение зрачков, потливость, учащенное дыхание, деформация лицевых костей, увеличение волосяного покрова, агрессивная реакция на определенный цвет, — перечислил он про себя ранее замеченные симптомы. — А теперь еще и частичное поражение мозговой функции».

— А пищали с пушками зачем?

— Отбиваться от зеленков. Эти жабы проклятые наверняка попытаются нас остановить!

«Видимо, «жабы» — это потому, что жабы зеленые, — криво усмехнулся над незатейливостью новой оскорбительной клички профессор. — Но ведь огурцы тоже зеленые? Почему не огурцы? Потому что жабы — это неприятнее?» — размышлял он, шагая дальше.

За углом здания Сократ Гомерович встретил другую колонну, под предводительством дирижера университетского хора; они деловито наносили себе на лица зеленую боевую раскраску.

— А вы куда? — обреченно спросил он.

— К каньону! Не позволим баклажанам оттолкнуть плиту!

Профессор Корнелли хотел сказать, что им можно не беспокоиться, все равно тектонической плите ничего не грозит, но вовремя вспомнил, что имеет дело с больными, и промолчал.

Просторные коридоры университета пустовали — похоже, студии и весь преподавательский состав заразились и сейчас были активно заняты борьбой за тектонические плиты.

Однако рядом с туалетом профессор заметил знакомую кудрявую шевелюру.

— Толли! — воскликнул он.

Студия повернулся, и профессор Корнелли на миг опешил — Толли мочился на висящую на стене карту земель Загорья.

— Вы что делаете?

— Зеленки оскорбили нас! Они осквернили наш цвет! — возопил Толли и показал профессору рулон туалетной бумаги. — Они выпускают туалетную бумагу в лиловой обертке!

— И вы решили отомстить, помочившись на их... э-э... землю? — кротко спросил Сократ Гомерович, отмечая, что лицо студия тоже вытянулось вперед, поросло щетиной и стало смахивать на собачью морду.

— Я? — выпучил глаза Толли. — Не было такого!

— Но я только что своими глазами видел! — опешил профессор. — У вас даже ширинка до сих пор не застегнута!

— Совпадение, — отмахнулся Толли, застегнул ширинку и поправил лиловый галстук.

«Выборочная атрофия зрения и слуха, — отметил про себя новый признак заболевания профессор. — Больные видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Все остальное отрицают. Сопровождается частичным поражением когнитивной* функции мозга».

— Профессор, — вдруг подозрительно нахмурился Толли. — А вы загорец или подгорец?

— Я — житель Мондивилля.

— Увиливаете, профессор, — зловеще процедил Толли, и у него в руках откуда ни возьмись появился нож. — Так не пойдет. Вы или зеленка, или подгорец — среднего не дано.

— Значительная деградация когнитивной функции мозга, — переформулировал один из признаков заболевания профессор и испуганно попятился.

— Эге-гей! Жабы наших бьют! — раздался тут с улицы крик. Услышав его, Толли вскинул голову, и профессор увидел, что уши у студия зашевелились и наострились, словно у собаки. А через несколько мгновений он бросился на улицу.

— Заметная трансформация анатомических признаков наружного строения, — тряским голосом пробормотал Сократ Гомерович, отмечая очередной признак болезни.

И поспешил к окну, решив своими глазами увидеть, что там происходит.

Университетская улица пустовала. В одном ее конце возвышалась баррикада, в другом стояла лиловая группа с Толли во главе.

Что-то застонало и заскрипело в шаткой баррикаде, и с вершины вниз покатилося поломоное ведро зеленого цвета, в котором профессор Корнелли узнал ведро их университетской уборщицы.

— Зеленки наступают! — заорал Толли, и поднялась хаотическая пальба.

Когда же она стихла, ведро было изрешечено, а двое горе-воjak зажимали руками раны от срикошетивших арбалетных болтов.

— Подлые жабы! — выкрикнул Толли. — Они на нас напали! У нас есть раненые!

* Когнитивный — связанный с мышлением, с познанием; познавательный.

Решив, что увидел достаточно, профессор заспешил в лабораторию. Теперь у него наверняка хватит признаков, чтобы поставить диагноз.

Профессор Корнелли все-таки нашел описание болезни в одном из старинных фолиантов.

«Особизм — это острое заболевание группы идеологических инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием и поражением функций головного мозга и всех органов чувств. Сопровождается стремительным атавизмом морфологических и психических признаков человека. В особо тяжелых случаях может привести к полной деградации и отбрасыванию больного на предыдущую ступень эволюции. Заболевание характеризуется крайне высокой заразностью и стремительной скоростью распространения».

Пришедший было в ужас от описания, профессор все-таки взял себя в руки. Надо спасать человечество! По каким-то неведомым причинам он не заразился, и — вот удача! — он еще и биолог. Значит, он сможет найти лекарство.

Точного рецепта в старинном фолианте не было, был лишь набор необходимых веществ. Что ж, значит, придется экспериментировать.

Профессор доковылял до кафедры психологии и набрал там нужные ингредиенты — гранулированные страхи, молотые комплексы, вытяжка из религии, эссенция политических ценностей и настойка социальных установок. На кафедре химии прихватил глицина и морфия, а у себя достал из кладовки корень валерианы, листья пустырника, мелиссу и хмель. Вывалил все это на стол, запер лабораторию — и принялся за работу.

Два дня спустя осунувшийся и измученный профессор вышел из университета. В руках у него был пробник лекарства, шприц с голубоватой жидкостью.

В городе царили разгром и тишина, и не было видно ни единой живой души. Профессор шагал по пустынным улицам, с испугом косясь на разрушенные дома и на пожарища, на торчащие из стен арбалетные болты и на лужицы крови. Что-то ужасное произошло в Мондивилле за те два дня, пока он работал в лаборатории!

Профессор уже дошел до квартала, где был его дом, когда навстречу ему высочила кудрявая собака и, уставившись на него, звонко залаяла и завиляла хвостом. Было в ее морде что-то знакомое, но профессор не мог сообразить, что именно, пока не увидел на шее у пса лиловый галстук.

— Толли? — недоверчиво выдохнул он.

Пес зашелся радостным лаем.

А профессор в ужасе уставился на своего бывшего студюоза. Полная деградация, отбрасывающая больного на предыдущую ступень эволюции — это самая последняя стадия особизма!

Оглядевшись, Сократ Гомерович заметил, что из завалов и из-под развалин выглядывают усатые мордочки и волосатые конечности. На некоторых до сих пор болтаются обрывки лиловой и зеленой ткани.

«Неужели они все на последней стадии болезни? — подумал профессор. — А остался ли в Мондивилле хоть один человек? Да что в городе — остался ли хоть один человека на земле, или эпидемия особизма выкосила всех подчистую?»

— Толли, за мной! — скомандовал он кудрявому псу и торопливо зашагал дальше.

Впереди уже показался дом, однако, когда до него осталось всего несколько шагов, профессор схватился рукой за грудь и тяжело осел на землю.

На крыльце среди обломков входной двери поломанными куклами лежали домовладелица Молли и ее внучка. Их одежда была покрыта бурыми пятнами; пустыми глазницами смотрели в небо лица, измазанные веселенькой зеленой краской; изо рта у девочки торчал бантик. Ветер трепал краешки зеленой ленты и прядки запутавшихся в ней светлых волос.

На стене позади чьи-то руки старательно вывели несколько надписей: «А зеленки изнутри красненькие!», «Жаба и жабеныш» и «Получите по заслугам!»

Сердце так сильно кололо в груди, что Сократ Гомерович подумал, не случился ли у него сердечный приступ. Он не сразу понял, что кололо не в сердце. Кололо в душе.

Если у профессора и были надежды на то, что в городе остались люди, то теперь они пропали. Тех, у кого оказался иммунитет к особизму, наверняка убили зараженные.

Кудрявый пес с лиловым галстуком на шее положил передние лапы на колени профессора, заглянул ему в лицо и завилял хвостом.

Сократ Гомерович несколько мгновений смотрел ему в глаза, а потом медленно произнес:

— Знаешь, что, Толли? Я думаю, звери из вас вышли куда симпатичнее, чем люди...

Пес вопросительно тявкнул, глядя на профессора умными глазами.

Сократ Гомерович притянул виноватую морду пса к своему лицу и вздохнул.

— Я знаю, что ты был болен и потому не ведал, что творил. По крайней мере, мне очень хочется верить, что виновата была именно болезнь. Может, бог это поймет — и простит. Но я, как человек — не могу... Так что оставайтесь лучше зверьми. И пусть все остальное сделает эволюция. Может, в следующий раз у нее получится лучше, — твердо сказал профессор, а потом решительно разломил пополам шприц с лекарством и отбросил осколки в сторону.

CARTE BLANCHE

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

Смысл жизни.

Пропал около года назад.

Особые приметы: для мужчины тридцать пять лет, женат, сыну три года, хороший программист, двухкомнатная квартира, «Хонда Сивик», отпуск на море, гольф, фалеристика.

Вознаграждение гарантируется.

Артем остановился у стеклянной автобусной остановки, заляпанной, словно брошенными снежками, рванными клочками объявлений, пробежал текст глазами и криво усмехнулся. Он и сам мог бы написать похожее.

Бахрома из узких бумажных полос с телефонным номером уже лишилась нескольких лепестков — кто-то оторвал. Интересно, неужели и впрямь нашли разыскиваемое?

Хмыкнув, Артем поднял воротник — накрапывал мелкий ноябрьский дождик, а следующего автобуса, судя по пустой остановке, придется ждать еще долго. Да, а ведь мог бы не мокнуть сейчас на улице. Ехал бы домой на своей машине, да хоть на той же вот «Хонде Сивик»... Дальнейшая цепочка мыслей выстраивалась быстро и привычно, как вымуштрованные солдаты на параде: мог бы стать хорошим программистом, владельцем иномарки и квартиры в центре, отдыхать на островах и заводить престижные хобби. Могло быть все — ведь на последнем выпускном он сдал свою карту с отличием! А в итоге...

Подошел автобус, желтый, как добрый тигр из детской сказки. Артем привычно нырнул в его ярко раскрашенное брюхо, плюхнулся на дешевый дерматин пустующего сиденья и прикрыл глаза. Не потому что устал, а потому, что смотреть было не на что — маршрут его будней не менялся вот уже несколько лет.

Двадцать минут езды по знакомым улицам, ритуальные танцы на светофорах, пятьдесят две ступени вверх.

Борщ или курица с пюре.

— Как на работе?

— Нормально.

Печенье к чаю, газета к лицу.

Дочка показывает раскраску или плюшевого зайца. Жена смотрит мыльную оперу на экранах чужих окон в доме напротив:

— Ты представляешь, тот, что со второго этажа в третьем подъезде, сегодня пьяный с работы пришел! А ведь его всего месяц назад кодировали. А крашеная блондинка, с пятого в первом подъезде, только что привела к себе какого-то молодого парня. Не иначе, любовник...

Три карты на стене — три успешно завершенных вояжа. Золотистые тона открытых земель, ломкие линии берегов, четкие полосы проложенных им маршрутов.

А четвертой карты не будет. Не будет новых горизонтов, не будет новых вояжей. Ничего больше не будет... Чертовы картографы!

Автобус вдруг фыркнул и взбрыкнул. Выплюнул густое облако сизого дыма — и затих.

— Сломались, — внес ясность ничуть не опечаленный водитель. — Выходим, выходим, ну же! — подгонял он.

Артем с сожалением вылез из брюха желтого зверя: там было сухо, а на улице моросило, и ветер, коварный, как вор-карманник, умело пробирался сквозь одежду и незаметно лишал тепла.

Улицы, изученные из окон автобуса вдоль и поперек, вплоть до потухшей неоновой буквы в названии аптеки, до асфальтовой кляксы на месте выбоины на тротуаре, преобразились, стоило лишь ступить на них ногой. Артем не сразу сообразил, в которой стороне дом. Всего пять кварталов — пожалуй, можно и пешком дойти.

Глотая смесь мокрой пороши и бензинового дыма, Артем шагал по знакомым, но неуловимо чужим улицам, безразлично скользя глазами по стенам безликих домов и равнодушным лицам прохожих.

Велосипедиста он заметил издалека — уж очень неожиданный и неуместный в это время года транспорт. Того и гляди поскользнется на мокром снегу и вылетит на проезжую часть.

Накаркал.

Переднее колесо припадочно завияло, отказываясь слушаться руля; велосипедист тяжело плюхнулся на землю, велосипед с обиженным треньканьем прокатился еще несколько метров и замер, врезавшись в фонарный столб.

Артем остановился около упавшего, помог ему подняться:

— Ничего не сломано? Скорую вызвать?

— Нет, все нормально, — помотал косматой головой велосипедист. — Спасибо, — он поднял глаза на Артема, и тот, рассмотрев из-под длинной челки заросшее щетиной осунувшееся лицо с больными глазами, недоверчиво прищурился.

— Димка?

Велосипедист настороженно уставился на Артема:

— Я тебя знаю?

Теперь уже Артем не сомневался:

— Неужели не узнаешь?

Димка молчал.

— Дим, да мы же с тобой первую карту вместе сдавали! И вторую... — тут Артем осекся.

— А-а, — в глазах Димки появилось узнавание. — Да, вторую сдавали...

Артем ругнулся про себя — вот ляпнул! Бросил беглый взгляд на давнего приятеля — и постарался спрятать, убить сочувствие, которое появилось в глазах. Димка был лучшим вояжером курса, его ждали головокружительные перспективы. И вот во что он превратился!

Видимо, Артем отвел взгляд недостаточно быстро — Димка, неузнаваемый из-за густой, давно не стриженной шевелюры, с досадой отвернулся, завозился с велосипедом. Бросил через плечо:

— Ну, а ты как? Третья сдана, четвертую открываешь?

Артем вздрогнул. Постарался взять себя в руки.

— Нет, не открываю.

— Что так?

— Четвертая карта... м-м... пропала.

Вот так. Прошедшие и грядущие годы бесцельности и пустоты — все они уместились в трех словах.

Велосипедист обернулся, и Артем с трудом подавил в себе желание отвести взгляд. Вот, значит, как он только что смотрел на Димку...

Чтобы скрыть замешательство, неловкость и досаду, он выпалил первое, что пришло в голову:

— Ну а Даша там как?

И снова прикусил себе язык слишком поздно.

Димка снова отвернулся и завозился в велосипедом, бестолково прилаживая отвалившийся от руля блестящий, в мелкую ржавую крапинку, звонок, а потом, не поднимая головы, забормотал:

— Даша... Дашенька... Дай только время... Дай мне совсем немного времени... Потерпи еще чуть-чуть... Я уже почти...

Артем с трудом сглотнул.

Даша. Яркая, как солнечный зайчик, ясная, как погожий летний день...

Лучше бы он прошел мимо Димки, не узнав его.

Председатель городского комитета картографии одобрительно взирал на нарядную толпу притихших под давлением торжественности обстановки выпускников с трибуны в форме глобуса. Стены актового зала украшали огромные репродукции старинных карт земель, потолок расписан под звездную карту, пол устлан коврами, изображающими личные карты самых выдающихся вояжеров современности.

Плотная глянцевая карта вкусно пахла типографией; Даша с удовольствием вдохнула сладковатый запах новой бумаги и остывшей краски и радостно улыбнулась — пункты ее вояжей почти полностью совпадали с Димкиными.

Димка же вертел в руках только что полученную карту и казался растерянным:

— Училище искусств? Что за ерунда! Математик или там физик — это я еще понимаю. Но художник?.. А синхронное плавание? Вообще чушь — я пейнтбол люблю.

— Планы картографов — планы народа, — привычно ответила Даша. Сама она тоже предпочла бы что-нибудь другое вместо училища искусств, но была счастлива тем, что новые вояжи не разведут ее с Димкой в разные стороны, и не собиралась выражать недовольство полученной картой. Тем более, что все равно ее не оспорить и не сменить.

— Планы народа, — пробурчал Димка с ноткой недовольства. — Если бы картографы и впрямь планировали для нас, они бы нанесли нам с тобой на карты острова Свадьба, Семья... Дети...

— Значит, на третьей будут, — ничуть не расстроилась Дашка и повернулась к стоявшему рядом Димкиному приятелю: — Тём, а у тебя что?

— Экологический, — отозвался тот, изучая свою карту.

— Здорово! — с энтузиазмом откликнулась Дашка и заглянула ему через плечо, рассматривая ломкие линии берегов и читая названия земель. — Так, ну, Первый курс, Второй, Третий — это понятно. А это что за остров? Практика в Фонде охраны дикой природы, ого!.. Студенческая газета? Интересно... Баскетбол... Ты играешь в баскетбол? Нет? Ну, теперь придется... «Свадьбы» тоже нет?

— И слава богу, — отшутился Артем.

Отвернулся и незаметно вздохнул.

Даша не была запланирована среди открытий приятеля; Димка встретил ее случайно, почти уже приплыв в конечный пункт первого вояжа. Артем бы и сам был не прочь отыскать такую... Может, на третьей карте будет.

Димка, хоть и уверял, что с ним все в порядке, сильно хронал, и потому Артем не покинул бывшего однокашника.

Да и не только потому. Встретив много лет спустя давних приятелей, редко торопишься разбежаться по сторонам. Хочется обменяться новостями, вернуться ненадолго в воспоминаниях в «старые добрые деньки», посмотреть со стороны на юного себя и снисходительно улыбнуться тогдашним планам и ожиданиям, надеждам, мечтам и наивной уверенности в том, что все будет именно так, как задумывается.

— Мы сдавали с тобой вместе вторую карту? — переспросил вдруг Димка и с подозрением уставился на Артема.

Да, разделить на двоих светлую ностальгию бывшего с ним вряд ли получится. Старый приятель выглядел человеком сломленным и сломанным: нестриженные волосы, давно небритая щетина, не фокусирующийся на собеседнике взгляд, реплики в сторону, порой — невпопад, нескоординированные движения...

— Сдавали, сдавали... Ты где-то здесь живешь?

— Я? Я вообще не здесь, — рассеянно отозвался Димка, отирая рукавом куртки погнутую, выпачканную раму велосипеда.

— В другом районе?

— Район?.. Нет, нет... Разве что следующая жизнь...

— Квартира твоя где? — Артем не сдавался, надеялся, что все-таки получит вменяемый ответ.

— Да там, — неопределенно махнул рукой Димка, а потом вдруг совершенно осмысленно выдал: — Сразу за Памятью, три пятнадцать.

«Неблизко», — прикинул про себя Артем расстояние до площади Памяти. Глянул на что-то тихо бормочущего под нос Димку. Одного оставить, сам дойдет?.. Нет, как-то неправильно...

С другой стороны, пока Артем туда, пока обратно, дома будет часов в восемь, не раньше, пропустит... А что он пропустит?

— Пошли, — Артем решительно перекинул сумку наискось, через грудь, на манер почтальонов, взялся за руль велосипеда и пресек вялую попытку давнего приятеля вмешаться: — Транспорт твой я докачу, а ты, главное, сам дойди, с такой ногой.

...Димкино жилье Артема удивило. Он ожидал увидеть темную, заброшенную конуру, в которой будут соседствовать пыль и беспорядок, а оказался в небольшой двухкомнатной квартире, казавшейся куда более просторной, чем на самом деле, из-за высоких потолков, огромных окон и почти полного отсутствия мебели.

«Интересные обои», — отметил Артем про себя, переводя взгляд на стены.

Некоторое время смотрел на абстрактные золотисто-кофейные узоры, а потом вдруг замер, не в силах оторваться.

Стены вовсе не были оклеены обоями. Это была карта. Одна огромная карта.

Артем сделал шаг к стене, чтобы лучше рассмотреть надписи. Знакомые названия материков, на которых он успел побывать за три совершенных имvoja — Выпуск из школы, Семья, Работа по профессии, Дети, — соседствовали с очертаниями неизвестных островов, до которых он так и не добрался. Да что там не добрался — никогда даже и не видел.

— Как? — тихо спросил Артем, не поворачиваясь к Димке, — он не мог отвести взгляд от карты на стене. — Ведь картографы... Ведь тем, кто... Ведь тебе же не полагалась новая карта.

— Это не картографы, — голос Димки прозвучал предельно серьезно и вменяемо — ни следа рассеянности, ни намек на душевное расстройство. — Это я. Я рисовал карту.

— Себе? — обернулся Артем. Он был настолько ошарашен ответом, что даже не подумал о крамольности заявления приятеля — создание карт было исключительной прерогативой картографов.

— Мы сдавали с тобой вторую карту! — вдруг, просияв, закивал головой Димка. — Ты — Артем, да?

— Артем, Артем, — отмахнулся он и вернулся к волнующему его вопросу: — Так ты кому карту рисовал? Себе?

— Себе, — хмыкнул Димка. — Зачем мне карта? Она у меня была.

— Как это? Ведь ты же ее... Я же видел, как ты ее...

— Нет, — замотал косматой головой Димка. — Она всегда была со мной...

— Карта?

— Даша.

Артем вздрогнул и на миг прикрыл глаза.

Даша. Яркая, как солнечный зайчик, ясная, как погожий летний день.

Очень хотелось спросить, где она и что с ней стало, но Артем промолчал. Он был совсем не уверен, что хочет услышать ответ.

Актовый зал городского комитета картографии уже не давил своей торжественностью так, как в первый раз.

Да и выпускников сейчас было меньше. Кто-то задержался в пути — слишком много времени провел на каком-то острове или выбрал долгий маршрут; кто-то и вовсе не смог добраться до порта назначения. Последним приходилось хуже всего. В то время, как все остальные получали новые карты, недоплывшие должны были смириться с тем, что в их жизни больше не будет вояжей. Не сделавшие всех обозначенных на карте открытий в срок не имели права получать следующую. Картографы снимали ответственность за маршрут их жизни и оставляли дрейфовать в одиночестве — без целей и без ориентиров.

На первом выпускном Артем был слишком занят рассматриванием новой карты, чтобы обращать внимание на тех, чьи вояжи закончены. В этот раз вышло по-другому.

Получив из рук председателя городского комитета картографии плотный конверт, Артем нетерпеливо его разорвал. Третья карта, новенькая, глянцевая, как и предыдущие две, вкусно пахла типографией.

Артем жадно разглядывал незнакомые линии. Отплывал он из последнего порта второго вояжа — Получить профессию. Впереди — густой архипелаг островов, не вытянутый в ряд по одному, как на первых двух картах, а расплывшийся густой кляксой — не понять, с которого начинать и каким маршрутом следовать. Названия земель, которые ему предстояло открыть, нанесены тонким, изящным шрифтом: Инженер-эколог, Жилье, Волонтерство в союзе охраны водных ресурсов, Семья, Поездка на Енисей, Ребенок, Гребля на байдарках...

Артем повернулся к Димке, собираясь поинтересоваться, что же приготовили картографы его приятелю — и слова застряли в горле.

Бледный, как зимнее утро, Димка медленно рвал свою карту.

Только что полученную третью карту!

Плотная глянцева бумага скрипела, не поддавалась дрожащим пальцам, но он упорно терзал края до тех пор, пока не появилась бахрома, за которую уже можно было поудобнее ухватиться.

Даша же, всегда такая яркая и ясная, отвернулась от Димки и, кажется, беззвучно плакала, сжимая в руке конверт с новой картой.

Артем бросился к приятелю, схватил его за руки:

— Ты что делаешь!

Димка медленно сфокусировал взгляд на лице Артема. С трудом разжал стиснутые зубы:

— Она мне не нужна.

От неожиданности Артем даже отступил на шаг.

— Как не нужна? Ты что!

— Не нужна, — ровно, без эмоций повторил Димка и добавил: — Не такая.

— Дим, — попытался уговорить Артем приятеля: — Дим, планы картографов — планы народа. Пока еще не случилось ничего непоправимого; ты разгладил карту, успокойся, подумаешь... Помнишь, на первом выпускном ты и в училище искусств не хотел, а посмотри, как у тебя прошел вояж — лучше всех на курсе! Ну, что ты там такого страшного увидел? Тебя отправили на остров Уличный художник или к материку Учитель рисования?

Артем осторожно вытащил смятую, надорванную карту из рук приятеля, расправил, пригляделся к названиям запланированных открытий.

— Э, Дим, да ты что! Ты названия-то читал? Семья, Дети, Коллекции, Вернисажи, Выставки, Музеи, Аукционы... Ты дурак — такую карту рвать? — едва не закричал он. — Даш, ну скажи ты ему!

Даша медленно обернулась, и Артем, посмотрев на ее бледное лицо, как-то сразу все понял. И больше уже ничего не говорил — просто вытащил кусок бумаги из ее пальцев, бросил всего один взгляд — и у него перехватило дыхание.

Дашина карта белела нетронутой глянцевой пустотой.

...А Димка тем временем рвал свою карту.

Димка, с отсутствующим видом бродивший по квартире, извлек из глубин своего затуманенного сознания какие-то обрывки воспоминаний о том, как надлежит вести себя с гостями, и пригласил Артема на кухню. Там обнаружили электрочайник, ароматная заварка и красующийся посреди пустого стола замок из кускового рафинада.

— Со стен бери, — строго предупредил хозяин и подал пример, осторожно сняв кусок сахара возле угловой башни. — Иначе им оборону не удержать.

Артем аккуратно внес свою лепту в разрушение стен крепости и рассеянно наблюдал за тем, как Димка достал из закровов дешевого шкафа-пенала коробку с кусковым рафинадом и принялся осторожно восстанавливать пострадавшую фортификацию.

«Неужели меня ждет то же самое? — со страхом думал он, наблюдая за невнятно бормочущим Димкой. — Неужели это из-за того, что нет карты?»

— А ты почему не в вояже? — не отрываясь от сахарно-восстановительных работ, спросил вдруг Димка.

— Так получилось, — пожал плечами Артем.

— Как получилось?

Вспоминать Артем не любил. Плакаться и жаловаться на несправедливую судьбу не хотелось...

— Неужели третью не проплыл? — Димка оторвался от строительства и смотрел на давнего приятеля совершенно здоровым, осмысленным взглядом.

Резкие качания маятника Димкиной вменяемости выбивали Артема из колеи.

— Да нет, — нехотя отозвался он. Понадеялся, что Димка вернется к сахарному замку и забудет о нем, но тот не отводил внимательного взгляда, и Артем нехотя продолжил: — Помнишь, как были расположены на третьей карте острова? — Бросил опасливый взгляд на приятеля, сообразив, что снова упомянул большую тему. Димка был спокоен, и он продолжил: — На первых двух картах они ведь шли рядом, Первый класс, Второй, Третий, Первый курс, Второй... А на третьей — не пойми куда плыть, все вперемешку, одной большой кляксой.

— Но ты проплыл? — перебил его Димка.

— Проплыл. И очень хорошо проплыл. Получил четвертую, а там... Там — как на третьей, только еще хуже. Очень, просто очень много островов, только это уже не клякса-архипелаг, а клякса на всю карту. Проложить маршрут просто невозможно.

— И ты испугался, — Димка не спрашивал, он утверждал.

— Да, я испугался. Наверное, я бы посидел и разобрался; в конце концов, многие люди совершают четвертый вояж и как-то справляются... Да только вскоре после третьего выпускного я наткнулся на рекламный плакат. Может, помнишь, были такие, зелено-оранжевые. «Определение масштаба, движение по азимуту, измерение расстояний — не прокладывая маршрут сам, найми себе...»

— «Штурмана», — неожиданно подхватил Димка.

— Ну, вот, собственно, и все, — резко закруглил рассказ Артем. Если Димка знает о «Штурмане», значит, знает и конец его истории.

Ошеломительная по своей наглости и печальному успеху афера несколько лет назад обескартила приличную часть населения. Компания «Штурман» предлагала принести свою карту и за символическую сумму обещала профессионально проложить оптимальнейший маршрут.

Когда, выждав обещанный срок, Артем пришел в контору, «Штурмана» и след простыл, зато на обитой узкими рейками двери висело напечатанное на плохой бумаге объявление о возбуждении в отношении ООО «Штурман» уголовного дела.

— К картографам ходил? — период «просветления» у Димки, похоже, продолжался.

— Ходил, — вяло махнул рукой Артем.

— И?

— Что — «и»? Как ты сам думаешь?

Димка закивал и вернулся к укреплениям сахарного замка. Артем же только усмехнулся, вспомнив обитую дешевым дерматином приемную в городском комитете картографии, длинную очередь за дверями и неприступную перезрелую секретаршу с наглухо, как ворота обороняющегося города, застегнутым воротничком старомодной блузки.

— Вы четвертую карту получали?

— Ну, получал.

— В реестре расписывались в получении?

— Ну, расписывался.

— Тогда — все. Это ваши проблемы.

— Но ведь я же... Неумышленно.

— Не имеет значения.

— Но у вас же наверняка остались копии выданных карт.

— Что?

— Может, сделаете мне новую?

— Молодой человек, вы хоть представляете себе, какую титаническую работу проделывают картографы, создавая каждому человеку индивидуальную карту?

— Но как же я теперь... без карты...

— Как остальные. И вообще, осторожнее надо было с выданной. Следующий! Чертовы картографы!

С той поры все пошло не так, как должно было. Разумеется — ведь без карты на руках потерялись ориентиры и направления. Смысл и цель. Впереди не ждали новые горизонты и неизвестные открытия. Артем перестал отчетливо видеть свое будущее.

Зато сегодня, в лице Димки, он увидел один из его возможных вариантов. И такое будущее его ужаснуло.

Пустую карту выдавали всего в двух случаях. Гениям, полет чьих мыслей не стоило ограничивать рамками заданных открытий, или тем, кто, хоть и завершил свой вояж, но проделал его с таким трудом, что в глазах картографов не имело смысла тратить время для создания им следующей карты и отправлять их в новое плавание.

Белая карта в последнем случае являлась бюрократической формальностью. Невыдача карты свидетельствовала о том, что человек не завершил вояж. Белая

карта — о том, что вояж человек завершил, но так плохо, что следующий не заслужил. Конечный результат — один и тот же.

Димка не радовался второй карте: он не хотел идти в училище искусств и заниматься синхронным плаванием, но у него неожиданно обнаружились способности и к тому, и к другому — словно подтверждая известную истину «Планы картографов — планы народа».

А вот в Дашином случае эта истина не сработала. Художественное искусство давалось ей с большим трудом. От острова Первого курса ко Второму, от Второго к Третьему она добиралась только с помощью Димки, решительно настроенного на то, чтобы прийти к порту назначения одновременно и из него же отправиться дальше — вместе.

Не вышло.

— Даш, ты неправильно на это смотришь, — уговаривал ее Артем. — Понимаешь, вот если бы тебе вообще не дали карту, то это другое дело. Но тебе же ее дали. Послушай. Белая карта, это как... карт-бланш. Понимаешь? Полная свобода действия. Признание гениальности, можно сказать... А ты смотришь на нее как на черную метку...

Наверное, ему не хватало убежденности. Или, скорее всего, он просто сам не верил в то, что говорил. В глубине души Артем знал, что лично он не обрадовался бы карт-бланшу; полной свободе действий, неизменно влекущей за собой груз ответственности за принятые решения, он предпочел бы нанесенные на карту конкретные земли.

Всегда такая яркая, как солнечный зайчик, Даша стала хмурой, словно пасмурное осеннее небо. Она уныло смотрела в одну точку, и было ясно, что ее одолевали те же мысли, которые так старательно гнал от себя Артем. Не надо никакого карт-бланша, не надо никакой свободы. Даша хотела как прежде — чтобы указали на горизонты и назначили порт прибытия.

Когда стены замка были полностью восстановлены и сахарная крепость могла вновь встретить очередной штурм чаепития, Артем все же рискнул.

— Дим, — едва слышно позвал он приятеля. — Так что с Дашей?

«Просветление» закончилось — маятник Димкиной вменяемости стремительно понесся в другую сторону. Он наклонил голову и словно заговорил с кем-то невидимым:

— Я нарисую тебе карту не хуже картографов... Глупцы, да что они о тебе знают? Я, я тебя знаю!.. Я дам тебе все острова... Только не гасни, слышишь? Только не гасни...

Артем отчаянно вслушивался в Димкино бормотание, выхватывал обрывки смысла.

— Погасла? — тихо, чтобы не спугнуть ход больных мыслей, спросил он.

Димка схватился руками за голову и закачался взад-вперед:

— Не успел, я не успел... Я научился, но не успел!

— Научился?

— Я научился рисовать. И ей нарисовал. Но было поздно, слишком поздно!

— Ты нарисовал Дашке карту?... А как же картографы? — Артем напрочь забыл, что разговаривает с душевнобольным и жадно подался вперед, так, словно его будущее зависело от следующих слов.

Словно почуввав его отчаянное напряжение, маятник Димкиной вменяемости качнулся обратно.

— А что — картографы? — Димка снова смотрел на него трезво и пронзительно.

— Ну, как же, — растерялся Артем, — это же они создают нам карты.

Димка вдруг вскочил, так, что одна из смотровых башенок сахарного замка вздрогнула и рухнула на стол.

— Хочешь, я покажу тебе твою карту?

— Мою?

— Да, да, твою! Четвертую. Ту, что у тебя забрали.

— Постой, как ты можешь знать, что на ней было?

— Знаю. Я рисовал карты для Дашки. Много карт. Очень много. Я научился. Только вот для нее не успел... — маятник вменяемости, достигнув пика, понесся в обратную сторону. Димка снова вцепился руками в густую шевелюру и закачался вперед-назад: — Не успел... Поздно, слишком поздно!

Артем молча сидел за столом, с холодным спокойствием наблюдая за метанием больных мыслей Димки. А когда тот затих, встал и тихо попросил:

— Показывай.

...В маленькой спальне было темно, и Димка не торопился включать свет. Как-то по-крабьи, бочком, он подошел к окну и задернул плотные шторы. Теперь темноту не нарушал даже рассеянный свет с улицы.

Из угла раздалось какое-то шуршание, а затем зажегся подслеповатый свет ночника и поплыл по стенам комнатухи.

— Смотри внимательно. Вот сюда, на этот материк. Что он тебе напоминает? — Димкин голос звучал абсолютно вменяемо — уверенно, четко и ясно.

— Не пойму, — Артем скептически наблюдал за проступавшими на стене контурами. Ну откуда этот безумец, самолично порвавший свою карту, может знать, что было запланировано в чужом вояже?

— Вспоминай, вспоминай, — настаивал Димкин голос.

— Ну, — вздохнул Артем, сдаваясь, и присмотрелся, — кажется, немного напоминает порт прибытия моей третьей карты, — неуверенно сообщил он.

— Как он назывался?

— Инженер-эколог.

— Теперь посмотри на два острова сразу следом за ним.

— Ну.

— Неужели ничего не видишь?

Артем пригляделся — и вдруг в проступающих на стенах линиях ему почудились знакомые очертания, которые, кажется, и впрямь были на потерянной им четвертой карте.

— Вижу, — выдохнул он, не веря происходящему. — Вон тот, в форме подковы — это Продвижение по работе. А вытянутый, слева — он назывался... как же его... Проект внедрения ветровых турбин, точно!

— А теперь вон тот, в правом углу...

Голос Димки водил его по чуть расплывчатым очертаниям на стене, и в незнакомых линиях Артем находил земли, которые, как ему казалось, были нанесены на его потерянную четвертую карту... Или не были? Четвертую карту Артем держал в руках совсем недолго, он не успел ее запомнить.

Но с каждой проведенной в Димкиной комнате минутой его сомнения все больше рассеивались. Он ясно видел перед собой земли Карьерного роста, материк Общественной деятельности, остров Первой карты ребенка... Все они точно были на потерянной карте. Не могли не быть!

Надо же, как испугала его тогда своей сложностью четвертая карта! А сейчас он так рад ее видеть, что она уже не кажется ему неодолимой, наоборот — все так просто!

— Димка, я даже не знаю, что тебе сказать, — развел он руками позднее, уже стоя в прихожей. Клочок бумаги со своим адресом Артем оставил на столе, приперев его одним из обломков сахарного замка. В руках он держал сумку, в памяти — каждую черточку потерянной и вновь обретенной карты. — Ты... Спасибо! — Артем взялся за ручку двери и, уже повернув ее, обернулся: — Мне очень жаль, что ты не успел тогда...

Димкин маятник снова полетел в другую сторону — он стоял в дверях кухни, смотрел мимо приятеля и бормотал что-то бессвязное.

— Ладно. Ты, это... в гости заходи, адрес я оставил. Ну, бывай, друг, — тихо попрощался Артем и аккуратно прикрыл за собой дверь. Вышел на улицу, огляделся — и, как ребенок, радостно зашлепал по лужам.

Димка же еще некоторое время смотрел на захлопнувшуюся дверь, а потом тихо прошептал, будто передразнивая кого-то:

— Мы не умеем, мы не можем!..

Прошел в маленькую спальню, где только что показывал Артему его карту, и щелкнул выключателем. Яркая электрическая лампочка зажглась в высоте потолка и осветила стены. Те белели нетронутой глянцевой пустотой.





Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

Забастовка соловьев

Впасть в детство

*...опять начнется детство,
пускай оно называется старостью.
Грибоедов в романе Тынянова*

И впасть, как в ересь, но не в простоту,
Не в пустоту, не в густоту, откуда
Вниз головой влетаем в кавардак,
Холодный, жуткий, бешеный, кипящий,
Крича от страха (мир кричит в ответ
На тыщу голосов, все множа отклик).
Впадать вдруг в тишину, которой нет
Нигде помимо детства. В морок сна,
В мычанье мамы, сладкой, полуспящей,
Когда в ней мир, весь белый, благодатный,
Весь нежный, весь кормящий сразу всем:
Любовью бывшей, будущей разлукой,
И молоком проснувшихся вулканов,
И этноса покалываньем в чреслах,
Тем русским бунтом, заумью еврейской,
Арабской вязью, готтской прямотой.
Младенец, встретить в человеке с старцем,
Сойдись, приход с уходом. Смерть, в расход
Пусти восторг и жадность, силу-слабость,
Дай перезревшим семенам упасть
В нутро земли — и храбро прорасти
Навстречу тем же гибелям и славам.

Клёво

Неба зелень и синь плюс закат золотою каймой.
Мятежи, потрясения, пожары остались за кадром.

Ветер с севера. Чайки, как в песне, летят за кормой,
Будто гонятся души несчастных за новою кормой.

Ветер с севера дует, и в горле какой-то комок.
Мир, знакомый до слез, притворился до слез незнакомым.
По законам поэзии белые чайки летят за кормой,
По велениям прозы, как все мы, ныряют за кормом.

Птицы чайки, вам море, закат и обед задарма,
Вам шторма нестрашны и не нужно ни ложа, ни кровя,
Что ж вам так полюбились посудыны нашей корма
И матрос, оценивший сквозь зубы Вселенную: «Клёво?..»

Гобелен

Благородный мой олень,
Ты на древнем гобелене
Жив, нелжив никак не мене,
Чем вся эта дребедень.

Мотылек, ты жил не впусте.
Век твой краток, как и мой.
Скоро нас с тобой отпустят
В небеса — к себе домой.

— Ты куда? Куда ты, ворон?
— Полетел считать ворон!..
Я неловок, ты проворен.
Я рожден, ты сотворен.

Муравей мой, муравей,
На минутку отвлекись ты!
Мы с тобой одних кровей,
Мы одной рисунок кисти:
Я — левее, ты — правей.

Рисунок тушью

Глухая ночь.
Свернувшись в три погибели,
А может, и в четыре, спит народ,
Куда мыплыли и куда мыприбыли,
Не помня. Обмелевший небосвод
Перебредают призраки толпой,
И невозможно разглядеть в потемках,
Горбы ли, крылья, просто ли котомки
У серых, серых теней за спиной.

Заря уж бредит славой Герострата, —
Потерпит, перебьется как-нибудь.
Поблескивая галькой, Млечный путь
Не выглядит дорогой без возврата.

Выходим в море

Траченные молью,
Это не про вас.
Мы выходим в море,
Море входит в нас.

Всех забот пропажа,
Антисуэта.
Долгота все та же,
Та же широта.

Все случиться может.
Будущее здесь.
Век еще не прожит.
Мир еще не весь.

Может все случиться.
Свод небес высок.
Непечатый, чистый
Времени кусок.

Богу всех ракушек
Молится моллюск.
Не скажу, кому я
Тоже помолюсь.

Ты не хочешь с нами
В море как-нибудь —
Поделиться снами,
Вечности глотнуть?

Забастовка соловьев

Ветер может серебряным быть, золотым и железным,
А бывает в ночи — тяжелее свинца.
Как мы долго поля и леса не жалели!
Нас теперь не жалеют поля и леса.

Или кажется мне, будто забастовали
И молчат несогласные петать соловьи?

Что деревья вокруг притворились дровами,
Что цветы отшатнулись, что как не свои

Смотрят звери лесные на нас исподлобья,
Словно думая: были же божьи подобья,
Жили-были, любили, трудясь и надеясь,
Помним, были же люди! Куда они делись?

Девушка с веслом

Привет, советская античность.
Ну, здравствуй, девушка с веслом!
Твой мир давно пошел на слом,
А ты вполне аутентична.

Ушедший мир, до точки сжатый!
О, ностальгическая грусть
И старшей пионервожатой
Незабываемая грудь!

Ведь пол-отряда сна лишали,
Рождая горла пересох,
Начатки нежных полушарий;
Где это все? Ушло в песок.

А ты, виновница мечты
Не-пионерской и преступной, —
Все так же недоступна ты,
Почти все так же неотступна.

Мальчишеского вожденья
Невинный, в сущности, предмет,
Все так же чист и в отдалении,
За дымкой опытов и лет.

Прости, заветная скульптура,
Ваятельской халтуры плод.
С тобою целая культура
Ушла навек под толщу вод.

Обшарпана и безыдейна —
Идею время унесло —
Позволь в тебе любить отдельно
Ту девушку и то весло!

Каталог облаков

Жил я долго, особо ничем не блистая,
но баклуши не бил. Результат же таков:
я составил и детям в наследство оставил
самый полный на свете

КАТАЛОГ ОБЛАКОВ.

Всяких: перистых, легких, сквозных, кучевых,
исхудалых и, наоборот, полнотелых,
и почти что оседлых, и кочевых,
ослепительно, по-лебединому белых,
и унылых и серых, как жизнь без любви,
и веселеньких, солнцем позолоченных,
и багровых, как триллер, погрязший в крови,
и чреватых угрозой, иссиня-черных.
Я использовал лучшую аппаратуру,
я исследовал вес их, состав и структуру,
я по карточкам, ящичкам их рассовал,
я их классифицировал, зарисовал.

Одного никогда не пойму: на черта они
то и дело меняют свои очертания?

Снежное утро

Год ведет себя
Просто как дикарь:
На дворе апрель,
А на вид — декабрь.

На дворе снега,
На дворе дрова.
— Слышь, ты жив?
— Ага!
— Ну и я жива!

Мы ведем себя
Вызывающе:
Я живой пока,
Ты жива еще!

Немного ревности

Вот неопровержимые улики:
Свет, словно бьет прожектор изнутри.
Другому предназначенной улыбки
Слепящее сиянье. Посмотри,
Как ты умеешь быть прелестна. Что ли
Забыла, как при мне, со мною ты
Была права такой же правотою,
Красива жуткой той же красотой,
Что вдвое откровенней наготы?
Мне, что ли, незнакома эта дрожь
Напополам с кошачьей, хищной ленью?
Ты, женщина, видать, не признаешь
Любви, когда она не преступление.

Заря

Заря сгореть торопится заря,
О зрителях ничуть не беспокоясь.
Так в подсознание тлеющая повесть
Вдруг вспыхнет в середине мартабря.

Там, как ни странно, есть на все ответ:
Кому встречаться, а кому проститься,
Кто вправе разговестись, кто — поститься,
Кому прощенья нет, кому простится.
И толща всех дождей,
И зим и лет
Спрессованная масса прет наружу,
Не спрашивая, лучше или хуже
Ей будет на свету. А ты стоишь,
Застигнутый внезапностью прорыва.

Опять заря сгорает торопливо
Над гребешками леса, кромкой крыш.

Ни белый лист, ни повесть, ни рассвет
Не ждут вниманья или одобренья.
Им безразличны ваши слух и зренье,
И целью света вечно будет свет.

Понятно ли, о чем я говорю?
Нельзя приватизировать зарю.
Жизнь, вечный крах ее и торжество —
Всегда ни для чего, ни для кого.
И авторского права обладатель —
Создатель.

Беглец

Андрей Белый —
Андрей беглый.
Улизнувший от окаянства
Как времени, так и пространства,
От немоты и от слова,
От Блока, от Соловьева,
От той Прекрасной Дамы,
Дабы
Сковырнуться с земного
с катушек слетевшего шара.

Отшатнувшийся
От мирового пожара,
От
Разорванных мировой войною артерий,
Артиллерий и кавалерий,
От
Пехот,
От расхристанных, фамильярных и жадных
Пожарных,
Все гасивших огонь человеческой кровью.

От себя точно так же бежавший, не скрою,
Навсегда отлетевший от имени своего,
Чтобы из ничего
Вылеплять эти странные грозди фамилий двойных,
Невозможных, уродских, нелепых,
И прекрасных, как сердце в калеках,
И носителей, да, и носительниц их,
Взятых намертво, точно ударом под дых,
Вместе с тоннами
Щек и носов,
Бакенбардов, турнюров, усов
И скольжений ужиных,
И ужимок,
Шагов и поступков,
Перемигиваний, перестуков.

Бедный беглый
Белый Андрей
Всех безумнее
И уж, конечно, мудрей,
Колобок, убежавший от бабки и деда,
Голубок, улетевший в тугие пределы,
Кто тут смелый — в погоню, лови беглеца!
...И созвездие вместо лица.

В ночном

Лошадь звездным кормится овсом.
Э, их две! Гуляют осьминогом.
Расскажу немного обо всем,
Помолчу немного о немногом.

Расскажу немного обо всем,
Но с чего, товарищи, начну я?
Лошадь звездным кормится овсом.
Это Вологодчина. Ночное.

Это детство. Это костерок.
Это губы мягкие лошадки.
Это ветер. Это свежесть впрок.
Это мир устойчивый и шаткий.

Волнами накатывает сон...
Так на чем бишь я остановился?
Лошадь звездным кормится овсом,
Глядя черным оком ясновидца.

Через век ладони протянуть
И тепла давнишнего коснуться.
Расскажу немного обо всем,
Только не давайте мне проснуться.

Большая Берлога

К чему о любви, когда сосны полночные живы,
Когда мы с тобой — продолжение света, и тьмы,
И шепотов, шорохов, всплесков... И мир одержимый
В себя вроде вслушался. Вслушались тоже и мы
В себя и друг в друга. Услышали: сквозь капилляры
Со звоном, толчками протискивался кровоток.
И твой силуэт под звездой продрогшей Полярной.
И Спутника шалого там, по соседству, виток.
Большая Медведица. Очень Большая Берлога.
Почти что невидима, ты мне шепнешь, наклонясь,
Что если найдется во всем этом все-таки место для Бога,
То, может быть, все же найдется оно и для нас.

Привет краснокожим

Когда и ночи неuproгляд,
И дни несносны,
И нервы, подлые, шалят,
Ищу я сосны.

И краснокожая — красна,
Как три индейца,
Мне внятно говорит сосна:
Живи, надейся,

Упрись корнями в эту твердь,
Башкою в тучи,
Поверь в себя, в меня поверь,
В мир этот сучий.

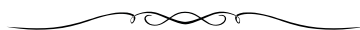
Я тут

Я в этих буквах, этих строчках.
Я в этих запятых и точках.
Не сомневайся, весь я тут.
Не только я: окрестный воздух,
Электровоза дальний возглас
И осторожный дятла стук.

Переверни еще страницу —
Найдешь вчерашнюю зарницу,
И ветра вздох, и речки всплеск.
Тоску по горестной отчизне,
Тщету и смысл прошедшей жизни,
И нищету ее, и блеск.

Качнется Млечный Путь в колодце,
На трассе прошумят колеса.
Иголка пропадет в стогу.
Сожмется Космос, потеснится,
Чтоб влезть в открытую страницу,
Вот в эту самую строку.

И ты, и ты со мною вместе,
Мы вместе, наподобье вести,
Нашедшей адресата в срок,
Настырные, как чувство долга,
Глядишь, останемся надолго
Как в строках, так и между строк.





Елена ГРУШКО

ОСТРОВ ТУМАННЫЙ

Повесть

Туман поглощал все, что только мог поглотить. Иногда Валерке казалось, что в мире ничего больше нет, кроме этого тумана. Что залег он не только на волжском берегу, где между лесом и широкой рекой притулился городишко, но и распростерся до самого Нижнего Новгорода. А то и дальше!

В Нижнем осталась Валеркина соседка по парте Зойка Семенова — и она теперь ничего не видит из-за этого же самого тумана. И в Одессе, куда уехал на каникулы закадычный друг Серега Сапожников, тоже туман, а может, и в Париже, где проводит лето счастливица Юлечка Комарова по прозвищу Пугало, и даже на Дальнем Востоке, куда улетел Володька Зиновьев...

Валерке очень хотелось бы думать, что все они тоже в тумане, всем им тоже сыро, скучно и противно. На самом деле — он в этом ничуть не сомневался! — они, конечно, всю наслаждались каникулами. И только Валерка, у которого родители срочно уехали в длительные служебные командировки, попусту тратил свою молодую жизнь в городишке, где служил начальником полиции Сан Саныч Черкизов — Валеркин дядька. Он не любил, когда его называли дядя Саша, поэтому племянника давным-давно предупредил, чтоб звал его только по имени-отчеству, а то друзьями они никогда не станут.

Тут с именами и названиями вообще было забавно. Например, городишко так и назывался — Городишко.

— А что такого? — пожимал плечами Сан Саныч. — Слышал — есть город Городец? Есть — Городище. А у нас — Городишко.

Валерка подумал: «Как лодку назовете, так она и поплывет!» Городишко — он городишко и есть. Маленький, грязенький и скучный. И на него иногда наваливается туман.

Валерке здесь совершенно нечем было заниматься, а потому во время тумана он иногда сидел на старом причале, больше похожем на примитивные мостки на покосившихся сваях, и таращился в белую пелену. Занятие это было однообразным, но нескучным, потому что туман вел себя нескучно.

Он то висел неподвижно, то начинал клубиться, как будто его кто-то помешивал изнутри. То слоями ложился: плотные, на вид ну просто-таки твердые, чередовались с зыбкими, почти прозрачными. А иногда туман начинал собираться хлопьями, как прокисшее молоко, если его поставили вскипятить.

Но что никогда не менялось, это полная, глухая, мертвая, можно сказать, тишина, которая воцарялась на берегу и на реке, лишь только ее заволакивала непроницаемая белая пелена.

— ...Ох, что-то мне тревожно сегодня! Скорей возвращайся, Уран! Будь с ним поосторожней!

Валерка чуть не свалился в воду! Женщина говорила словно бы совсем рядом с шатким причалом, на котором он посиживал.

В ответ прозвучал юношеский смехок:

— Да ладно, мама, ну не в первый же раз! Других привозил — и его обязательно привезу.

И опять стало тихо. Только чуть слышно журчала вода, разрезаемая килем чьей-то лодки.

В тумане, как известно, звуки разносятся далеко. То есть неизвестные путешественники могли оказаться чуть ли не в сотне метров от берега.

Интересно, как они плывут, если не слышно ни шлепанья весел, ни рокота мотора?

По воле волн, что ли? Без руля и без ветрил?!

— Ха, — себе под нос пробурчал Валерка. — Что за фокусы?!

Давно он так не удивлялся! И было чему...

Надо сказать, что в Городишке порядка не существовало никакого, несмотря на усилия немногочисленной полиции. Народ браконьерничал, дрался, поворовывал друг у дружки; то и дело горели сараи, в которых коптили рыбу на продажу... Даже Сан Саныч не раз жаловался племяннику: «У нас здесь один сплошной и непрерывный беспорядок!» Единственное, что тут было в порядке, это аккуратно постриженные деревья на улицах. И еще существовало правило, которое в Городишке всеми соблюдалось неукоснительно: никто — НИКТО, даже браконьер, даже спьяну, — не выходил на реку в туман. Городишко словно вымирал. Если на закате небо заволакивала белесая дымка, а от небольшого острова посреди Волги начинала идти по воде мелкая рябь, то на другой день все сидели по домам.

Здесь издавна говорили: «Уйдешь в туман — не воротись».

Проверять эту старинную мудрость на собственном опыте ни у кого не было охоты. А когда свежий человек — например, Валерка — начинал спрашивать, чем же так особенно страшен туман на реке, на него смотрели, как на идиота.

Суда или лодки столкнутся, в коряжину плавучую врежутся, а то на берег выскочат. Поэтому слово «туман» означало не только — ничего не видно, но и — полная тишина на реке.

И вдруг — голоса! Кто-то плывет в лодке!

Но они же не видят ни черта, эти путешественники! Не заблудились бы!

А вдруг они врежутся в берег? Или течение пронесет их лодку мимо пристани, а там, чуть ниже Городишка, такая стремнина...

Однако беспокоиться оказалось не о чем. Валерка почувствовал, как причал легонько дрогнул, когда лодка уткнулась в сваю.

Валерка ждал, что будет дальше.

Приплывшие могли пройти метра три по колено в воде и выбраться на берег. Или взобраться на причал по косым сходям с поломанными перилами. Однако риск свалиться со схода и промокнуть до нитки был очень велик, оттого нормальные люди предпочитали босиком или в сапогах прошлепать до берега.

Причал больше не дрожал, значит, на него никто не лез. Но и шлепанья по воде слышно не было — то есть к берегу никто не шел.

Что, эти двое, или сколько их там, по-прежнему в лодке сидят, что ли?

Валерка прислушался. Сквозь белую сыроватую тишину до него донеслось поскрипывание гальки под чьими-то уверенными шагами. Сначала резкое, оно становилось тише, тише и наконец смолкло. Выходило, что кто-то — один человек, судя по звуку, — уже прошел от реки по берегу и выбрался на дорогу.

Интересно...

А почему не было слышно, как он по воде шел? И вообще, второй-то путешественник где? В лодке остался?

Валерка не выдержал. Осторожно прошел по хлябающим доскам причала (когда-нибудь это шаткое сооружение возьмет да и рухнет в воду, вот повезет тому, кто в это время тут окажется!) в ту сторону, где в сваю ткнулась лодка. Опустился на колени и наклонился.

Только так можно было что-то увидеть в этом туманище!

А вот и лодка.

Лодчонка, можно сказать. Из тех, какие называют утлыми. Под банку (так называют поперечные перекладыны, на которых сидят в лодках) какие-то мешки затолканы, уключины покривились, на дне лужица. Справа и слева от носа были нарисованы глаза: один синей краской, другой зеленой. Синий — закрытый, зеленый — открытый. Это было смешно и необычно, но в этой лодке было еще что-то очень странное. Но Валерка не мог понять, в чем эта странность.

Но самое главное — лодка была пустая.

Интересненько...

На воде разговаривали двое. Какой-то Уран (да нет, наверное, слышалось, таких имен не бывает, парня зовут Юран!) и его мама. Поскольку она просила Юрана поскорей вернуться, легко догадаться, что в город ушел именно он.

Но где же мама? Куда делась из лодки? Прыгнула в воду и утонула?!

Валерка призвал на помощь логику и сообразил, что в лодке мамы этого Юрана нет, потому что ее там и не было. Сын разговаривал с ней по мобильному телефону, нечаянно включив громкоговоритель. Именно поэтому Валерка услышал ее голос.

Логика — великая вещь! Когда найдешь чему-то логическое объяснение, сразу становится полегче на душе.

Беда только в том, что никакая логика не помогала объяснить, каким образом этот Юран умудрился попасть из лодки на берег, не издав ни звука, пока брел по воде.

Или он не брел? Или он перепрыгнул расстояние в три метра?

Валерка задумчиво смотрел на лодку.

Она тихонько покачивалась на волне, носом приткнувшись к свае, словно верный пес — к ноге хозяина. Сырая чалка небрежно перекинута через перекладину между сваями. Не завязана накрепко, не прикручена намертво — просто перекинута.

А если ветер и течение отнесут лодку от причала? Или, скажем, кто-то решит похулиганить — и сбросит веревку? Вернется хозяин — лодки и в помине нет. Разве можно этак бесхозяйственно добро бросать?!

Шут его знает, если бы этот неведомый Юран к берегу прошел, как все нормальные люди, шумно плеща водой, Валерка его лодку привязал бы покрепче. Но тот разозлил — слишком много загадок задал. Чувствуешь себя так, как будто тебя дураком называли!

В общем, Валерка обиделся. Поэтому он свесился пониже, дотянулся до чалки и сбросил ее с перекладыны. А лодку от сваи оттолкнул...

И тотчас на своем собственном опыте убедился в правильности известной народной мудрости, гласившей: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь!»

Он не удержался на краю причала и кувыркнулся в воду!

Конечно, там было неглубоко. Воробью по колено! Поэтому Валерка неслабо ударился о дно спиной. Аж дух занялся!

Вынырнул, постоял, хватая ртом то, что было вокруг вместо воздуха: белую, сырую, тягучую мглу. Немножко очухался.

Лодка качалась на воде неподалеку.

Это доставило Валерке какое-то мрачное удовольствие. Если повезет и поднимется ветер, лодку унесет-унесет! Вот Юран попляшет! Будет знать, как загадки загадывать и лодку непривязанной бросать!

Валерка побрел к берегу. Мокрое, чавкающее, плещущееся шлепанье его шагов разносилось, наверное, за километр.

«Ч-черт, как этому Юрану удалось добраться по воде беззвучно?! А, да ну его, еще голову из-за него ломать! Хорошо, хоть спину не сломал!»

Валерка постоял на берегу, дрожа и отряхиваясь, как промокший пес. По идее, надо было рысью мчаться домой — переодеваться. Противно, холодно, запросто простудиться можно! Но в таком тумане рысью не больно-то побежишь. Да и вообще лучше подождать, никуда не идти, а то еще заблудишься.

Валерка поднялся на причал и направился к тому самому месту, откуда только что свалился.

Опустился на колени, посмотрел вниз.

Лодка покачивалась на прежнем месте, приткнувшись к свае, словно верный пес — к ноге хозяина. Чалка болталась в воде.

И только сейчас Валерка сообразил, что именно показалось ему ужасно странным в этой лодке. Уключины торчали пустыми, без весел. Не было в этой посудине весел!

И мотор, кстати, тоже отсутствовал...

То есть не было вообще ничего, что могло заставить лодку двигаться по реке.

Самые страшные сны приходили перед рассветом. Они приводили с собой рычащее чудовище с горбом. Чудище было двулико, быстрое, многолапо, оно ревели и смердело! Четыре глаза ослепительно вспыхивали, и тогда из мрака выступали чьи-то искривленные туловища, стоявшие обочь дороги.

Туловища были безголовы, некоторые — безруки. Ног ни у одного не было. То ли сгнили, то ли им отрубили ноги те, кто поставил туловища здесь — на устрашение таким же глупцам-удальцам, как Пашка.

Некоторые туловища были черные, как бы обугленные, некоторые — белые. Из белых торчали ножи, по которым струилась кровь.

Может быть, и Пашка будет вот так же стоять — уже скоро! — если не справится с чудищем... А разве возможно с ним справиться?!

Из затылка чудища торчали лапы, большие и маленькие, а еще в затылке были разноцветные глазенки, которые то и дело ехидно подмигивали Пашке, словно говоря: «А все, тебе капец, меня не остановить!»

Но Пашка пытался, честно, пытался! Выкручивал ему лапы, пинал так, что чуть ноги не вывихнул, но чудище, упав на четвереньки и мерзко воняя, перло и перло вперед что есть мочи.

Да, это было страшно. Страшным было собственное бессилие! Но Пашка знал: самое ужасное начнется, если чудище раскроет свой горб.

В горбе жил Черный Смерд.

«Зачем я это сделал? — думал Пашка сквозь злые слезы. — Хотел героем себя показать! Дурак... Погибну ведь! Уже и сил нет!»

Чудище мчалось все быстрее.

Пашка знал: если не остановит его — погибнет! Пашка знал, что не остановит его и погибнет...

И вот обрыв! Чудище, радостно взрыкнув, рванулось вперед. Пашка спрыгнул с его загривка, надеясь, что свалится в реку и, может, утонет, не будет мучиться перед смертью, однако горб чудища раскрылся, и Черный Смерд вырвался на волю. Ужасная, невыносимая, отнимающая дыхание, убивающая сознание, губительная вонь воцарилась вокруг...

И в этот страшный миг, когда Пашка снова переживал гибель всего мира и свою собственную, он услышал далекий ласковый смех, и призывный голос, и радостный утренний гомон вокруг — и решился открыть глаза.

Он понимал, что это всего лишь сон.

Сон, который пришел и ушел. И снова придет, и снова уйдет.

Уйдет!

Пашка вскакивал, бежал к друзьям. День проходил в хлопотах или играх, и только вечером, укладываясь спать, Пашка сжимался в дрожащий комочек в ожидании страшного сна и пытался понять, почему все это снится ему? Почему?..

Спасительная логика немедленно пришла Валерке на помощь. Юран отлично знал нравы местного населения, которое готово спереть все, что плохо лежит, а потому снял весла или мотор и унес с собой.

К сожалению, логика тупо молчала в ответ на вопрос, почему Валерка не слышал ни звука из этого довольно шумного процесса. И так же он не слышал, как рокотал мотор или шлепали весла, пока Юран плыл по реке... Может, Валерка на то время оглох?!

Вдруг невдалеке на берегу захрустела галька.

Валерка всполошенно оглянулся. А что, если это возвращается Юран? Почему-то встречаться с ним не слишком хотелось...

Однако на причал поднялась какая-то девчонка. На ней болтался поношенный серый плащ, такой длинный, что приходилось подбирать его полы. Явно с чужого плеча. Вокруг реяли клочья тумана... Девчонка посмотрела на Валерку и сказала одобрительно:

— А ты молодец!

— В смысле?

— Я видела, как ты чалку в воду бросил и лодку оттолкнул, — пояснила девчонка. — Только это бесполезно, она все равно вернется.

— Откуда ты знаешь? Тоже сбрасывала, что ли?

— Было дело! — усмехнулась она.

— А почему лодка возвращается?

— Не знаю, — сказала девчонка.

— А она чья?

Девчонка пожала плечами:

— Да не знаю я! Но я ее ненавижу. Мне кажется, она на меня смотрит. То один глаз откроет, то другой.

— Да брось, они же нарисованные, эти глаза!

— Ну и что? — Девчонка неуступчиво насупила брови, которые казались проведенными тонкой кисточкой. — Все равно лодка смотрит!

Зябко ежась, она плотней завернулась в плащ. Но он был без пуговиц, и Валерка видел, что под этим старым плащом на девчонке надето линялое ситцевое платьишко, куцее и короткое, едва прикрывающее загорелые ноги.

Ноги были тощие и длинные, исцарапанные, в синяках. Видимо, им, по воле хозяйки, приходилось вести бурную и нелегкую жизнь.

Судя по всему, хозяйка ног была совершенной пофигисткой. Ни одна из знакомых Валерке девчонок — ни из его класса или школы, ни из его дома, ни из виденных на улице в Нижнем Новгороде и даже в Городишке — не вышла бы на улицу в таком затрапезном виде.

Плащ без пуговиц и линялое платье — это еще не все! На босу ногу были надеты кроссовки, убитые до такой степени, что невозможно даже понять, какого цвета они были раньше. Задники, конечно, стоптаны, так что кроссовки превратились в некое подобие шлепанцев. О шнурках, разумеется, и речи не шло, причем уже давно.

Черные кудрявые девчонкины волосы были, правда, заплетены в две косички, но произошло это, такое ощущение, во времена незапамятные, и с тех пор она их ни разу не переплетала и не расчесывала, так что кудряшки ее превратились в кудлы.

Мордашка была замурзанная и неумытая. И при этом — несмотря ни на что! — девчонка оказалась ужасно хорошенькой. Умылась бы, приделалась — и хоть сейчас на школьный конкурс красоты! Или даже на городской. «Мисс Городишко — 2013».

Валерка невольно хихикнул.

Любая другая девчонка обиделась бы. Конечно, обидно! Человек ее разглядывал-разглядывал — да вдруг засмеялся. А эта будто и не заметила ничего, только моргнула своими огромными черными-пречерными глазами, окруженными длинными, загнутыми, кукольными ресницами, и сказала:

— Будешь мокрый стоять — простудишься. Пошли.

Повернулась и быстро побежала по причалу. Спрыгнула на гальку — и тотчас пропала из виду. Валерка услышал ее торопливые удаляющиеся шаги — и вдруг испугался.

Туман словно бы *столпился* вокруг него. Он с каждым мгновением становился плотней, уже трудно было дышать...

— Эй, ты где? — раздался девчонкин голос, и Валерке чуть полегчало.

— Да я тебя не вижу! — заорал он и услышал ее возвращающиеся шаги.

— Ах да, — сказала она. — Я забыла. Давай руку.

Валерка спрыгнул с причала и осторожно взял протянутые ему тоненькие теплые пальцы. Девчонка крепко сжала его руку:

— Пошли.

И уверенно шагнула в туман.

Валерка плелся за ней и думал, что еще никогда туман не был таким густым! Обычно можно было хоть что-то разглядеть в нескольких шагах, и фонари вдоль трассы, которые всегда включали во время тумана и которые служили, прямо скажем, истинными путеводными звездами и водителям, и пешеходам, помогали сориентироваться. Сейчас на расстоянии протянутой руки не было видно ни-че-го!

При этом девчонка шла так уверенно, как будто никакого тумана вообще не было.

— Ты что, видишь, куда идти? — спросил Валерка.

— Ну да.

— А туман?!

— Да он мне не мешает, — усмехнулась девчонка. — За это меня в кафе и держат. Куда угодно дорогу покажу. Вижу сквозь туман.

— Слушай, да ты феномен! Чудо природы! — восхитился Валерка. — Ты могла бы состояние сколотить у здешних браконьеров! Была бы у них лодманом во время тумана. Ведь ни один рыбинспектор в это время на реку не сунется.

Пальцы, сжимавшие его ладонь, дрогнули и ощутимо похолодели.

— Нет, — буркнула девчонка. — Я реки боюсь. На причал еще могу подняться, но в лодку ни за что не сяду. Лучше умру.

Валеркина логика мгновенно сделала стойку. Теперь понятно, почему девчонка вся такая замурзанная! У нее водобоязнь. Водобоязнь — признак бешенства!

Ее укусила бешеная собака...

Девчонке в больницу надо. Срочно! Неужели никто из взрослых не понимает, что с ней? Бешенство ведь не лечится, это смертельная болезнь, но если вовремя сделать прививки, человека можно спасти.

Или уже поздно?..

— А давно это у тебя? — осторожно спросил Валерка.

— Что?

— Ну, водобоязнь.

— Какая водобоязнь, ты что? — повернулась она с изумлением. — Я в кафе, знаешь, сколько посуды перемываю! Я боюсь только реки. И это у меня всегда, сколько себя помню.

— А сколько ты себя помнишь? — весело спросил Валерка, у которого отлегло от сердца.

— Две недели, — ответила девчонка.

— Всего две? — засмеялся Валерка. — А до этого не помнишь?

— Не помню, — сказала она так, что сразу стало ясно — не шутит.

— Так у тебя что, потеря памяти, что ли?! — испуганно спросил Валерка.

— Ну да, а что, нельзя? — отозвалась девчонка холодно.

Самые страшные сны приходили перед рассветом.

Васька снова и снова видел эти изувеченные существа...

Все они были живы еще недавно. До тех пор, пока не приходил Ванюша.

Ему не было их жалко. Они ведь были не люди! Они только и могли, что стоять да молчать, иногда махали ветками. Или шевелили веточками, будто пальцами.

Ванюша их мучил. Сначала отламывал пальцы-веточки. Потом ломал ветки-руки. И, когда эти руки повисали, как плети, брался за маленький острый топорик, который всегда носил за поясом. Этот топорик он очень любил и норовил отточить его остро-преостро. Знал, что пригодится!

Эх, как же нравился Ванюше сочный и в то же время хрусткий звук, когда топорик входил в существо! Один удар — и рука, вернее, ветка, отлетала. Другой — другая. И еще, и еще...

Раньше, когда он был слабосильный, с одного удара отсечь ветки не удавалось. Мучил, мучил свои жертвы... Если бы они могли кричать, их крики и стоны разносились бы по всей округе. Но они были немые. Что, он дурак, с говорящими связываться? Нарочно выбирал тех, кто не мог на помощь позвать.

Когда с руками жертв было покончено, приходил черед их тел. Ванюша доставал из кармана небольшой брусок и на нем вострил верхний край лезвия так, что оно становилось острым, будто перо. Теперь им можно было писать на телах жертв все, что хочешь! И Ванюша писал, наслаждаясь тем, что никакая училка сейчас не стоит над душой и не мешает писать с ошибками. Иногда он нарочно их делал. Например, писал «Сдся был ванька!», хотя знал, что имя надо писать с большой буквы. И не «сдся», а «сдесь». Или нет... кажись, «здесь»...

А, какая разница! Чем больше ошибок, тем лучше! Пусть поржут те, кто потом посмотрит на эти изуродованные, изувеченные, испещренные следами пыток тела!

Сам Ванюша поржать очень, ну очень любил.

Если никто не видел, что он делает, не прибегал на звуки ударов топорика и не вызывал полицию, Ванюша мог целую ночь кого-нибудь мучить, тихонько трясясь от смеха или принимаясь ржать во весь голос.

Но днем был в этом занятии особенный кайфец! Днем Ванька доставал из кармана увеличительное стекло и ловил выпуклостью солнце. В живую плоть ударял ослепительный луч, тело начинало чернеть, тлеть, а Ванька водил и водил стеклом, терпеливо, аж высунув язык от усердия, и наконец получалось: «вы фсе казлы!» Или еще что-нибудь такое же прикольное.

Вообще все это было жутко прикольно. Только жаль, что это были всего лишь сны.

Сны про то, какую веселую жизнь Ванюша вел раньше!

А с другой стороны, хорошо, что это были только сны! Потому что весь кайф обламывал кто-то невидимый, в самый разгар Ванюшиных трудов хватавший его за горло и начинавший душить тонкими и очень длинными пальцами.

Но уже на самой грани умирания Ванюша просыпался, переводил дух, видел вокруг друзей, радовался беспечальной жизни, которую они вели все вместе, но где-то глубоко-глубоко в голове билась мыслишка: «Почему все это мне снится? Почему?»

В это мгновение откуда-то долетел пронзительный женский голос:

— Ганка! Ганка, ты куда, поганка, запропала?

— Я здесь! — заорала в ответ девчонка, которая, оказывается, носила такое поэтичное имя — Ганна.

Валерка мигом вспомнил «Майскую ночь» Гоголя, которую проходили по литературе в пятом классе. Очень может быть, Ганка, когда вырастет, станет такой же красавицей, как Ганна из «Майской ночи». Да она и сейчас уже очень даже ничего!

— Ну вот, — понизив голос, сказала Ганка, — Фаня зовет, пора вернуться в кафе. Наверное, надо или посуду мыть или кого-нибудь сквозь туман провести. Пошли скорей, посидишь пока в моей комнате, обсохнешь.

По-хорошему, надо было идти не в придорожное кафе, а домой, и там поскорей переодеться, но туман сгустился уже просто до неприличия, в нем не только рассмотреть что-то — даже двигаться было непросто. Так же трудно бывает повернуть ложку в загустевшей сметане. Не в той, что под этим названием продается в магазинах, а настоящей, деревенской.

Густая сметана — это хорошо.

Густой туман — плохо!

Валерка попросил бы Ганку проводить его домой, если она так хорошо видит в тумане, но было неудобно. Вон как орет эта Фаня! Как бы не было у Ганки неприятностей! Лучше подождать, пока она закончит свои дела и освободится.

Но главное, было интересно еще немного пообщаться с этой девчонкой, пусть даже похожей на бомжиху.

Валерка лично не был знаком ни с одним человеком, который потерял бы память, и, если честно, раньше считал это выдумкой. В сериалах, к примеру, теряют память все подряд, как будто память — это проездной билет или кошелек! А в жизни не встретишь таких людей.

Но, оказывается, встретишь! Вот, например, девчонка по имени Ганка, которая видит даже сквозь непроглядный туман. Желание расспросить ее подробнее об

этой способности — это была вторая причина, по которой Валерка хотел еще немного пообщаться с Ганкой.

А третья — узнать, почему она «сколько раз» отталкивала лодку Юрана от пристани. У них с Юраном какие-то терки, что ли? И она теперь с Валеркой против Юрана дружит?

Все эти непонятки классно разнообразили осточертевшую скукотищу повседневности.

Вообще денек выдался что надо! Сначала Юран со своей лодкой. Теперь Ганка. Оба такие... загадочные. Ежики в тумане!

И вдруг Валерку осенило. Вообще это давно на ум должно было прийти... Судя по тому, как уверенно Юран причалил, судя по твердости его удаляющихся от берега шагов, он тоже видел сквозь туман!

Может быть, они родственники? У родственников часто бывают общие наследственные паранормальные свойства. Но почему тогда Ганка моет посуду в придорожном кафе, в этой прокуренной, грязной забегаловке? Почему живет там? Почему подчиняется толстой, как подушка, краснолицей Фане с сильно подведенными глазами?

«Подушка» Фаня, встретившая Валерку и Ганку на пороге кафе, была облачена в «наволочку» с каким-то восточным узором. На ногах у нее оказались такие же стоптанные кроссовки, как у Ганки, только размеров на пять больше, и Валерка испугался, что и они — родственницы. Не кроссовки, конечно (хотя почему бы нет?!), а Фаня и Ганка. У родственников сплошь и рядом одинаковые привычки! К примеру, Сан Саныч и Валерка жаворонки: у них привычка вскакивать в шесть утра. А у Фани и Ганки — стаптывать кроссовки...

Но Фаня обратилась к Ганке следующим образом:

— Явилась, приبلуда? Кого это ты привела? Еще одного утопленника беспамятного?

Приبلуда — значит, чужая, сделала вывод Валеркина логика. Не родня!

Валерка успокоился.

— Да почему беспамятного? — спросил он. — Я отлично помню, что я — Валерий Черкизов, племянник Сан Саныча Черкизова. Начальника полиции. А мокрый потому, что с пристани сорвался. Ганка меня привела обсохнуть, в ее комнате посидеть. Но если вы против...

Дядьку он упомянул очень кстати! Фанино красное лицо вмиг стало белым, как туман.

— Чтой-та, чтой-та? — залопотала она. — Никто не против, никто! Но у нее в комнате тесно и... и не прибрано! Ты, Ганка, проводи Валеру домой, а те, на «джипе», которые тебя ждут, еще подождут. До самого дома проводи, слышишь, поган... — окончание Фаня проглотила, но легко было догадаться, что она хотела сказать — «поганка».

Да, не надо быть великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, чтобы срифмовать «Ганка» и «поганка»! Надо быть злыдней, мымрой и мегерой.

Надо быть Фаней, короче говоря.

Валерка взял Ганку за руку и, не прощаясь с хозяйкой кафе, отошел от двери.

Можно представить, в каких условиях эта девчонка живет, если даже мегера Фаня признала, что у нее в комнате «тесно и... не прибрано»! Небось, тут и чулан под лестницей, в котором провел детство Гарри Поттер, показался бы хоромами!

Интересно, куда смотрят Ганкины родители? Хотя да, она беспамятная приبلуда... Наверное, ее спасли из реки. Может быть, упала с какого-нибудь прогулочного корабля? И что, никто не хватился?! Странно... А может, какая-нибудь

слишком быстрая моторка, где была Ганка, наскочила на корягу, и все свалились в воду, а Ганку выбросило на берег, где ее подобрала «милосердная» Фаня? Но тогда почему полиция не ищет ее родных?! Или ищет, но не может найти, потому что никого не осталось? Все погибли в той лодке?

Надо Сан Саныча спросить.

Сначала Ганка и Валерка шли в тумане по узкой обочине шоссе. Обычно здесь не слишком-то находишься: федеральная трасса днем и ночью гудом гудит от машин, — однако туман напрочь закупорил дорогу. Можно представить, какие очереди собрались с обеих концов Городишка!

Потом Валерка почувствовал, что под ногами уже не щебенка обочины, а комковатый, потрескавшийся асфальт. Значит, вошли в город. А он ни о чем еще не поговорил с Ганкой!

— Слушай, как ты терпишь, что Фаня так на тебя орет? — спросил сердито. — И одежда у тебя... ты уж извини...

— Просто я слишком быстро расту, — беспечно ответила Ганка. — Оттого на мне все горит. Ужас просто. А Фаня еще ничего. Ей охота меня куда-нибудь девать, а я никому не нужна, вот она и орет.

— Все равно — мегера! — проворчал Валерка.

— Да разве это мегера? — усмехнулась Ганка. — Не видел ты мегер.

— А ты видела?

— Видела.

— Где?

Ганка пожала плечами:

— Не помню.

— А мегеру помнишь?

— Нет. Да...

Пальцы Ганки, сжимавшие Валеркину руку, задрожали, и она, обернувшись к нему, с ужасом прошептала:

— Помню! Ее помню! Веру-мегеру!

И вдруг крикнула:

— Светлое, всесветлое солнце! Дети Вселенной, дети звезд, ветров, дождей, дети леса и травы приветствуют тебя! Помню! Мегера!

Глаза Ганки были зажмурены, слезы текли из-под кукольных ресниц. И она ужасно дрожала, ну просто вся ходуном ходила!

Валерка даже струхнул малость и ничего не мог сказать. Только таращился на нее. И вдруг юношеский голос, почему-то показавшийся Валерке знакомым, воскликнул над их головами:

— Маша! Машенька! Это ты? Нашлась? Подожди, я сейчас!

Раздался треск. Похоже было, что кто-то спускается с дерева, и ветки трещат под его тяжестью.

Ганка распахнула огромные черные глазищи, взглянула на Валерку умоляюще, приложила палец к губам, потом нагнулась, сорвала с ног свои бахилы — и, босая, бесшумно канула в туман. А через миг перед Валеркой очутился, спрыгнув откуда-то сверху, парень лет восемнадцати в черном комбинезоне с эмблемой «Горзеленхоз» на груди. За пояс у него были заткнуты ножницы-резак, которым постригают ветки.

Ну надо же! Вот, значит, кто тут деревья в таком порядке содержит!

Валерка уставился на парня. Неужели это именно от него со сверхзвуковой скоростью удрала Ганка? Все девчонки, которых Валерка знал, с той же скоростью бежали не *от* этого парня, а *к* нему. Он был просто красавчик: зеленоглазый, с белыми волосами, тонкий и высокий. Но Ганка бежала именно *от*. И умоляла Валерку молчать...

— Кто тут кричал? — спросил парень.

И тут Валерка узнал его голос. Это был голос Юрана.

Того самого, который приплыл на лодке с нарисованными глазами. Один глаз синий, другой зеленый. Синий — закрытый, зеленый — открытый.

Что ж он такое сделал, что Ганка его так боится? Или все же Маша?..

— Кто кричал, спрашиваю? — повторил Юран.

— А ты не видел, что ли? — буркнул Валерка.

— Не видел: ветки мешали, — парень поднял руку к раскидистой кроне дерева, с которого спустился. — Где она?

— Кто? — спросил Валерка на голубом глазу.

— Ну, она... Маша.

— Не знаю я никакой Маши! — заявил Валерка. — Я в тумане заблудился, даже нечаянно в реку забрел, чудом до дороги добрался, иду, ищу свой дом — и вдруг рядом кто-то ка-ак заорет жутким голосом про солнце... ну и про каких-то детей, которые его приветствуют. А кто орал — я не разглядел.

Юран пристально поглядел на Валерку:

— А ты вообще кто? Я тебя раньше не видел.

— Я тебя тоже, — сообщил Валерка, ничуть не кривя душой.

— Ну, меня многие не видят, — усмехнулся Юран. — Я на вершине! Люди идут по земле и редко поднимают головы.

«Ну и хвастун ты! На вершине, подумаешь!» — чуть не ляпнул Валерка, но вовремя сообразил, что Юран вовсе не хвастает: он, так сказать, по долгу службы смотрит на всех свысока. В самом деле, кто из прохожих задирает головы и разглядывает вершины деревьев, ну кто?

— Я — племянник Сан Саныча Черкизова, — отрекомендовался Валерка. — В гости к нему приехал. Из Нижнего. Меня Валеркой зовут. А ты кто?

— Уран Белов, — ответил тот.

— Уран?! — изумился Валерка.

— Ну да, такое имя, — усмехнулся парень. — Но меня обычно Юраном называют. Так привычней, да? Ну, Валерка, пойдем, я тебя провожу. Тут, правда, два шага до дома Сан Саныча, но в тумане заблудиться легче легкого.

— А ты сам не заблудишься? — сыграл дурачка Валерка.

— Я — нет, — спокойно сказал Юран. — Я и в тумане отлично вижу. Давай руку, чтобы не потерялся.

Валерка протянул ему руку. Ладонь у Юрана оказалась узкой, с длинными «музыкальными» пальцами, но очень жесткой, мозолистой. Конечно, держать резак — непросто, крепкие руки нужны. Но почему-то от прикосновения этой крепкой руки Валерке сделалось очень не по себе...

Проще говоря, страшновато.

— Вера!.. Вера!..

Она с насмешливой укоризной покосилась на зеленых зайцев, которых из разных мест привозил Уран. Они, расшалившись, вплетали ее имя в мелодию.

Вера кивком указала ввысь: вот, мол, кому молитва предназначена, не забывайте, малыши!

За пределами острова еще лежал туман, и, самое малое, час будет лежать, а здесь наконец-то разошелся. Солнце во всей красе явилось обожающим взорам.

Опираясь на плечи лиственниц и берез, окруженная зелеными зайцами, которые уже привыкли к высоте и не боялись, Вера самозабвенно пела вместе со всеми лесными обитателями дневную молитву:

— Светлое, всесветлое солнце! Дети Вселенной, дети звезд, ветров, дождей, дети леса и травы приветствуют тебя!

Счастливо звенели рядом птичьи голоса, а деревья подтягивали низко, протяжно, даже сурово. Снизу, с земли, вторила трава Кликун — та, что кличет человеческим голосом по зорям дважды: «У! У!», и еще ревела и стонала, думая, что тоже поет, трава Ревяка.

Голоса осины не было слышно.

Вера вздохнула с облегчением. Осины-предательницы больше нет. Она получила по заслугам!

Но вот молитва закончилась.

Птицы спархивали с вершин, звери спускались степенно, зеленые зайцы скатывались мячиками. А лиственницы все качали и качали Веру, потом березы затеяли переплетать ей косы, пока она не прыгнула наземь и не убежала.

Надо было спешить к дубу Двуглаву. Еще ночью слышала Вера его стоны: столетние корни мозжат! — но сын не велел ей подниматься, сам сходил и немного успокоил старика. Уран хорошо научился лечить деревья. И вообще, он все больше материнских хлопот берет на свои плечи. И уже сам иногда совершает те деяния, которым когда-то научила его мать. Иногда Вере кажется, что без некоторых из них можно было бы обойтись, но уговаривать Урана перестать она пока не решалась, хотя и тревожилась за него.

Сын был горяч... Он только рыбаков миловал, ибо Городишко рекой издавна живет и людям надо чем-то зарабатывать. А к прочим врагам жизни он мог быть очень жестоким, Вера знала!

Ей даже иногда бывало жалко тех, кого он...

Нет! Они это заслужили. Они все это заслужили своими страшными деяниями! Одни совершили их нечаянно, по неосторожности, как Пашка, например, а другие — нарочно, как Ванюша, Васька и другие. Но все же самой страшной виной была вина Машеньки. Но и ее Вере было жаль. Беспокоилась: ну что с ней, бедняжкой? Неужели утонула?.. О страшном думать не хотелось.

Если Машенька погибла, на кого падет этот грех? На Урана, который ее сюда привез? На Веру, которая недосмотрела? На предательницу осину?..

Деревья беспрерывно кланялись идущей. Вера еле успевала отвечать. Но можно было хотя бы не кивнуть, не глянуть приветливо! Обидятся смертельно, зачохнут! Вот вчера — забылась, не коснулась верхушки травы Петров Крест, желтоцветной, многомудрой, и сегодня та, оскорбившись, уже перешла куда-то в иное место. А меньше чем за полверсты и не ищи ее, не надейся.

Ладно, вот вернется вечером Уран с очередным зеленым зайцем, Вера сама займется новичком, а сына сразу зашлет послом к траве, чтобы замирил их.

Впереди раздался болезненный скрип.

Зеленые зайцы, всю дорогу путавшиеся в ногах, смиренно сели поодаль на задние лапки, сложив передние на пушистых животиках. Почтительно затаили дыхание: вот так дуб! Вот так старец!

Вера низко поклонилась. Дуб кряхтя ответил.

— Ну что, старый? — спросила Вера. — Нemoжется тебе? Дай погляжу.

Дуб тяжело напрягся и, стеная, осторожно вынул из земли один из своих узловатых корней. Протянул Вере. В лицо ей сыро, стыло дохнуло из недр.

Двуглав длинно, скрипуче вздыхал, сотрясаясь всем туловом от жалости к себе, а Вера, прижимаясь к нему лицом, тихо мурлыкала, мол, всему свой черед, и надо тер-

петь старость, как претерпел когда-то, во времена достопамятные, юность, а потом и зрелость. Ничего, Двуглав, боль — она как пришла, так и уйдет, ее Вера с собой унесет...

Зеленые зайцы покачивались зачарованно в такт ее словам.

Мало-помалу polegало старцу. Вот и листья разгладились, и желуди соком налились. Дуб благодарно обвил Веру ветвями, и они немного постояли так, обнявшись, а зеленые зайцы кувыркались у их ног.

Как следует испугаться Урана Валерка, впрочем, не успел: до дома Сан Саныча они и впрямь добрались через несколько минут. И Валерка услышал, как дядька громко говорит кому-то — наверное, по телефону:

— А вы там Валерку моего не видели? Ушел часа три назад, туман только ложился... Да я знаю, что все скоро рассеется, я на метеостанцию в район звонил. Минут пятнадцать — и чисто будет!

— Туман скоро рассеется? — пробормотал Юран. — Минут пятнадцать? Ого, надо спешить.

Наверное, собрался уходить. Ну и отлично, а то рядом с ним Валерке как-то не по себе.

— Пока, Юран, спасибо, что проводил, — буркнул он и крикнул: — Сан Саныч, я здесь!

— Валерка! — Дядькин голос стал радостным. — Как добрался? Иди скорей домой!

Валерка хотел сказать, что его проводил Юран, но почему-то не смог сказать ни слова. Будто онемел.

— Иди сюда, Сан Саныч! — раздался рядом знакомый голос.

Валерка покосился — это говорил Юран. Но не своим голосом! Он говорил Валеркиным голосом!

— Ну, Сан Саныч, ну иди сюда, к калитке! — твердил Юран.

Валерке стало смешно, потому что у Юрана не только голос изменился, но и рожу он такую скорчил, что стал на Валерку похож. И бубнил плаксиво:

— Сан Саныч, подойди к калитке! Ну подойди!

— Что, не видишь ничего? — усмехнулся дядька. — Ну, сейчас фонарь возьму — и подойду.

В эту самую минуту свет фар прорезал туман, совсем рядом зарокотал мотор, потом он затих, и какой-то мужчина властно крикнул:

— Я ищу дом начальника полиции! Черкизов, слышите меня? Это Альфа! Я вам звонил сегодня из Нижнего!

— Иду! — отозвался Сан Саныч. — Иду!

И его торопливые шаги начали приближаться.

— Ну ладно, — пробормотал Юрка уже своим, а не Валеркиным голосом, — мне пора. Пока, еще встретимся!

И канул в туман.

Появился Сан Саныч, одной рукой держа фонарь, другой застегивая верхнюю пуговицу форменной рубашки.

Валерка ужасно ему обрадовался!

— Сан Саныч! — заорал он.

И еще больше обрадовался, что голос к нему вернулся.

— Ну, брат, ты меня напугал! — Дядька схватил его за плечи и потряс. — Погоди, потом поговорим, у меня сейчас дела, — и позвал: — Товарищ Альфа, я здесь!

Свет фар стал ярче, и туман словно отскочил от машины и забора.

Валерка увидел «джип», из которого вышли трое в форме МЧС.

— Как же вы сквозь туман пробрались, товарищи? — спросил Сан Саныч, здороваясь с ними за руку.

— Нас проводили. Тут есть, оказывается, девочка с такими особенными способностями... А кстати, куда она девалась?

Приехавшие принялись оглядываться.

Валерка тоже. Он с удовольствием еще поболтал бы с Ганкой, но она сбежала.

Может быть, опять Юрана испугалась? Потому и смылась. Что ж у них за отношения такие странные?..

Завтра, если тумана не будет, Валерка снова наведается на берег. Может, удастся снова с Ганкой повидаться и расспросить? Делать-то все равно нечего.

— Надо поговорить, — сказал Сан Санычу тот из приезжих, который называл себя Альфой: маленький, сухонький, на эмчезника совсем непохожий. — Вы ведь один живете? Мы остановимся у вас — так нужно для дела.

— Конечно, конечно, — засуетился Сан Саныч. — Но у меня сейчас племянник гостит. Надеюсь, он нам не помешает?

Альфа смерил Валерку взглядом.

Неизвестно, что он там намерил, только растянул в улыбке узкие губы и процедил:

— Да, он нам не мешает. Он будет смотреть телевизор или играть в какую-нибудь стрелялку, верно? А мы поговорим.

— Чайник поставь, — велел Сан Саныч племяннику и увел странных гостей в дом.

Валерка поплелся на кухню.

Вот интересно, что усмотрел Альфа в его лице и почему решил, что он не будет мешать? Неужели Валерка выглядит таким тупым? Обидно...

Хотя в данном случае это лучше, чем блеск ума. А то выперли бы умника погулять. А тупица сможет узнать кое-что новое и интересное.

Сан Саныч отрезал для племянника изрядный кусок огромного вишневого пирога, который еще с утра принесла соседка баба Катя, и закрыл перед его носом дверь.

Ну что ж, Валерка у себя в комнате поставил диск с наизусть выученным, суперлюбимым «Аватаром», врубил звук на полную катушку, быстро сменил сырую одежду — и перелез через подоконник.

Пирог он съел, пока крался, пригибаясь, до окна комнаты, в которой пили чай гости и Сан Саныч.

Тут Валерка прилег на траву, поближе к стене, вспомнив книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса»: как Гарри подслушивает под окном телевизионные новости.

Начало разговора он, конечно, пропустил. Приходилось врубаться на ходу.

— Речь идет об исчезновении в районе Городишка восьми человек, — говорил своим скрипучим голосом Альфа.

«Восьми?» — испугался Валерка.

— Восьми? — повторил Сан Саныч. — Слушайте, а девочки среди них нет? Девочки такой... черноглазой, худенькой... А, да вы ее видели, она вас через туман провожала! Объявилась, понимаете, с полной потерей памяти, сколько запросов ни посылали, сколько ориентировок ни давали, сколько листовок с ее фотографией ни печатали — никто ее не знает, ни у кого такая не пропала. А она о себе ничего не помнит.

— Нет, девочка не пропадала, во всяком случае, по нашим сведениям, — сказал Альфа. — Однако продолжим. Товарищ Бета вас ознакомит с деталями.

«Наверное, это их кодовые имена, как у разведчиков, — догадался Валерка. — А третий — Гамма?»

Бета глухим, невыразительным голосом рассказал о том, что люди исчезали по ночам с лодок и теплоходов, остановившихся посреди реки во время густого тумана. Можно было подумать, что они утонули, однако даже после тщательных поисков тела найти не удалось. Люди пропали бесследно.

— Вот в этой папке их имена, фамилии, должности, — сказал Альфа.

Послышался шелест бумаги, а затем Сан Саныч воскликнул:

— Ничего себе! Вот это персоны! Глава крупной строительной фирмы Павел Привалов! Глава концерна «Химикал лайф» Василий Устюгов! А это что за менеджер по рекламе затесался? Какой-то Иван Печкин... Среди таких людей! А это... неужели замминистра экологии Мария Кирилловна Серегина?! А я думал, ее сняли с должности после того, как она поддержала добычу сланцевой нефти методом гидроразрыва пласта...*

А экологи ее же министерства доказывали, что в местах, где используются гидроразрывы, вода становится непригодна для питья, люди чаще болеют, у животных выпадает шерсть, ухудшается качество воздуха...

— Никто никого не снял! — внушительно проговорил Альфа. — Госпожа Серегина просто исчезла. Именно этот эпизод позволил нам заподозрить нечто, не столь легко поддающееся объяснению, как несчастные случаи или криминал. Этим вопросом занимался у нас товарищ Гамма.

Валерка мысленно себе поаплодировал. Гамма, он угадал!

— Госпожа Серегина с группой работников своего ведомства находилась в деловой поездке на небольшом теплоходе, — чуть картавя, заговорил Гамма. — На ночь из-за тумана остановились посреди реки. Наутро госпожи Серegiной на судне не оказалось.

— А... это... не могла она среди ночи отправиться купаться и...? — заикнулся было Сан Саныч, но Гамма непререкаемым тоном возразил:

— Госпоже Серegiной за пятьдесят, она не в том возрасте, чтобы купаться по ночам. Все вещи остались в каюте, кроме пижамы и халата, в которых она была. А на палубе валялись ее домашние тапочки.

— К слову, — перебил Альфа, — все исчезнувшие пропали именно ночью, в туман и босиком. Странная закономерность, верно?

— Да неужели никто и ничего не видел и не слышал? Ни вахтенный, ни охрана?! — воскликнул Сан Саныч. — Проспали замминистра?!

— Ну, что-то вроде, — буркнул Гамма.

— Погодите! — снова вскричал Валеркин дядька. — Да ведь на теплоходах установлены камеры наблюдения!

— Совершенно верно, — сказал Гамма. — В корень смотрите, Черкизов. Именно благодаря этим записям мы смогли понять, что имеем дело с явлением более чем странным.

— Давайте посмотрим сцену исчезновения госпожи Серegiной, — предложил Альфа. — Здесь смонтированы записи с трех очень сильных камер, которым туман не мешал вести наблюдение на расстоянии пяти-семи метров, поэтому картина получается довольно полная.

* Один из методов добычи сланцевой (то есть находящейся в составе горючих сланцев, залегающих на определенной глубине) нефти или газа. Он состоит в создании искусственных трещин в породе. В трещины под сильным давлением подается жидкость. Метод считается вредным для окружающей среды.

Валерка, помирая от любопытства, осторожно высунулся из-за подоконника и обнаружил, что мужчины сидят спиной к нему, глядя на лежащий на столе планшетник. Валерка ничегошеньки не видел, однако слышал необыкновенно ласковый мужской голос, твердивший:

— Маша, Машенька! Милая! Иди сюда! Я тебя жду!

— Голос абсолютно схож с голосом мужа госпожи Серегиной, погибшего в автокатастрофе два года назад, — сказал Альфа.

— Да... — протянул Сан Саныч, и Валерка понял, что дядька потрясен до глубины души. — Впечатляет... Лодка-то пустая! А кто ж ей руку-то подает?! И лодка сама... Кошмар... Только с изображением нелады, оно как-то скачет...

В эту минуту у него зазвонил мобильный телефон, мужчины отвернулись от стола, и Валерка снова рухнул под окно.

«И тут Маша! — подумал он. — Жаль, что другая. Все-таки эта пропавшая замминистра была уже глубокая бабуля! Мария Кирилловна! А Ганке, наверное, двенадцать или тринадцать. А то было бы клево сейчас выскочить и рассказать, что я знаю, где эта Маша-Машенька! И всем было бы хорошо! И Альфа бы утерся...»

Да, жаль, что это просто совпадение имен.

В эту минуту Сан Саныч усталым голосом спросил приезжих:

— Ну хорошо, товарищи, я все же не пойму, чего вы от меня хотите? Если уж в вашем секретном ведомстве... я ж не дурак, понимаю, что форма МЧС на вас только для видимости... если уж с вашими возможностями вы не нашли этих людей, то что же я могу поделать?!

— Вы, по нашим данным, местный уроженец и неплохо знаете остров.

— К-какой остров? — с запинкой спросил Сан Саныч.

— На картах он значится как остров Туманный. Тот, что находится напротив Городишки на расстоянии километра.

— А остров-то тут при чем? — удивился Сан Саныч. — Или вы думаете, что пропавшие были похищены и увезены туда? Но кем? Чокнутой Верой Беловой и ее не менее чокнутым сыном, этими отшельниками, у которых даже мобильных телефонов нет?! А больше никто там не живет! Местные бр...рыбаки иногда к берегу пристают.

Наверное, Сан Саныч сначала хотел сказать «браконьеры», но вовремя спохватился.

Валерка невольно прыснул.

— Любой чужой там был бы вмиг замечен, — продолжал дядька. — Остров крошечный. Островок, можно сказать. Там физически невозможно кого-то спрятать. Понимаете?

— Разумеется, — согласился Альфа. — Тем более что проведена подробная спутниковая съемка острова. Очень углубленная. Там в самом деле нет других людей, кроме женщины и ее сына, и никакие трупы в землю не зарыты. Однако посмотрите еще раз ту же запись, да повнимательней. Может быть, заметите кое-что, вам знакомое. А потом мы вам покажем еще одну съемку, сделанную со спутника.

— Ну, давайте, — без энтузиазма согласился Сан Саныч. — Только я все же не пойму, чем я могу вам помочь...

Вдруг заорала автомобильная сигнализация.

— Это наш джип, — заволновался Гамма. — Зря мы его на улице бросили. Там все наши вещи, оборудование!

— Ну, надеюсь, нас не обчистят около дома начальника полиции, — усмехнулся Альфа.

— Никто не посмеет! — грозно заявил Сан Саныч. — Но все же, чтоб не ду-малось, пойдемте вещи заберем, а джип в гараж поставим.

Судя по шагам, все пошли из комнаты.
Валерка снова осторожно высунулся.
Пусто! И планшетник на столе!
Перемахнул через подоконник.
Ага, они оставили компьютер включенным, ура!
По экрану медленно перемещались черно-белые полосы заставки. Валерка осторожно коснулся кнопки пуска — и запись пошла.

Самые страшные сны приходили перед рассветом.
Васька видел себя знаменитым химиком. Он проводил исследования в лаборатории.

На столе перед ним стояли большие и маленькие колбы с разноцветными жидкостями. На некоторых колбах имелись наклейки. Азотная кислота, серная кислота, соляная кислота, еще кислота с красивым названием «плавиковая», потом были какие-то щелочи, Ваське было лень вчитываться в названия.

Ему больше всего нравились колбы, на которых названий не было. Все жидкости, которые в них были налиты, Васька сочинил сам. Наливал туда что попало и восторженно наблюдал, как смешивались, кипели, бурлили, иногда взрывались разные химические вещества.

Иногда осколки стекла и брызги разлетались по комнате и прожигали стены. Но Ваське все было нипочем! Он был защищен асбестовым серебристо блестящим костюмом. На голове шлем, на руках — перчатки, на лице — маска. На спине — баллон с чистым воздухом. Да пусть тут хоть все взорвется — ему без разницы!

Подопытное существо стояло в углу, прикованное цепями к стене. Делать опыты и наблюдать было интересно!

Польешь подопытного одним раствором — на нем змеятся красные язвы. Польешь другим — он покрывается пузырями, которые немедленно лопаются и из них начинает сочиться сукровица. Некоторые растворы прожигали подопытного, вокруг ран курился дымок...

Огорчало одно: что подопытный в последнее время уже не дергался. Обвисал на цепях и висел неподвижно, что ты на него ни лей.

Наконец до Васьки дошло, что подопытного он, пожалуй, прикончил.

Сразу стало неинтересно. Да, тут больше делать нечего! Надо другую поискать! Собраться, поехать в другое место, построить там новую огромную лабораторию и приковать к стене новые жертвы.

Сказано — сделано! Надо собираться. Сейчас он пойдет попьет чайку, потом соберет свои интересненькие растворы — и в путь.

Он начал снимать защитный костюм, но почему-то не мог расстегнуть молнии. И шлем не снимался. И маска не поднималась. И перчатки словно приросли к рукам...

Да весь костюм прирос к телу!

И Васька с ужасом понял, что теперь он будет вечно ходить в этом костюме и дышать не живым воздухом, а тем, который в баллоне.

А там еще есть воздух? Или он кончается? И вот-вот закончится совсем?!

...Васька выдергивался из сна, как из этого защитного костюма. Вокруг уже звенел разноголосый дневной гомон, и он тоже начинал радостно кричать, играл, бегал, радовался, что жив, что все так прекрасно, чисто, свежо, зелено вокруг, все

цветет и сияет. И только одна мысль иногда начинала мучить: «Почему мне снится этот сон? Что это значит?»

Валерка увидел палубу теплохода. В небе висела яркая луна, которая светила почти в объектив. Камера наблюдения давала изображение в синем и белом цвете, отчего фигура высокой, худой женщины с коротко постриженными темными волосами казалась то осязаемой, то призрачной. Лица ее не было видно. Женщина шла, протянув руки вперед, странно покачиваясь из стороны в сторону.

Вдруг ее изображение зарыбило и словно бы уменьшилось.

— Маша, Машенька! Милая! Иди сюда! Я тебя жду! — беспрестанно звучал мужской голос.

Голос исходил из небольшой и довольно уютной лодки, которая качалась у борта теплохода.

Лодка была пуста.

— Милая, иди сюда! — умолял голос.

Вот женщина подошла к трапу с перилами. Вот ступила на него. Покачнулась было, но тут же оперлась на что-то... казалось, что ей протянута рука. Как будто в лодке находится мужчина, невидимый ни для кого, кроме этой женщины, и она опирается на его руку!

Она начала спускаться. Тапочки свалились с ее ног и остались валяться на палубе.

С изображением что-то происходило, правильно сказал Сан Саныч. Камера держала в фокусе лодку, а фигура женщины словно колыхалась. И вдруг... вдруг изображение на миг смазлось, расплылось — и женщина исчезла.

— Сюда, Машенька! — весело сказал мужчина. — Прыгай сюда!

Лодка легонько закачалась на воде, словно в нее кто-то и в самом деле прыгнул.

Однако в ней по-прежнему никого не было видно! Она по-прежнему была пуста! Только вроде бы тряпки какие-то появились на банке. Как будто скомканный халат, что-то еще... Впрочем, эти вещи видно было очень плохо.

— Вперед, — сказал мужчина.

Лодка сама собой повернулась и стремительно заскользила по воде. Однако в тот миг, когда она разворачивалась, камера взяла ее крупным планом.

— Ой... — невольно сказал Валерка.

По обе стороны носа были нарисованы глаза: справа открытый, слева закрытый. Да ведь это... да ведь это же лодка Юрана!

Урана...

Дрожащий палец Валерки скользнул по экрану, и пошла новая запись. Сначала это было дробящееся изображение географической карты, какое можно увидеть при съемках со спутника. Потом оно приблизилось, выросло — неровное, угловатое, но узнаваемое. Какая-то лодка двигалась по реке против течения. Встречный ветер гнал волну и пригибал деревья на берегу.

Картинка увеличилась. Теперь было видно, что в лодке нет ни паруса, ни весел, ни мотора. В ней во весь рост, сложив руки на груди, стоял светловолосый юноша в черном комбинезоне.

Изображение приблизилось, и Валерка узнал Юрана. Камера показала нос лодки: два нарисованные глаза, справа синий — закрытый, слева зеленый — открытый.

— Что? — невольно сказал Валерка. — Но ведь...

Он не договорил.

Дверь распахнулась. На пороге стоял Сан Саныч.

Валерка съехался, представив, какая буря гнева сейчас на него обрушится.

Однако на лице дядьки не было ни гнева, ни даже раздражения. На нем был написан истинный ужас!

Одним прыжком Сан Саныч оказался рядом с Валеркой, схватил его за шкуру — и буквально выбросил в окно, словно котенка, сделавшего лужу на обеденном столе.

Валерка приземлился так весомо, что чуть не взвыл от боли. Но онемел, когда Сан Саныч — с тем же выражением ужаса на лице — высунулся из окна и проворкотал:

— Беги к себе! И не высовывайся! Иначе...

И отпрянул от окна, быстро шагнул в комнату.

— Ну, продолжим, — слышался голос Альфы.

Валерка перевернулся на колени и быстро-быстро пополз под стеной к своему окну. Взобрался на подоконник, вскочил внутрь.

Тупо посмотрел на экран, где Джейк Салли, схваченный за волосы, висел в железной руке меха, управляемого Куоритчем.

Телевизор орал как ненормальный, но Валерка не решился убавить звук.

Сел на диван и прижался к стене. Натянул на себя плед — знобило.

Может, простыл?

Нет... его знобило потому, что было реально страшно!

Неизвестно, чего больше он испугался: того, что увидел на планшетнике, или выражения дядькиного лица. Понятно, что Валерка сунул нос в какие-то опасные секреты. Недаром приезжие так настойчиво отправили его подальше от комнаты, где обсуждали свои дела!

Дела весьма таинственные...

Взять хотя бы лодку, плывущую против течения! Лодку Юрана! Лодку, которая может плавать сама собой! На которой нарисованы глаза, причем открыт то правый, то левый.

А может быть, Юран перед каждым путешествием нарочно глаза лодке перерисовывает? Ну, просто, чтобы людей в заблуждение ввести? Попугать?

Валерка даже не знал, какой из вариантов кажется ему более нереальным: этот или другой, в котором глаза открывались и закрывались сами собой...

Нет, невозможно! Юран же не волшебник, у которого есть заколдованная живая лодка!

Волшебник не волшебник, но...

Валерка вспомнил, как *волшебно* изменился голос Юрана, когда они стояли у калитки и новый знакомый звал плаксиво: «Сан Саныч, подойди к калитке! Ну подойди!» И у него даже лицо стало похоже на Валеркино. А сам Валерка в это время ни слова не мог сказать.

Тогда ему было смешно. Сейчас смешно уже не было.

Юран умеет изменять голос. Голос человека, давно умершего, звучал из лодки с глазами — лодки Юрана. Женщина сошла в эту лодку — и исчезла.

Нет, она исчезла около лодки, прыгнула туда уже что-то невидимое и очень маленькое. Если бы прыгнула такая высокая и толстая тетка — лодка бы перевернулась, а она только слегка закачалась.

А зачем Юран так настойчиво звал Сан Саныча? Просто смеху ради? Или...

Валерку зазнобило.

Тогда лежал туман — непроницаемый для всех, кроме Юрана. Ну и кроме Ганки, но она тут ни при чем.

Юран... Что это говорил Юран посреди реки?

«Да ладно, мама, ну не в первый же раз! Других привозил — и его обязательно привезу».

Кого — других привозил? Куда он их привозил? А главное, кого собирался привезти?

А что если Сан Саныча?..

В здешнем тумане не увидишь, даже если человека будут на куски резать. Или стукнут по голове и отволокут к лодке, которая движется сама. А может быть, стукнутым по голове предстояло быть Валерке? А Сан Саныч сам бы за Юраном пошел, потому что думал бы, что слышит голос племянника?

И Сан Саныч пропал бы так же бесследно, как все эти прочие? Мария Серегина, Павел Привалов, какой-то там Иван, менеджер по рекламе, Василий Утюгов и все другие? Нет, Василий не Утюгов, а Устюгов: такая же фамилия у актера, который в «Ментовских войнах» играет...

Да неважно, какая у него там фамилия! Главное, они все пропали. А что если их тоже звали голоса, которым они не могли противиться? Сан Саныч за любимого племянника жизнь бы отдал, не задумываясь. Серегина, наверное, очень любила своего мужа и до сих пор по нему горюет. У всех других тоже, наверное, были люди, по зову которых они пошли бы куда угодно?

А говорил этими голосами Юран. Но зачем?!

«Или вы думаете, что пропавшие были похищены и увезены туда? Но кем? Чокнутой Верой Беловой и ее не менее чокнутым сыном — ведь больше никто там не живет?» — вспомнил Валерка слова Сан Саныча.

Вера Белова — мать Юрана. Это с ней он разговаривал тогда, в тумане, на реке... Но каким образом?! Громкая связь тут ни при чем: у них нет мобильных телефонов, как сказал Сан Саныч. До острова километр! Валерка отлично помнил — по географии проходили, что голоса по воде и в тумане разносятся метров на сто. Гудок теплохода может быть слышен за несколько километров. А голоса — нет.

Каким образом голос Веры Беловой мог долететь до Юрана, который был почти рядом с противоположным берегом, и до Валерки, который сидел на причале? Каким образом ответ Юрана мог долететь до Острова?!

Это что-то странное... это нереальное что-то!

Пугающее...

Валерка разозлился на себя. Зачем поперся подслушивать всякие секреты?! Зачем узнал столько разных страхов? Как теперь жить в этом Городишке?

А может, он сам все накрутил? Если рассуждать логически, Юран не замешан в похищении Серегиной. Ну, говорит на разные голоса. Но ведь его не было в лодке, в которую сошла эта женщина!

Лодка была пуста. И женщина исчезла, когда в эту лодку сошла... И это была лодка Юрана!

Вернее — Урана.

Какое жуткое имя. И сам он — красивый, но пугающий.

Да, недаром так рванула от него Ганка!

Валерка словно услышал, как Ганка говорит: «Да разве это мегера? Не видел ты мегер». Потом Валерка спросил: «А ты видела?» Ганка сказала — да, потом сказала, что не помнит где, но помнит мегеру... и с ужасом прошептала: «Помню! Ее помню! Веру-мегеру!» А потом заорала про какое-то солнце...

Раздался щелчок, и Валерка так и подскочил на диване.

Оказалось, ничего особенного, фильм кончился, дивидишник выдвинул диск, вот и все, но Валерке даже в этом механическом и насквозь привычном движении почудилось нечто нереальное.

Надо снова что-то поставить, а то эти... гости беспокоятся, что звука не слышно.

Валерка, недолго думая, втокнул диск на место. Снова пошел «Аватар». Да какая разница?

Давно хотелось в туалет, но Валерка терпел. Было жутко выйти из комнаты. Вдруг там...

Кто? Кого он боялся больше — секретного Альфу, который может услышать Валеркины шаги по коридору, или Юрана-Урана, который вдруг окажется здесь и заговорит сладким голосом... например, голосом Валеркиной мамы: «Валерик, солнышко мое, иди сюда...»

Нет уж, лучше Альфа, честное слово!

Постукивая зубами, Валерка закутался в плед и все же прокрался в нужное местечко.

Голосов из гостиной слышно не было, и Валерка этому только порадовался. Как-то поостыла страсть к разузнаванию чужих невероятных секретов.

Поостыла, охладела. Даже замерзла!

Быстренько сделал все делишки, рысью пролетел в комнату, скорчился на диване и тупо уставился на экран, где ужасный, кошмарный, кровожадный, беспощадный — и совсем-совсем не страшный! — танатор гнался за Джейком.

Наконец-то согрелся, стало тянуть в сон...

Валерка таращил, таращил глаза, надеясь, что разговор в гостиной когда-нибудь закончится и Сан Саныч пойдет к нему перед тем, как ложиться спать, но не дождался — уснул, и никакие крики разъяренного Тсу-тея не смогли ему помешать.

К острову подошли еще до рассвета и постояли, пока легкий утренний туман, совершенно непохожий на вчерашний, непроницаемый, не рассеялся и не открылся берег.

Почти сразу от воды начинался пологий ласковый пригорок. Тихо там было, трава еще сверкала росой. Малиновые стрелы иван-чая стремились к небу. Где-то далеко и высоко вразнобой позванивали птичьи голоса.

— Кра-со-та... — невольно проронил Гамма, но Альфа сурово качнул головой и упрятал подбородок в ворот.

Всех знобило — от недосыпа, от сырости речной, от предрассветного холодка, от смутного беспокойства какого-то, которое все трое тщательно таили друг от друга, но от себя-то его укрыть было невозможно, как ни старайся!

Проплыв еще немного вдоль берега, нашли развесистые тальники и под их ветвями укрыли лодки, надежно их зачалив. Потом выбрались на сушу и еще какое-то время стояли, настороженно вглядываясь в зеленую бархатную завесу леса.

Больше они не обменялись ни словом, не решались даже курить.

— Интервал пять шагов, максимум внимания! — шепотом скомандовал Альфа и двинулся вперед. Остальные направились за ним, след в след.

Тишина, тишина...

И вдруг резкий ветер колыхнул траву. Это была воздушная волна, а вслед за ней из глубины леса внезапно взвился в поднебесье хор поющих, играющих звуками голосов!

Они то приближались, то удалялись, то пригибали к земле травы, то заставляли их вздыматься и трепетать в унисон песнопениям нечеловеческим, а может

быть, даже и неземным. Но в их радужных переливах неожиданно проступили, ошеломляя, слова:

— Вера! Вера!..

— Вот оно! Началось! — хрипло выдал Альфа.

Люди рухнули наземь, будто под обстрелом, уткнувшись в тяжело пахнущую траву, не смея поднять голов, пока не отгуляло над ними это рассветное многоголосье, совсем непохожее на обычные птичьи распевки. И даже мгновенный дождь, упавший с неба и стремительно исчезнувший, не заставил их шевельнуться.

Они долго так лежали, пока не утихли небеса, поющие на все лады. Да и потом, наверное, с полчаса не могли заставить себя встать.

Наконец, стыдясь своего оцепенения и страха, кое-как поднялись на ноги.

В эту минуту деревья впереди расступились, и на тропу вышла женщина.

На ней было просторное платье, вернее, какой-то балахон, слишком свободный для ее высокой, тонкой фигуры. Волосы, светлые, выгоревшие чуть не до белизны, были заплетены в косы и уложены вокруг головы короной.

Она приближалась неспешно, слегка касаясь рукою стволов, и вокруг начинали звучать негромкие голоса, как будто она колоколов касалась.

Наваждение, конечно!

Наконец женщина остановилась неподалеку, опустив руки и чуть склонив к плечу голову. Солнце едва проникало сквозь кружево ветвей, и все вокруг чудилось зеленоватым. И даже какой-то зверек, похожий на зайца, высочивший было на тропу, но сразу прянувший в кусты, тоже показался зеленым!

Приезжие настороженно молчали, но наконец Альфа заговорил:

— Здравствуйте, мы приехали задать вам и вашему сыну несколько вопросов.

Она молча обвела взглядом всех по очереди, и каждый, встретившись с ее спокойными, очень светлыми глазами, вновь, как удар ветра, ощутил сумятицу цветочных вздохов, трепет трав, суету листвы на деревьях...

— Чего молчите? — торопливо сказал Альфа, чтобы развеять эту муть. — Хотя бы поздоровались.

У нее и ресницы не дрогнули.

— Может, она глухая? — спросил шепотом Бета.

— А леший ее знает, может, и глухая, — пожал плечами Гамма. — Будем надеяться, что хоть сын не глухой и не немой.

— Сын говорить умеет! — кивнул Альфа. — Кто же еще там, в лодке, соловьем разливался? Надо будет, конечно, экспертизу голоса провести, но... Эй, вы куда это?

В ответ на слова Альфы глаза женщины вспыхнули, потом она резко повернулась и пошла прочь. Она уходила, а в лесу ощутимо темнело, как будто в такт ее шагам постепенно гасли какие-то зеленые свечи, и вот меж деревьев, поутру, уже металась, грозила тьма.

— Стойте! — грозно возопил Альфа, но она только раздраженно отмахнулась — и, словно повинувшись этому жесту, из травы вдруг прынула кошечка! Шевелящаяся серая завеса скрыла высокую фигуру — и обрушилась на людей.

Валерка приоткрыл один глаз — и не поверил ему.

Для надежности приоткрыл второй глаз...

Либо и этот врал, либо и электронные часы телевизора в самом деле показывали одиннадцать.

Да, крепко же спал жаворонок Валерка Черкизов!

И уснул одетым. И телевизор не выключил. Диск торчал из дивидишника, будто насмешливо высунутый язык.

Валерка сбегал в ванную, потом прошмыгнул на кухню под аккомпанемент алчного бурчания в животе. Поел вчерашнего неиссякаемого пирога, выпил чаю.

В доме стояла тишина. Или все уехали, или все спят.

Вскоре выяснилось, что и уехали не все, и не все спали. Судя по тому, что в доме не оказалось гостей, а под окном — их машины, уехали именно они. Зато под столом в гостиной обнаружился сладко спящий Сан Саныч, а пять больших плоских бутылок из-под коньяка с красивым названием «Реми-Мартин», которые стояли на столе, помогли Валерке понять причину столь крепкого дядькиного сна.

— Это же ужас, — жалобно стонал спустя полчаса вынутый из-под стола Сан Саныч, с трудом продирая глаза и вливая в себя чашку за чашкой крепчайший кофе, который еле успевал подавать Валерка.

— Это же ужас... Наверное, они, эти секретные товарищи, особую тренировку проходят, как коньяк глушить. Или, может, таблетки такие специальные принимают, чтобы не пьянеть... Я уже лыка не вязал, а они — как стеклышки. Даже не заметил, как вырубился. Видать, они меня разбудить не смогли и сами уехали. Ах, неладно... Неладно!

Тут Сан Саныч взглянул на часы — и едва не свалился со стула, на котором и так с трудом удерживался.

— Что?! Двенадцатый час?! А они еще не вернулись? Собирались быстро управиться. Что-то не так пошло?.. Надо позвонить!

Он набирал то один, то другой, то третий номер, но телефоны Альфы, Гаммы и Беты молчали.

— Может, пора ехать выручать? — пробормотал Сан Саныч. — Или подождать? — Он с тоской покосился на диван. — Ладно, еще полчаса покемарю — потом посмотрим.

И, перебравшись со стула на диван, замер.

Валерка убрал со стола, послонялся по комнатам и в кабинете Сан Саныча нашел несколько листовок с Ганкиной фотографией и надписью: «Разыскиваются те, кто знает эту девочку». Ганка на фотографии почему-то помладше выглядела, будто ей лет восемь всего, но все равно была очень хорошенькая.

Валерка немножко на нее полюбовался. Потом взял один плакатик и осторожно унес к себе в комнату. Сложил и спрятал в книжку, которая лежала в дорожной сумке.

Очень хотелось сбежать к Ганке, но было страшно. Страшно наткнуться на Юрана!

Еще ему очень хотелось сейчас оказаться дома — в Нижнем. Но рейсовый автобус отправлялся от Городишка в семь утра. Конечно, есть еще проходящие, если проголосовать — обязательно возьмут, но... Как Сан Саныча бросить? И опять же — вдруг пойдешь да на Юрана наткнешься?

Лучше отсидеться.

Около калитки зазвенел звонок, и Валерка вышел на крыльцо. Наверное, гости вернулись. Ну и хорошо, а то дядька беспокоился.

Начал спускаться с крыльца — и спохватился: надо было сначала Сан Саныча разбудить, а то неловко получится, если «секретные товарищи» увидят, что он все еще спит. Начальник городской полиции, а в полдень еще в горизонтальном положении!

Валерка замешкался, затоптался на месте. Звонок брякнул снова, а потом Ганкин голос нетерпеливо крикнул:

— Валерка, иди сюда! Открой, ну!

Ганка пришла! Вот здорово!

Он помчался было к калитке, но внезапная мысль заставила замереть.

Откуда Ганка знает его имя?.. Валерка ей не говорил, как его зовут! Зато сказал Юрану.

Урану.

Это Ганкин голос. Но это не она, это Уран пришел. Это Уран пришел за Валеркой!

Уран. Какое ледяное, мертвенное слово...

— Валерка! Ну открой, слышишь? Это я, Ганка!

Голос стал громче, нетерпеливей.

Валерка плюхнулся на асфальтированную дорожку и вцепился в траву, росшую по обеим сторонам.

Нет. Он не сдвинется с места. Пусть Уран орет, пока голос не сорвет.

Звонок снова залился.

— Кто там? — хрипло спросил с крыльца Сан Саныч. — Валерка, открой, чего сидишь? Упал, что ли?

Сан Саныч протопал мимо, вздернув племянника на ноги, и толкнул калитку:

— Чего не входите, тут не заперто.

И замер. И онемел.

Валерке не было видно, кто там за калиткой.

Может быть, кажется, что никого, как в лодке!

— Сан Саныч! — заорал он в ужасе, и тот медленно обернулся.

Лицо у него было озадаченное.

Посмотрел на племянника невидящими, красными глазами, потер лоб, опять повернулся к калитке и растерянно спросил:

— А вы к кому?

И тут Валерка разглядел краешек знакомого линиялого плаща.

Ганкин плащ! Это все-таки Ганка!

Валерка рванул к калитке — и замер так же, как Сан Саныч.

Вроде бы да, Ганка. А вроде бы и нет... Она как-то подросла за ночь и теперь была, наверное, чуть выше Валерки. И еще больше похорошела. И чуточку старше выглядела. И вообще была какая-то на себя — вчерашнюю — непохожая!

А может, это Уран напялил на себя ее плащ и превратился в нее, но не совсем, не до конца?..

— Чего вы так смотрите? — спросила Ганка смущенно, трогая короткие черные волосы, пышным, кудрявым облаком окружавшие ее голову.

— А, да ты постриглась! — догадался Валерка. И, словно его стукнули в лоб, вспомнил, откуда Ганка знает его имя. Он же Фане говорил: я, мол, Валерий Черкизов, племянник Сан Саныча.

Во, у страха глаза велики, совсем память отшибло.

— А мне твои косы так нравились... — проговорил он с сожалением.

— Мне тоже, — кивнула Ганка, смущенно косясь на Сан Саныча, который по-прежнему не сводил с нее глаз. — Но я не стриглась, честно, это как-то само собой случилось. Я вчера вечером вдруг подумала: что это я хожу, как бомжиха? Ну и помыла голову. Потихоньку взяла у Фани шампунь. — Она заговорщически хихикнула. — А волосы раз — и стали короткими.

— Вылезли? — с ужасом предположил Валерка. — Может, в бутылке от шампуня была какая-нибудь серная кислота?

— От серной кислоты она бы облысела до костей черепа, — пробурчал Сан Саныч и, бросив на Ганку испытующий взгляд, пошел в дом.

— Ничего они не вылезли, — сердито сказала Ганка.

— Просто намылила я длинные волосы, а когда сполоснула, они уже были короткие. Понятно?

Валерке ничего не было понятно, но он отлично знал, что некоторые девчонки любят плести всякие байки про свою внешность.

Например, когда в их класс пришла Ритуля Петухова, все поразились, какие у нее зеленые глаза. Совершенно необыкновенные! Конечно, все пацаны в нее сразу влюбились, а девчонки начали умирать от зависти. Но на другой день у нее вдруг начали болеть и слезиться глаза, она их терла, чуть не плакала, стала у Мадам Жужу, учительницы французского, отпрашиваться домой, а та как ляпнет:

— Петухова, ты просто пойди в туалет, сними линзы и глаза хорошенько промой. Линзы надо обязательно иногда снимать, разве ты не знаешь?

Ох, как хохотали в классе! Ритулю потом целый месяц, наверное, спрашивали, сегодня у нее линзы или нормальные глаза, которые оказались самые обыкновенные, серые. А с изумрудными линзами Ритуля просто хотела покрасоваться.

Может, и Ганка нарочно говорит, что не стриглась? Да ладно, пусть что хочет говорит, Валерка так рад, что это она, а не жуткий Уран!

Ну и вообще рад, что она пришла...

— Пошли чай пить, — сказал он весело. — У нас еще пирог вчерашний остался. С вишнями. Баба Катя его испекла метр на метр, никак съесть не можем. Хочешь?

Тут же он спохватился, что как-то глупо получается: вроде он пытается Ганке объедки скормить. Как бы она не обиделась.

Но Ганка не обиделась, а пошла с Валеркой на кухню и с удовольствием ела пирог и пила чай.

Потом пришел Сан Саныч, налил себе кофе и сел в углу. Вид у него был по-прежнему несколько обалделый. Особенно когда Сан Саныч смотрел на Ганку.

— Слушай, а тебе в плаще не жарко? — спросил Валерка.

— Жарко, — кивнула она. — Только мое платье совсем порвалось, а больше носить нечего.

Валерка прикинул, сколько у него осталось денег. Рублей пятьдесят, вроде. Можно на пятьдесят рублей купить девчонке платье? Вряд ли...

Однажды Валерка видел ценник от маминого нового платья, там стояла цифра — четыре с половиной тысячи рублей. А платье было даже без рукавов и без оборочек каких-нибудь, черное, короткое.

Ерунда какая-то. За что деньги выброшены, совершенно непонятно!

Конечно, платья для девчонок должны быть дешевле, но все равно в пятьдесят рублей не уложиться. Тем более, что в Городишке единственный промтоварный магазин закрыт и даже заколочен, надо ехать в район, а это значит, и на автобус деньги понадобятся.

Может, у Сан Саныча займы попросить?..

— Да это ерунда, — сказала Ганка. — Подумаешь, платье! Я почему-то так быстро расту, Фаня ругается. Скорей бы меня уже кто-нибудь нашел, честное слово! Но знаете, Сан Саныч, я немножко стала что-то вспоминать про себя! Мне кажется, я из Москвы.

Вчерашний день прошел впустую. Уран засмотрелся в чистые небеса, которые казались особенно прозрачными над тяжелой периной тумана, налегшего на Городишко, реку, остров. Именно за близость к небу он еще больше любил свою работу врачавателя деревьев. Целыми днями осторожно состригал с них сухие и

больные ветви, иногда даже оставался ночевать там же, под облаками и звездами. Он любил высоту и воду, он любил деревья, которые сделали зелеными его глаза, раньше такие же светлые, как у матери, но не любил землю.

«Только не в землю, только пусть не зарывают! — смятенно думал иногда. — Под ветром, под солнцем, под звездами — если когда-нибудь я все же умру!»

В свою смерть не очень верилось. Хотя он часто видел гибель природы и мстил за нее, как умел.

В тот день Уран, задумавшись, совсем забыл о времени, забыл, что собирался привезти на остров еще одного зеленого зайца. Из страны заоблачных мечтаний его вернул голос, выкрикивавший слова молитвы, которой начинался и завершался световой день на острове.

Уран слетел с дерева, почему-то сразу решив, что это Маша, даже не дав себе труда задуматься, почему у нее такой странный голос.

Это не могла быть Маша! Просто не могла! Конечно, на острове все зеленые зайцы, маленькие, хорошенькие, пушистые и ласковые, казались Вере и Урану детьми, но это только казалось...

Уран решил, что ошибся. Он так много думал о пропавшей Маше, что вполне мог ошибиться. Да еще встреча с этим мальчишкой, племянником начальника полиции, вскружила голову, показалась такой удачей! Уран давно искал случая подобраться к этому негодяю Черкизову...

Вообще-то Уран старался не трогать браконьеров, прекрасно понимая, что человек должен чем-то питаться, что жить у реки и не кормиться ее дарами невозможно. Лишь бы не ловили икрянку до срока в нерестилищах, лишь бы не теряли головы от жадности! Но начальник полиции беззастенчиво пользовался своей властью, своим положением и дружбой с рыбинспекторами. По ночам ватага этих дружков на катерах рыбнадзора добиралась до нерестилищ и ставила сети. Беременных самок стерляди брали сотнями, потрошили, чуть подсоленную икру немедленно увозили «своим» перекупщикам в Москву, а спустя некоторое время, закоптив, туда же отправляли рыбу.

Черкизов заслужил кару! Но начальника полиции очень трудно было заставить одного. Кроме того, даже эти оголтелые, привыкшие к безнаказанности браконьеры не уходили на свой разбойный лов в туман. А туман был Урану необходим!

Мать умела при особой надобности вызывать туман из маленького озера в самом центре острова. Это было очень трудно, однако озеро ее слушалось. А Уран такого не умел. Ему, чтобы действовать, нужен был именно большой природный туман!

И вот наконец возникла возможность подобраться к Черкизову. Именно в туман. Его племянник появился весьма кстати.

Но Уран упустил свой шанс. Не повезло! Приехали какие-то люди — похоже, большое начальство. Пришлось уносить ноги, пока Валерка не заподозрил неладное.

И Урану пришлось возвращаться ни с чем...

Когда он добрался до берега, туман уже рассеялся. Река лежала тихая-тихая, как шелковый платок, ни волны не взволнуется! И только под лодкой-самоходкой играла рябь.

Уран всмотрелся в глаза лодки. Открытый был полон тревоги, веко закрытого подергивалось.

Лодка нервничала! Значит, что-то неладное случилось, пока не было Урана.

Эх, жаль, лодка не умела говорить! Все-таки она была некогда рыбой, которую Вера уговорила послужить сыну лодкой, а рыбы, к несчастью, немые.

Уран вошел в лодку и попросил отвезти его домой, на остров. Он был угрюм, чувствовал себя больным. Неудачи вообще плохо на него действовали!

Причалил в другом конце острова, не там, где обычно. Никого не хотел видеть — ни зеленых зайцев, ни даже мать. Пусть уж отведет вечернюю молитву, тогда он появится.

И вдруг Урана точно ударило запоздалым вопросом! Откуда, ОТКУДА девочка могла знать слова островной молитвы? Ее не слышал ни один человек, кроме Урана и самой Веры. Молитва была предназначена для деревьев, травы и цветов, неба, солнца, земли и воды. Для острова и его обитателей, зеленых зайцев.

Откуда ее знала неизвестная девочка?

Он снова и снова убеждал себя, что Маши нет в живых. Она утонула! Он сам видел, как разошлось в воде зеленое тельце! И помнил, как в ярости набросился на осину, которая нарочно — мать в этом не сомневалась! — уронила Машу в реку.

Они с матерью редко рубили деревья, даже уже совсем старые, сгнившие норовили вылечить, спасти, — но молодую, крепкую, высокую осину Уран изрубил с наслаждением. И сжег, и пепел по ветру развеял! Это была справедливая кара за предательство!

Да, Маша погибла, утонула, сомнений нет.

И все же...

Уран решил с самого раннего утра начать поиски этой девочки. Просто чтобы убедиться, что это — не Маша. Он умел повелевать людьми, когда начинал говорить с ними голосом самого дорогого для них человека, самого любимого, или того, о ком они беспокоятся, кого ждут... они повиновались беспрекословно!

Уран и сам не понимал, откуда узнает, каким голосом надо говорить, как это у него получается. Ну, в нем и в матери было полным-полно того, что необъяснимо! Но он никогда не ошибался.

Не ошибется и когда найдет эту девочку.

Но где ее искать?! Народу в Городишке немного, но уж десятка три разнокалиберных девчонок наберется.

Придется поговорить с каждой. Уран надеялся, что легко узнает ее по голосу.

Он почти не спал, к матери так и не пришел и, едва забрезжило, отправился в обратный путь. И, только причалив к берегу около Городишка, сообразил, какую глупость спорол, так поспешив. Ведь еще все спят! Часа три до того, как оживут улицы!

Урана и самого клонило в сон, но в лодке спать было мокро, неудобно.

Прошел немного по берегу и забрался в старый, заброшенный дебаркадер, стоявший посреди обмелевшего галечного пляжа. Когда-то дебаркадер занесло сюда большой водой, потом она схлынула, но ни у кого не было охоты волоочь обратно неуклюжее, тяжелое, никому не нужное сооружение.

Уран забрался в одну из кают, где еще сохранился облезлый кожаный диванчик, лег и немедленно заснул, да так крепко, что солнце уже стояло высоко, когда он проснулся и выбрался наружу. Спрыгнул с борта дебаркадера на гальку — и вдруг какой-то плакат привлек его внимание.

Это было изображение девочки лет восьми — с черными косами, черноглазой, круглолицей, немножко испуганной. Сверху значилась надпись: «Разыскиваются те, кто знает эту девочку».

Уран внимательно всматривался в ее лицо. Эти необыкновенные черные глаза, эти будто нарисованные тонкой кисточкой брови, эти нарядные, словно кукольные ресницы...

Похоже, плакат висел здесь не меньше десяти дней, обтрепался, выгорел, поблек. Как же Уран его раньше не видел?!

Ну, впрочем, он никогда не ходил мимо дебаркадера, вот и не видел. А в городе не обращал внимания на людскую суету, на их плакаты, объявления...

Может быть, конечно, он ошибается. И это просто случайное сходство. Но все же эту девочку надо найти.

Где?

Огляделся, словно надеясь, что девочка вдруг появится на пляже. Но вокруг было пусто.

Может быть, спросить в придорожном кафе?..

Уран направился туда. Но через два шага вернулся и осторожно, оборвав уголки, снял плакат со стенки дебаркадера. И снова пошел к кафе.

Толстая тетка с сильно накрашенными глазами, в каком-то невообразимо пестром платье стояла на пороге и скучным голосом звала, видимо, какую-то сбежавшую животину, кошку или, там, козу:

— Ганка! Ганка! Иди сюда, поганка! Куда запропастилась?!

— Извините, пожалуйста... — окликнул Уран.

Она смерила его пустым взглядом и, словно не слыша, продолжала орать:

— Ганка! Ганка! Посуду немытую бросила, дура! Не дам пожрать, с голоду подохнешь! Куда ты делась, зараза? А ну, иди сюда!

Уран насторожился. Ни кошка, ни коза не смогли бы мыть посуду. Ганка — это человек. Девочка.

— Скажите, вы не ее зовете? — показал он плакат.

— Кого ж еще? — буркнула женщина. — Ее, утопленницу беспамятную!

Утопленницу!

В горле пересохло.

— Вы ее что, из реки спасли? — спросил осторожно.

— А тебе что? — буркнула женщина и повернулась, собираясь уходить.

Кажется, она не собирается ничего рассказывать. Ну что ж...

Уран всмотрелся в нее внимательней, пытаясь понять, как ее зовут и каким голосом нужно с ней говорить. Успел *узнать*, что ее зовут Фаня, а про голос *узнать* не успел, потому что Фаня вдруг повернулась и с надеждой воззрилась на него:

— А может, ты ее родня? Может, забереешь с собой? А то она, дармоедка, растет, как на дрожжах. Когда я ее из воды выловила, была на вид лет восьми. А за две недели вымахала — ну прямо невеста!

— Ее в самом деле Ганкой зовут? — спросил Уран.

— Да не, — махнула Фаня рукой. — Это я придумала. Она же своего имени не помнила! Ну и повелось: Ганка-Поганка. А сегодня заявляет: я вспомнила, что меня Машей зовут! Я из Москвы! И нос задрала, и волосы постригла! Ну как же, если из Москвы!

Уран бросил взгляд на плакат. У девочки были две косички и кудряшки на лбу.

Он представил, как будет выглядеть это лицо, окруженное стриженными волосами, — и его зазнобило.

Маша... Из Москвы!

— Она что-нибудь еще про себя вспомнила? — спросил осторожно.

— Нет. Может, когда и вспомнит, а пока — нет!

— А вы не знаете, куда она пошла?

— Знала бы, чего бы я тут горло драла, звала ее? — буркнула Фаня. — С утра куда-то уперлась, дармоедка! Как бы не потащилась к этому мальчишке, который вчера тут был, как его... Валерка, что ли, Сан Саныча Черкизова племянник. Знаешь Сан Саныча?

Уран с трудом кивнул. У него даже в ушах зашумело, даже голова закружилась от ненависти к этому мальчишке, который вчера так легко его провел!

— Спасибо, — выговорил невнятно. — Я... пошел. До свидания.

— Ты это, если Ганку увидишь, скажи, что тут посуду мыть надо, некогда с кавалерами разгуливать! А может, ты приехал за ней? Забрать ее хочешь? — с надеждой спросила Фаня.

— Да, — выдохнул Уран. — Я хочу ее забрать.

— Тогда мне нужно издержки возместить! — обрадовалась Фаня. — Материальные и эти... моральные!

— Ладно, — сказал Уран. — Мы вам все возместим!

И бросился бегом в Городишко.

— А когда, когда возместите-то?! — надсаживалась вслед Фаня, но Уран не обернулся.

У Валерки оборвалось сердце. Раньше он в это выражение не верил, не понимал, как это может быть, но сейчас совершенно явно ощутил, что сердце только что билось в груди, а потом там сделалась какая-то пустота.

Ганка вспомнила, что из Москвы! И если туда отправят сведения о ней, родители, которые, конечно, ее ищут, за ней приедут! И заберут!

И Валерка никогда ее больше не увидит...

Лучше бы она ничего не вспоминала!

Ему стало стыдно, что такой эгоист, но сердце ныло и ныло. Тоска взяла. Ганка уедет в Москву, и...

Но, может, она не слишком быстро остальное вспомнит? И, может, у нее никого нет? Никакой родни? И тогда Валерка уговорит маму, чтобы Ганку забрали в Нижний. И она сможет жить у них дома. И ее запишут в четырнадцатую школу, в Валеркин класс, в шестой «б», нет, теперь уже в седьмой. И он попросит Зойку Семенову сесть на другую парту, а Ганка будет сидеть рядом с ним. Нет, пусть Зойка и Ганка вместе сидят, а Валерка на другую парту переседает. Потому что, если она сядет вместе с ним, он же не сможет на нее смотреть! Неудобно же сидеть целыми уроками, уставившись на свою соседку!

Хотя он готов смотреть на нее всегда. Вообще всегда!

Всю жизнь.

— Из Москвы? — оторвал его от мечтаний настороженный голос Сан Саныча. — А что еще вспомнила? Улицу, дом?

— Дом помню, но улицу — нет. Дом трехэтажный, вокруг сад, там много цветов... и он не совсем в Москве, а как бы поодаль... на каком-то шоссе, я название забыла, там много таких красивых домов с садами... — говорила Ганка, напряженно уставившись в стену, словно видела там эти дома и сады.

— И еще помню каких-то детей. Колю и Галю, — добавила она. — Может, это мои брат и сестра?

— Лучше б ты имя и фамилию свои вспомнила, — буркнул Сан Саныч.

— Да имя-то я вспомнила, — радостно сообщила Ганка. — Фамилию — нет, а имя — да! Меня Маша зовут.

«Маша! Уран был прав!»

Валеркино сердце, вернувшееся было на место, опять оборвалось.

Сан Саныч чуть со стула не упал:

— Маша?!

— Ну да, — кивнула она. — А Ганкой меня Фаня назвала. Это такое сокращение от слова Поганка.

Сан Саныч, кажется, хотел что-то спросить, но тут зазвенел его мобильник, забытый в соседней комнате, и он вышел.

— Слушай, — уныло спросил Валерка, — а откуда твое имя Уран знает?

— А кто такой Уран? — удивилась Ганка, то есть Маша.

И пора к этому привыкнуть... Хотя имя Ганка ему нравилось в сто раз больше! Или в тысячу. Ганна... Как в «Майской ночи»! И он решил продолжать называть ее Ганкой.

— Как кто такой Уран? — пожал плечами Валерка. — Да ты вчера от него убежала, помнишь?

— Это помню, — кивнула Ганка. — Я его голос слышала — и чуть с ума не сошла от ужаса. Я его страшно боюсь. Так же, как Веру...

Ее затрясло, в глазах появилось загнанное выражение.

— Где ты ее видела, эту Веру? — осторожно спросил Валерка.

— Не помню, — ответила Ганка с привычным вздохом. — Вроде бы там было много деревьев, и все шумели на разные голоса. Они Вере жаловались, она их лечила, успокаивала, смеялась...

Ганка говорила, неподвижно уставившись в стену, будто читала что-то, там написанное.

Отчетливо видное ей, но совершенно непонятное Валерке!

— Мы должны были молиться. Нас там примерно с десяток было. Когда меня привезли, все обрадовались, что вот новенькая, а я плакала. Они удивлялись, что я плачу, они говорили: «Нам тут хорошо! Только сны страшные снятся, а так — хорошо!» А мне сны не снились. Мне только ночью и было спокойно. А днем — страшно... Как молитва начнется, я плакала, прямо не могла. Вера на меня так поглядывала... страшно!

«Это — секта! — подумал Валерка. — Ее заманили в секту. А Вера, конечно, эту секту возглавляет. Они какие-то солнцепоклонники, раз кричат про пресветлое солнце. А тех, кто к ним попадает, они одурманивают, чтобы ничего не помнили».

— А как ты оттуда сбежала? — спросил осторожно.

— Мне осина помогла, — сказала Ганка медленно, все так же глядя в стену. — Мы молиться залезали на деревья...

«Точно, секта!» — чуть не подпрыгнул Валерка.

— Деревья Веру слушались беспрекословно, все делали, что она прикажет, — снова заговорила Ганка, и Валерка воззрился на нее изумленно.

Наверное, изумишься тут! Деревья слушались беспрекословно! Да разве они живые?!

— А осина ее не любила, — продолжала Ганка. — Не знаю, почему, но мне так казалось. Вера ее тоже не любила. Все приговаривала: «Будешь вредничать, отдам под топор!»

Валерку зазнобило.

«Она сошла с ума. Ее там свели с ума! Ее надо лечить!»

— И вот в тот день... — сказала Ганка, но тут дверь открылась и появился Сан Саныч, очень бледный и совершенно трезвый, уже в форме, с кобурой на поясе.

— Мне надо ехать, — буркнул он. — От *тех* по-прежнему нет известий, там все их начальство уже с ума сходит. Приказано поехать на остров.

— На остров... — повторила Ганка, словно эхо.

— Надо посмотреть, что там и как, — продолжал Сан Саныч. — Да я бы и сам поехал. Чувствую себя дезертиром. Как это я вчера так оплошал... Был бы с ними, ничего бы не случилось.

— Да может, еще и теперь ничего не случилось, — заикнулся Валерка.

— Случилось, случилось, — мрачно пробубнил Сан Саныч. — Я чувствую. Короче, я еду.

— Я тоже! — заявил Валерка.

Сан Саныч посмотрел на него, как на ненормального.

— Еду! — петушиным решительным голосом выкрикнул Валерка. — Буду ждать тебя в лодке. А вдруг и ты... вдруг и с тобой что-то случится... и знать никто ничего не будет!

Сан Саныч смотрел в сомнении.

— Я с вами пойду, — вдруг сказала Ганка.

— С обозом двинем? — рявкнул Сан Саныч. — Спятели оба?!

— Я вас могу по острову провести, — Ганка и бровью не повела. — Я остров помню! Я там все знаю!

— Убиццо... — простонал Сан Саныч. — А как тебя вообще туда занесло?! Зачем?!

— Этого не знаю, — покачала Ганка головой. — Зато знаю, как убежала. Меня осина сбросила в воду. Я плыла, а Вера кричала: «Что ты надела, проклятушая?! Отдам тебя Урану под топор!»

— Урану?! — хором спросили Валерка и Сан Саныч.

Ганка замерла, водя глазами с одного на другого, потом закричала:

— Да! Урану! Я его не помню, но голос его помню и помню, что всегда боялась и ненавидела его!

Она вскочила, схватила Валерку за руку. Он тоже поднялся — и с неудовольствием обнаружил, что Ганка чуть выше его. А вчера была одного роста с ним.

Вот невезуха... Она, наверное, вымахает под метр восемьдесят пять, будто какая-нибудь модель, а у него наследственность плохая: родители оба маленькие. Правда, Сан Саныч довольно высокий... может, Валерка в него пойдет?

— Уран, — задумчиво повторил «довольно высокий» Сан Саныч. — Остров... Все же не пойму — остров последний месяц все время просвечивали со спутника, и никого, кроме этих Беловых, там не было. Почему не видели других людей?!

— А мы там были не людьми, — выдохнула Ганка и заплакала.

Насилу отбились от летучей нечисти! Бета, правда, раз не выдержал, полоснул лазерным лучом. Но только листья на ближайших деревьях съежились, а завесу мошкары этот луч пронзил, словно игла: она раздвинулась было, да тут же сомкнулась вновь.

Пришлось лезть в воду, скидывая на ходу одежду.

Мошкара еще пометалась грозно, а потом вся разом полетела в лес. Тучи ее какое-то время еще метались меж стволов, падали оземь, взвивались к вершинам, и чудилось: лес клокочет возмущенно.

Страшно было выбираться на берег, но не рыбы же, не ихтиандры век в воде сидеть!

— Что это ее разобрало? — стучал зубами, одеваясь, Гамма.

— Ты о ком? — спросил Альфа.

— Да об этой, о Вере Беловой, — ответил Гамма.

И осекся.

Вера?!.. Но ведь именно это слово или имя слышали они нынче утром, когда вдруг грянул неземной хор! Неужто никто не обратил на это внимания? И он зачастил:

— Как же вы не заметили, что это она все устроила! Она разгневалась, когда мы сказали, что с ее сыном хотим поговорить, а главное — об экспертизе голоса! Разгневалась — и наслала на нас эту жуткую мошкарку! Да еще спасибо, что не змей каких-нибудь!

Бета, хмыкнув, отвел глаза, Альфа же, наоборот, тяжело поглядел на Гамму.

Конечно, он скорее откусил бы себе язык, чем признался подчиненным... но, как ни странно, ему тоже почудилось, будто мошкара набросилась на них по злой воле той женщины.

Дико, глупо — да, но... Черт знает что лезет в голову на этом острове!

Ладно, дело не ждет. Во-первых, нужно обойти остров по периметру. Может, какой след пропавших и отыщется. Во-вторых, найти жилье этой женщины. И попробовать договориться.

Спустя час, усталые, разочарованные пустыми поисками, они набрали на озерцо, лежащее среди поляны. Озерцо напоминало живой, дышащий овал. Всем хотелось напиться, но Альфа знаком приказал открыть свои термосы. Что-то в этом озере было... не то!

Донимала охота бросить туда камень, но Альфа почему-то не решался. Казалось бы, нет ничего особенного в том, чтобы в воду камень бросить, но там была явно не вода. Словно дым какой-то наполнял озерко! И совершенно непонятно было, глубокое оно или мелкое.

Наконец осмелился. Велел своим залечь за деревьями, а сам швырнул камушек, небольшой, деликатный, как осторожный стук в дверь, чуть не в середину — и плюхнулся в траву, закрывая руками голову.

Ждал взрыва какого-нибудь, но ничего не произошло. Стояла прежняя, пронизанная трелями ветра и птиц, тишина.

Альфа посмотрел на озерко. В самом деле, ничего страшного не случилось. Ну, легкая белесая дымка чуть выше поднялась. А так — ничего.

Ну и хорошо. Лучше уйти отсюда поскорей.

И они снова пустились в путь.

Остров оказался больше, чем можно было судить по снимкам, сделанным со спутника. Но вскоре Альфа отгадал загадку: они шли по тропе, а та отнюдь не была прямой и торной дорогой. Тропа все время петляла, выписывала какие-то завитки и кренделя, оттого одни и те же места попадались им по несколько раз.

Можно было подумать, что тропа нарочно сбивает их с пути.

Но Альфа предпочитал так не думать. Этак ведь вообще неведь до чего додуматься можно!

Они шли, шли... Потом Альфе надоело слушаться тропы, и он сошел в траву. Трава немедленно начала спутывать ноги. Тоже как нарочно!

Пришлось вернуться на тропу и снова подчиниться ее прихотливому извивам.

Остановились передохнуть и перекусить. Солнце стояло уже высоко.

Альфа попытался позвонить Черкизову — связи не было. С Москвой тоже не удалось соединиться. Значок сети на дисплее мобильного то маячил, то исчезал.

— Черкизов говорил, что у этих Беловых даже мобильных нет, — напомнил Бета. — Понятно, почему.

— Да, неудачно... — проворчал Альфа.

— Слушайте, товарищи, — вдруг сказал Гамма. — А вам не кажется, что мы здесь уже проходили?

Осмотрелись. Слева за деревьями виднелась река. Справа сквозило что-то белесо-зеленоватое.

Да ведь там, за деревьями, та же самая поляна с туманным озером, сообразил Альфа.

Приплыли!

— Я устал, — сердито сказал Гамма и плюхнулся в траву. Но тут же подскочил, оглянувшись.

— На муравейник угодил, что ли? — усмехнулся Альфа. — Смотреть надо, куда сади...

И осекся. И так же, как Гамма, уставился на земляной холмик, еще не поросший травой.

Это не был муравейник — это был холм, насыпанный руками человека. И он здорово напоминал могилу.

— Нашли? — хрипло спросил Бета. — Неужели нашли?

— Что-то мы точно нашли, — согласился Альфа. — Вопрос, что именно.

— Нет, ну не могут там быть они зарыты! — вскричал Гамма. — Со спутника же на полтора метра остров просветили!

— Но что-то тут определенно зарыто, — пробормотал Альфа и отстегнул с пояса саперную лопатку в чехле.

Один взмах, другой...

Оказалось, яма была заложена кусками дерна, перевернутыми травой вниз. Его быстро расшвыряли и тупо уставились на синий шелковый халат, небрежно скомканный и испачканный землей. Под халатом лежала женская трикотажная серая пижама. От нее исходил неприятный запах земляной сырости. Какая-то рыжая многоножка вылезла из складок и чесанула невесть куда, но Гамма успел припечатать ее каблуком.

Но это было только начало. Когда вынимали ту одежду, которая лежала под пижамой и халатом, оттуда так и полезли отвратительные насекомые. И черви, и многоножки, и какие-то белесые склизни, и даже бледные, круглые, слепые пауки, похожие на нарывы, готовые вот-вот лопнуть.

Все трое приехавших на остров многое повидали в жизни, но сейчас омерзение взяло всех неодолимое, до рвотных спазмов в горле! Больше всего Альфе хотелось выжечь всю эту гадость лазерным лучом, но тогда сгорела бы и одежда, а это было не просто полусгнившее тряпье: это были вещественные доказательства. Одежда тех самых людей, которых они искали!

Альфа наизусть знал описания всех вещей, в которых были пропавшие, от синего халата Марии Серегиной до адидасовских штанов Павла Привалова. И все это теперь лежало перед ними, сваленное в яму в разное время и находившееся, как говорят судмедэксперты о трупах, «в разной стадии разложения». Штаны Привалова, к примеру, сплошь заплесневели, а вещи Серегиной просто отсырели. Ну да, она же пропала еще не столь давно...

Альфа занес на электронную карту координаты находки и попытался выйти в Интернет. Но сообщение ни по почте, ни смс отправить не удавалось, хоть тресни!

— Что ж, — сказал Альфа, — решающее доказательство налицо. А трупы, скорее всего, спрятаны где-нибудь в подводной яме, на такой глубине, что ее не просветишь.

— Но зачем было раздевать похищенных? — растерянно спросил Бета.

— Но зачем было их вообще похищать? — усмехнулся Альфа. — Ни требований о выкупе, ни заявлений каких-то не поступало. Видимо, мы имеем дело с маньяками, а мотивацию их поступков понять сложно. Это уже работа психиатров и следователей. Мы свое сделали — нашли доказательства причастности к преступлению.

Они сфотографировали находку на все три камеры: если с одной что-то случится, другие останутся. Вещи Серегиной сложили в пластиковый пакет, подробно засняв процесс выемки их из ямы. Если Беловы каким-то образом успеют подсуетиться и перепрячут остальные вещдоки, пакет и видео останутся.

Но у Беловых шансов отвертеться уже не было, это отлично понимали все. Первым делом решили арестовать женщину, потом взяться за сына.

Теперь, когда в руках оказались реальные доказательства преступления, чудеса и мороки острова перестали действовать на всех троих, наваждение и смутный страх исчезли.

Заложив яму так, как было раньше, тронулись в путь. Шли по траве, чтобы опять не путаться с тропкой, а чтобы трава не мешала, выжигали ее лазером впереди.

Трава покорно никла, идти стало веселей.

— Туман ложится, что ли? — сказал вдруг Гамма, идущий последним.

Огляделись. В самом деле — позади тянулись белесые нити. Похоже на паутинки, какие летают в разгар бабьего лета, но сейчас стоял июль, это раз, а во вторых, нити были мохнатые и напоминали клочья тумана.

— Еще не хватало, — проворчал Альфа. — Если ляжет такой, как вчера, не оберемся хлопот. Надо поторопиться.

Поторопились. И вот наконец-то впереди открылась поляна, огород-сад за плетнем и — убогонькая бревенчатая избушка.

Постояли, приглядываясь. Вершины деревьев задыхались от солнца и грохота ветра, а внизу было сыро и тихо. Только заплетал свои мохнатые кружева туман.

— Оружие приготовить, — негромко скомандовал Альфа, хотя все и так держали его наготове.

И вдруг из-за кустов выскочило что-то, метнулось через тропу!

Ударил молния — Бета опустил руку с оружием.

Гамма выругался севшим голосом.

Зверек, которого влет, с быстротой и меткостью робота, сбил Бета, очень напоминал зайца — только не серого, не белого даже, а зеленого цвета!

Зеленого — как трава, как листья, как, чудилось, самый воздух здесь, как все это дикое, непостижимое лесное празднество...

Альфа содрогнулся, словно и его прострелило. Что-то накатило, какая-то тоска ядовитая... Но он взял себя в руки, потому что рядом с избушкой показалась статная женская фигура.

Она! Опять она!

Ганка все плакала и плакала. И ничего, никакого слова от нее нельзя было добиться. Замучишься успокаивать!

Но, честно говоря, Валерка вовсе не замучился. Ему было приятно бормотать снова и снова:

— Ну что ты? Не надо!

Ужасно хотелось вытереть ей слезы, но, во-первых, не было платка, и, во-вторых, Сан Саныч как-то странно смотрел.

Говорят, мужчин должны раздражать женские слезы. Но Валерку Ганкины слезы ничуть не раздражали. А Сан Саныча — наверное, да, то-то он с Валерки глаз не спускал, и рот у него подергивался.

Посмеяться, что ли, хотел?

— Слышь, племянник, — сказал наконец, — сходи-ка в мой кабинет, там такая голубая папка лежит на столе, принеси, пожа...

И не договорил: у калитки зазвенел звонок. А потом раздался веселый голос Альфы:

— Открывай, Сан Саныч. Открывай скорей!

— О Господи! — Начальник полиции от радости едва не выронил кружку. — Ну, слава те! А я уж чуть не поседел! Валерка, сбегай, открой!

— Сан Саныч! — надсаживался Альфа. — Давай открывай, чего ты там расселся!

— Ребята вдарили для куражу, что ли? — удивился Сан Саныч. — Ишь, развеселились! Вчера слова при них лишнего нельзя было сказать, а сегодня только не песни поют.

Ганка вдруг перестала плакать, слезы мигом высохли. Испуганно уставилась на Валерку:

— Я уже этот голос слышала!

— Конечно, слышала, — кивнул Сан Саныч, — ты ж вчера этому товарищу к нам дорогу показывала.

— Нет, — прошептала Ганка. — Я раньше слышала! Валерка, не ходи туда!

Да его и самого ноги не несли. Слишком хорошо помнил, как вчера в тумане Уран смешным мальчишеским голосишком орал: «Сан Саныч, ну иди сюда!»

«Сегодня тумана нет», — напомнил себя Валерка. Но менее страшно не стало.

— Сан Саныч, ты Альфе позвони, — сказал он. — Только не высовывайся. А я со второго этажа тихонько послушаю, звенит у калитки мобильник или нет. И посмотрю, кто там.

— Только осторожней! — пискнула Ганка.

— Да что за игры? — вспыхнул было Сан Саныч, но всмотрелся в Валеркино лицо, пожал плечами, вынул из кармана мобильник и кивнул:

— Считаю до двадцати, потом набираю. Сам не знаю, чего это я вас слушаюсь!

Валерка взлетел по лестнице. На пороге комнаты плюхнулся на коленки и на четвереньках пробежал под окно.

Звонков слышно не было.

Валерка спрятался за портьеру и, под прикрытием цветочного горшка, чуть-чуть приподнялся над подоконником.

Отсюда было отлично видно всякого, кто стоял бы за калиткой.

Если бы там кто-нибудь стоял...

Но за калиткой никого не было.

«Вот! — потрясенно подумал Валерка. — Вот так же он Серегину в лодку заманивал! Неужели это все же Уран? Неужели он умеет становиться невидимым?!»

Если Уран и умел это делать, то сейчас он своим умением не воспользовался. Через минуту Валерка его обнаружил. Уран сидел на корточках за кустом и продолжал кричать голосом Альфы.

Валерка снова добежал на четвереньках до лестницы и скатился по ней.

Ганка при виде его просияла.

Сан Саныч задумчиво покачал телефоном:

— Абонент недоступен. А ты что-нибудь увидел?

— Там Уран! — выпалил Валерка.

Ганка приоткрыла рот, но не издала ни звука.

— Ты что, видел его?! — недоверчиво спросил Сан Саныч.

— За кустом прячется, — кивнул Валерка.

— Так, — сказал Сан Саныч. — Не нравятся мне эти игры. Все же придется ехать на остров. Только этого чреовещателя надо отсюда спровадить. Интересно

бы знать, почему он голосом Альфы заверещал? Неужели парни попались? Или тут что-то послужней? Серегину-то он голосом ее мужа покойного заманивал...

Он говорил будто сам с собой. Потом встряхнулся.

— Позвоню-ка я бабе Кате... Пускай службу вспомнит.

— Где она служила? — удивился Валерка. — В армии, что ли?

— В какой армии? Да она же вдова бывшего начальника милиции в Городишке! — сообщил Сан Саныч. — В свое время в курсе всех дел была. Сколько раз на задержания с нами ездила. Небось еще не все хитрости забыла.

И он снова взялся за телефон.

Окна второго этажа были открыты, первого — закрыты. К калитке никто не шел.

Уран чувствовал, что сейчас Черкизов больше всего озабочен пропажей того человека, голосом которого он и начал его звать. Он звал снова и снова... Однако никто не отзывался.

Наверное, начальник полиции куда-то ушел. И племянник тоже. А Маша? Застала их? Или нет?

Где ее теперь искать? А найти надо, и чем скорей, тем лучше!

— Эй, чего ты разоряешься тут?! — раздался зычный женский голос, и из соседней калитки выглянула дородная тетка с румянными щеками и седой косой, уложенной вокруг головы короной. — Орет и орет!

Тетка была сердитая, но Уран при виде ее невольно улыбнулся: мать иногда так же причесывалась. Ему это очень нравилось. Когда был маленький, нарочно просил: «Мама, причешись, как королева!»

Она и была королевой — королевой острова, деревьев, неба, травы... зеленых зайцев! Она была королевой измученного людьми мира и пыталась его защитить. А Уран помогал ей, как мог.

Они воевали вдвоем против всех людей.

— Кого ждешь? — продолжала сердитая тетка. — Сан Саныча, что ли? Да он примерно час назад уехал. В Нижний.

— В Нижний? — изумился Уран. — Ничего себе! А Валерка?

— И Валерка с ним, — кивнула тетка. — И еще девчонка... ну, эта, которая у Фани в кафе жила. Вроде бы она что-то там про себя вспомнила, ну, найденка эта. Потому Сан Саныч ее быстренько в машину — и в Нижний. Чтобы в Москву отправить. Чего-то она много про себя навспоминала! Вот они и уехали. Так что хорош орать, понял? Всех кур мне распугал! Уходи, а то милицию вызову! То есть эту, полицию!

Уран кивнул, медленно повернулся и побрел по улице.

Он был потрясен.

Все рушилось. Все рушилось!

Что делать?! Поймать машину и тоже ехать в Нижний? Но если они уехали час назад, их уже не догнать. Да и где их искать в огромном городе?

Получается, к Маше постепенно возвращается память... Тогда надо ожидать нашествия людей на остров.

Нужно вернуться. И как можно скорей!

Если что — матери будет трудно одной. О, конечно, она может справиться с чем угодно, а все же помощь не помешает!

Ему не хотелось уходить. Хотелось еще подождать, выяснить...

Хотя что выяснять? Соседка же ясно сказала, что все трое уехали. И в самом деле — еще вызовет милицию.

Само собой, Уран ничего и никого не боялся, но сейчас связываться с людьми по таким пустякам не хотелось.

Он споткнулся. Неправда, что он ничего и никого не боялся! Сейчас он боялся Маши. Этой маленькой девочки он боялся, как неодолимой, грозной силы, которая может нахлынуть — и разрушить все, весь их с матерью чудесный, живой мир!

И еще что-то его мучило, как будто что-то забыл и не мог вспомнить... Что-то было не так, но что?!

Наконец Уран остановил попутную машину и попросил отвезти к реке. К счастью, это было близко, минут десять езды.

Выходя, сунул водителю, не глядя, какую-то красную бумажку — он вообще все время забывал, что деньги нужно считать. У водителя сделалось испуганное лицо, он торопливо спрятал деньги, словно не получил их за работу, а украл.

Впрочем, Уран немедленно о нем забыл и бегом бросился через пустой галечный берег к пристани, где глазастая лодка, издалека почуяв его нетерпение, приплясывала на волнах.

Уран был уже почти около острова, когда догадка прилетела невесть откуда, будто случайная пуля, и ударила прямо в лоб.

Он понял, что его мучило, что, казалось, идет не так, о чем он забыл.

Он забыл о главном: о том, что узнать, каким голосом нужно говорить с тем или иным человеком, можно, лишь только находясь поблизости от этого человека. Если бы Сан Саныч вместе с детьми уехал час назад, он был бы уже далеко, и Уран *не почувствовал* бы его. Не знал бы, каким голосом его звать!

Соседка обманула: Черкизов находился дома. И Валерка был там же и, наверное, Маша!

«Может, вернуться?» — подумал Уран.

Нет. Если они не высунули носа из дому на его зов, если прислали лживую соседку, значит, Черкизов уже все понял. Все или очень многое. И готовится к наступлению.

Значит, Уран и Вера должны готовиться к обороне.

Ну что ж...

— Давай скорей, — скомандовал Уран лодке.

Впрочем, она и сама все понимала, ее не нужно было подгонять.

Да, баба Катя оказалась на высоте! Снова поднявшись на второй этаж, Валерка из-за цветка все слышал, а потом увидел, как Уран ушел восвояси.

На работу пошел, наверное. День в разгаре! Залезет на какой-нибудь высокий тополь и будет там сидеть, а они тем временем сгоняют на остров и все выяснят про пропавших «секретных товарищей».

У него было великолепное настроение. Все на свете казалось возможным!

Валерка радостно помчался к лестнице, как вдруг увидел на столе ту самую голубую папку, которую дядька просил принести. Сдернул ее со стола; папка оказалась скользкая, пластиковая, выскользнула из рук, упала — и листки рассыпались по полу.

Пришлось Валерке поползать за ними. Ну и глянуть одним глазком, конечно! Это были фотографии, описания и краткие сведения обо всех пропавших. О тех, искать которых отправились Альфа, Бета, Гамма.

Он старался складывать листки как можно аккуратней, но плохо получалось. К тому же, Валерка спешил: небось, Сан Саныч догадался, что племянник в се-

кретную папку нос сунул, как та любопытная Варвара! А он ни слова не прочитал, между прочим, только на фотографии смотрел!

Наконец осталось собрать последние листки, которые, как нарочно, улетели под диван.

Валерка распростерся на полу, вытянул руку как можно дальше, ногтями подцепил листки и потащил к себе. И вот они уже перед самым его лицом.

И Валерка в них невольно посмотрел.

...Потом он лежал и лежал. Больше ничего не мог — только лежать на полу.

Наконец Сан Саныч нетерпеливо крикнул снизу:

— Ты там живой, Валерка?

Тогда он завозился, поднялся, собрал листки и спустился.

Отдал папку Сан Санычу и наткнулся на его сочувственный взгляд.

И понял, что дядька нарочно его за этой папкой отправил. Как знал, что племянник окажется той самой любопытной Варварой, которой на базаре нос оторвали.

Честное слово, Валерка с удовольствием поменялся бы с ней местами!

Нос оторвали! Подумаешь, нос!

Ганка — то есть Маша! — поглядывала на них обоих с беспокойством, но молчала. Наверное, чувствовала: что-то случилось. Спасибо, не спрашивала, что именно.

Потому что никто не смог бы объяснить!

— Ну, я должен ехать, — сказал наконец Сан Саныч. — Сюда пришло бабу Катю. И позвоню в отделение, чтобы пришел кто-нибудь к вам.

— Я тоже еду, — решительно заявил Валерка.

Сан Саныч посмотрел понимающе, кивнул.

— И я еду! — вскочила Ганка. — Я не буду мешать!

— Нечего тебе там делать, — буркнул было Сан Саныч, но Валерка примирительно сказал:

— Пусть едет! Она не будет мешать!

Он отлично знал, что в лодку Ганка не сядет. У нее же водобоязнь! Наверное, сама про это забыла, вот и просится с ними.

Но объяснять ничего не стал, потому что это значило бы напомнить Маше о ее собственных словах, то есть — заговорить с ней, а говорить с ней Валерка пока не мог. Поэтому он просто повторил, глядя на дядьку:

— Пусть едет.

Сан Саныч удивился, но спорить больше не стал.

Заперли дом, Сан Саныч что-то сказал бабе Кате, которая стояла у своей калитки. Она внимательно выслушала, нахмурилась, кивнула...

Погрузились в дядькин джип.

Валерка сел впереди, рядом с Сан Санычем. И подумал, что еще полчаса назад отдал бы все на свете, чтобы сесть рядом с Ганкой на заднем сиденье и как бы нечаянно взять ее за руку. А теперь...

Неужели Сан Саныч и правда нарочно послал его за голубой папкой, потому что уже и сам обо всем догадался? Но как *это* может быть?!

А впрочем, во всей этой истории уже полным-полно такого, чего быть не может. Не может, но оно есть...

«А вдруг это ничего не значит?» — робким, тоненьким голоском спросила Валеркина надежда.

Но он ей ничего не ответил. Просто не знал, что отвечать.

Подъехали к большой пристани, где держали свои лодки и катера все серьезные местные и приезжие рыбаки. Тут была охрана и отдельный сарай для моторов и весел.

И сразу выяснилось, что Валерка оказался прав. Ганка спокойно шла по берегу, но, как только понадобилось забраться в лодку, девочку затрясло, она побледнела, отбежала в сторону, и ее вырвало.

— Не могу, — прошептала чуть слышно. — Не могу! Я вас там подожду! — И махнула в сторону заброшенного дебаркадера, лежавшего между новым и старым причалами.

— Значит, так, — сказал Сан Саныч. — У тебя часы есть?

Ганка слабо усмехнулась:

— Откуда?

— Ладно, — кивнул Сан Саныч. — Валерка, отдай ей свои часы. Давай-давай, она их тебе потом вернет.

Ганка радостно смотрела на часы. И Валерка подумал, что еще недавно был бы счастлив оттого, что она надевает его часы.

А теперь...

— Ты сиди в дебаркадере, — велел Сан Саныч Ганке. — И следи за временем. Если ровно через два часа нас не будет, беги к бабе Кате. Я ей на всякий случай дал подробные инструкции. Будем надеяться, что этого не понадобится, но всегда надо обеспечить тылы. Поняла, что делать?

Ганка кивнула, исподлобья глядя на Валерку.

Он отвел глаза.

— Счастливо, — тихо сказала Ганка, повернулась и пошла к дебаркадеру.

— Да... дела! — проворчал Сан Саныч.

Валерка подумал, что немедленно утопится, если дядька скажет еще что-нибудь. Но тот молча залез в лодку.

Валерка тоже туда забрался и сел так, чтобы не видеть берег. Но лодка разворачивалась, и они оба увидели, как Ганка понуро бредет по гальке, с трудом волоча ноги в своих кошмарных кроссовках.

Валерка отвернулся, стал смотреть на старый причал, где вчера — только вчера! — увидел ее первый раз. Не хотелось вспоминать, но поневоле вспоминалось, как она появилась из тумана — в этом поношенном сером плаще, с косичками, кудряшками на лбу, с этими своими черными глазищами в кукольных ресницах, и похвалила Валерку за то, что сбросил в воду чалку лодки Урана.

Валерка так и ахнул, завертелся на банке, вглядываясь в удаляющуюся старую пристань. Они шли на самой малой скорости, чтобы мотор не слишком трещал, однако пристань все равно быстро удалялась, а остров приближался.

— Сан Саныч! — крикнул он. — Лодки Урана на месте нет! Он не в городе, он уехал на остров!

— Вот же бес! — проворчал Сан Саныч. — Видно, что-то заподозрил. И помчался предупредить мамашу. Надо спешить! Эх, зря я тебя с собой...

Он не договорил.

Что-то ударило в днище, да так сильно, что лодка подпрыгнула и накренилась.

Всплеснув руками, женщина бросилась вдоль речки и с разбегу рухнула на колени. Схватила опаленный зеленый комочек, прижала к груди со слезами:

— Пашка! Глупый! Зачем ты к ним?! Бедный ты...

«Пашка? Почему Пашка?» — разом подумали все.

Тому, что заяц был зеленый, почему-то не удивлялись.

— Ну ладно, Белова. Хватит причитать. — Тон Альфы был суров. — Встань-ка да ответь нам на пару вопросиков.

Она не шелохнулась.

Тогда Гамма раздраженно тряхнул ее за плечо. И вскрикнул невольно: от неволького движения рука повисла плетью!

А женщина бережно уложила зеленого зайца на траву и встала с колен, по-прежнему не поднимая глаз. То ли слез своих застыдила, то ли омерзительно было на людей смотреть?

— Послушайте, Белова! — процедил Альфа. — На реке в районе острова за последнее время пропало несколько человек. Вы их видели?

Она качнула головой.

— Вспомните хорошенько! — В голосе Альфы зазвучал металл.

Опять медленно качнулась ее голова, но взглядом она никого не удостоила.

— Хватит врать! — вскричал очнувшийся от боли Гамма. — Где они? Мы нашли их вещи! Живы эти люди или... Говори!

Молчание.

— Да это же просто исчадие какое-то! — возопил Бета. — Как ее только земля носит?!

— Лучше спросите, как она вас носит, — глухо произнесла женщина. — Вы-то разве люди? И разве людьми были те, кого вы ищете?

— А! — насмешливо сказал Альфа. — Вот и проговорились! Значит, вы их все-таки видели? И если это ваших с сынком рук дело...

И вот тут-то она вскинула глаза, и Альфа ощутил такую ломоту во лбу, словно с разбегу ударился о стену!

Все замерло в лесу. Чудилось, воздух остекленел.

И в эту тишину вдруг ударил незнакомый голос:

— Стойте!

На острове появился еще один человек: высокий, беловолосый, зеленоглазый юноша.

Раньше Альфа видел его только на снимках, но узнал сразу.

Тот самый Уран Белов!

«На топляк наскочили?» — подумал Валерка, перевешиваясь через борт и пытаясь разглядеть в глубине затонувшее бревно, на которое они налетели.

И тут же вновь ударило в дно! Лодка опять подскочила — и Валерка головой вперед полетел в реку.

Он погрузился довольно глубоко, перевернулся, торопливо начал всплывать — и вдруг увидел то, что атаковало лодку.

Это было не бревно. Это был осетр — огромный, таких он никогда не видывал! Метра два длиной, не меньше, а в ширину — как хорошее полено!

Валерка тупо уставился на него, а тем временем осетр, проворно развернувшись, пошел на лодку снова. И опять ударил в днище!

Лодка взлетела вверх, перевернулась — и рядом с Валеркой очутился Сан Са-ныч. Схватил племянника за шкуру и потащил вверх, а то Валерка от изумления даже забыл, что надо вообще-то выныривать.

Они устали друг на друга, вытаращив глаза и хватая ртом воздух. Потом повернулись к лодке, которая продолжала скакать на воде. Рыбина от нее не отставала и продолжала подбрасывать. Шум стоял такой, будто шла морская баталия.

— К берегу! — выдохнул Сан Саныч. — Доплывешь, чемпион?

Валерка еще не был чемпионом, но плавал хорошо. Эти сто метров, которые оставались до острова, были для него сущим пустяком. Он даже не запыхался — в отличие, между прочим, от Сан Саныча, который от него немного отстал.

Едва встав на ноги на мелководе, оглянулись.

Над водой торчала одна корма, лодка тонула: рыба добила своего.

— А, так же тебя... — бессильно простонал Сан Саныч. — Сбесился осетр, что ли?! Никогда такого не видел! Да и вообще осетров здесь не видел никогда!

— Сан Саныч, — испуганно сказал Валерка, — смотри!

По воде стремительно шла дорожка мелкой ряби, приближаясь к берегу. Это рыбина приближалась к ним!

— Бегом! — крикнул Сан Саныч и так толкнул Валерку, что тот чуть не упал.

В тучах брызг вылетели на песчаную отмель, потом на траву, вскарабкались на обрывчик, нависающий над кромкой берега, потом оба как-то разом спохватились, что рыба вряд ли побежит за ними по песку, и обернулись.

Река была тиха, только там, где затонула лодка Сан Саныча, еще крутился небольшой водоворот. А на пустом берегу лежала утлая лодка с нарисованными глазами: синим и зеленым.

— Это лодка Урана, — сказал Валерка.

— Да знаю, — отозвался Сан Саныч. — Как это мы ее не заметили, когда бежали?

И осекся.

Лодка лежала точно в том месте, где они выбрались на отмель и откуда по песку тянулись две цепочки их следов.

Если бы она была там раньше, они бы на нее наткнулись! Но ее не было. Она появилась потом... и теперь лежала, глядя на них нарисованными глазами: синим и зеленым.

Оба глаза были открыты.

Сан Саныч схватил Валерку за руку — и они ломанулись в лес.

На бегу Валерка вспомнил, что Сан Саныч взял его только для того, чтобы ждать у лодки. На всякий случай.

Теперь ждать было не у чего, а оставаться на берегу один он не собирался под угрозой расстрела. И *всякий случай*, кажется, уже наступил...

Сначала бежали, не разбирая дороги, потом Сан Саныч спохватился, схватил Валерку за руку, огляделся:

— Здесь лучше не шуметь. Тс-с! Слышишь голоса? Пойдем туда, только осторожно.

Он расстегнул кобуру, и Валерка подумал, что зря Сан Саныч это делает, ведь они слишком долго пробыли в воде. К его изумлению, пистолет оказался обернут тончайшей пленкой. Сан Саныч распутал ее, смял, сунул в карман и шепнул:

— А ты что думал? Мы где живем? На реке. А живучи на реке, надо в любую минуту быть готовым в воду упасть. И табельное оружие при этом следует сбросить. Этот, наверное, может подвести, вода попала в ствол, — он вынул другой пистолет сзади из-за пояса, осмотрел, с сожалением сунул в карман. — Но тот, что был в кобуре, готов к труду и обороне! И к бою он тоже готов... А теперь пошли, да тихо, не дыша!

Они сделали буквально несколько шагов, как вдруг открылась поляна, избушка посередине — и пять человек, стоявшие перед ней.

Альфа, Бета, Гамма, одетые в камуфлю... а напротив — Уран и высокая женщина с косами, уложенными короной, одетая в какой-то балахон. У нее были

белые волосы, как у сына, а глаза не зеленые, а очень светлые, прозрачные, как бы серо-белые.

«Вера-мегера, — вспомнил Валерка слова Ганки. — Не очень-то она на мегеру похожа!»

Она была красивая. Очень красивая...

Но чем больше Валерка смотрел на нее, тем больше хотелось зажмуриться и куда-нибудь скрыться.

Спрятаться, чтобы она не нашла!

Мегера. Да.

— Ложись, чего застыл! — прошипел Сан Саныч, осторожно опускаясь за куст.

Валерка тихонько примостился рядом.

Что-то зашуршало сбоку. Сан Саныч вскинул пистолет, да так и замер: на них безмятежными темными глазами смотрел заяц.

Зеленый заяц!

Раз — и прынул в кусты.

Валерка забыл, что надо дышать...

А Сан Саныч переложил пистолет в левую руку и быстро перекрестился.

Покосился на племянника, который таращился то на тропку, где только что сидел зеленый заяц, то на дядьку.

— У тебя крестик есть? Ты крещеный? — спросил Сан Саныч.

Валерка качнул головой.

— Выпорю Ирку! — грозно прошипел дядька, и Валерка не сразу сообразил, что Ирка — это его мама, младшая сестра Сан Саныча. — Тогда возьми мой!

Он стащил с себя тельный крест и протянул Валерке.

Тот без споров надел крест.

Было не до споров.

Было страшно...

— Зачем вы пришли? — крикнул Уран. — Что вам здесь нужно?

— Мы ищем пропавших людей, — сказал Альфа, делая шаг вперед и изо всех сил стараясь говорить спокойно.

Первый шок прошел. Ему не было по-настоящему страшно: слишком много видел в жизни, чтобы испугаться женщины и мальчишки. Но его раздражала эта таинственная муть, которая так и опутывала здесь все.

По-хорошему, надо бы их обоих повязать, но вряд ли это получится так просто, как хотелось бы. Мальчишка одним звуком своего голоса ураган вызывает, а женщина... это вообще какой-то электропровод без изоляции!

Свободной рукой Альфа слегка качнул вперед, сжал кулак. Этот сигнал означал — «будьте наготове». И вытянул указательный палец — «при необходимости стреляйте».

Может быть, придется. И не факт, что только по ногам, хотя тогда уж точно никто и ничего не поймет в этой истории!

— Вам уже сказали — они были не люди, — ответил Уран. — Это были убийцы. Убийцы жизни! В разное время они совершили тяжкие преступления против жизни на земле. Павел Привалов, Пашка...

Он осекся и почему-то глянул на убитого зайца, зеленым комочком лежащего в траве.

Альфа услышал, как позади прерывисто вздохнул Гамма.

— Нервы! — процедил Альфа сквозь зубы.

Стало тихо, но голос Урана снова прорезал тишину:

— Привалов при строительстве своего предприятия по изготовлению краски пожалел денег для установки аварийного оборудования. Произошла утечка огромного количества ядовитых красителей в реку. Река и ее берег были убиты. Васька, Василий Устюгов, — виновник огромного количества кислотных дождей, которые выпадали в том районе, где стоял его завод. Он сэкономил на очистных сооружениях. Смертельно заболели леса, земли, люди. Мария Серегина разрешила начать разработку сланцевой нефти и газа на Волге... Это означает взрыв дна реки, многочисленные раны и боль, ее медленная смерть. Деяния прочих почти так же страшны для природы и для жизни на нашей несчастной планете. К сожалению, превращаться в убийц они начали еще в юности. Ванюша, Иван Печкин, страдал неодолимой страстью калечить деревья. Он выходил ночью в городские парки и сады, где сначала уродовал стволы, вырезал на них гнусные надписи, обрубал или ломал ветки, а потом рубил сами деревья.

Голос Урана звучал сухо, так, как будто он зачитывал приговор в суде:

— За совершенные против природы и жизни преступления эти нелюди были наказаны. Их следовало бы уничтожить, как они уничтожали землю и воду, как уничтожали саму жизнь, но они приговорены к исправлению и осознанию своих гнусных поступков. Как только это произойдет, они вернутся.

— Значит, они живы? — насторожился Альфа. — Где они?

— Вы слепы, — высокомерно усмехнулся Уран. — Вы не увидите их, даже если они окажутся рядом с вами!

Это было последней каплей. Больше сдерживать свою ярость к этим безумцам Альфа не мог.

— Да кто вы такие, чтобы карать или миловать? — вскричал он. — А ну, руки вверх!

И он навел на Урана лазер.

Тот отшатнулся и крикнул:

— Мама!

Альфа, Бета и Гамма хором расхохотались.

— Спасовал мальчонка! Мамочку зовет! — хихикнул Сан Саныч и завозился, собираясь подняться и выйти на поляну.

Но Валерка вцепился в его руку и не давал встать, только смотрел испуганно.

Казалось, он чувствовал, что сейчас произойдет нечто ужасное!

Может быть, кому-то это было смешно, что взрослый парень зовет на помощь маму. Но не Валерке. Он вдруг вспомнил одну историю...

Весной на него в глухой арке между домами напали какие-то большие мальчишки — хотели отнять мобильник. Валерка возвращался с тренировки из бас-сейна и им дорогу подсвечивал, ведь было семь вечера, уже темно... ну вот и доподсвечивался.

У мальчишек были какие-то мертвые голоса, лиц он их не видел, но, наверное, они тоже были мертвые — как у упырей в ужастиках. И Валерка понял, что люди с такими голосами и лицами вполне могут убить его, если он не отдаст им мобильник. И он заорал тогда:

— Мама!

Мама должна была уже прийти домой, не могла она его услышать, Валерка просто от обиды, от злости заорал... но она вдруг откуда-то взялась. Как-то так вышло, что она на работе задержалась и как раз мимо шла.

И что тут случилось... На этих трех уродов налетела женщина-тайфун! Мальчишки вмиг были оторваны от Валерки и разлетелись из арки в разные стороны. Один врезался в дерево, другой воткнулся в стену, а третий шлепнулся навзничь, а потом приподнялся на локтях и принялся озираться, явно ничего не понимая.

— Еще раз увижу здесь — убью, — спокойно пообещала мама, опуская руку в сумочку и щелкая взводимым курком пистолета.

Мальчишек вмиг не стало в обозримых пределах, а победители ушли — размеренно и спокойно. Оба они молчали — причем довольно долго, только очень крепко держались за руки.

— Мам, откуда у тебя пистолет? — наконец шепотом спросил Валерка, когда они зашли в подъезд, и опасливо оглянулся — не слышит ли кто.

— А, это... — И мама снова щелкнула чем-то в сумке. *Это* оказалось защелкой ее большой косметички.

С тех пор Валерка точно знал, что мать всегда придет на помощь своему сыну. И горе тем, кто осмелится его обидеть!

Поэтому ему и в голову не пришло смеяться, когда Уран крикнул:

— Мама!

И после того как Альфа и остальные расхохотались, Уран крикнул еще раз:

— Мама! Зови туман!

Вера тряхнула головой так, что корона ее кос рассыпалась. Вскинула руки, и лицо ее вдруг исказилось, как будто она кричала во весь голос.

Она кричала, но никто этого крика не слышал...

— Рот закрой, муха залетит! — издевательски захохотал Альфа.

Но Вера открывала рот все шире, лицо исказилось еще сильнее, стало багровым, уродливым, зубы оскалились, на лбу вздулись вены. Чудилось, она надрывается от крика!

Ее трясло, как будто кто-то невидимый схватил ее за плечи и мотал туда-сюда. От этих движений даже косы ее расплелись, и пряди волос реяли вокруг лица, словно летучие змеи.

Валерка почувствовал, что вокруг шевелится земля. Бросилась врассыпную из-под травы какая-то насекомая мелкота, птицы взвились с деревьев, а деревья тащили из земли корни и всплескивали ветвями, словно под порывами ветра.

Но ветра не было, только откуда-то из леса поползли полосы белого тумана, похожие на прозрачные пряди чьих-то длинных волос.

Они шныряли по траве, пробирались к трем мужчинам в камуфляже, которые только что покатывались со смеху, но теперь с тревогой принялись оглядываться, потому что туман обвивался вокруг них, поднимаясь все выше и выше.

Они могли оглядываться, но, как ни старались, не могли поднять рук, словно туман связал их.

Вдруг Вера открыла глаза, округлым движением, словно обнимала пространство, указала на Альфу и проревела оглушительно:

— Этот!

И тут весь туман, сколько его было, отпрянул от земли, деревьев, от Беты и Гаммы, и набросился на Альфу.

Окутал его, как бы заслонил от всего мира непроницаемым коконом, потом отступил — но Альфы не было. Он исчез.

Только его зеленая камуфля мешком свалилась на траву.

Туман быстро, словно бы спеша, утянулся поближе к Вере, и трава, освобожденная от этой белой мглы, показалась какой-то особенно, радостно зеленой. И в ней непросто было различить маленького ушастого зеленого зайца, который прыдал длинными ушками и растерянно оглядывался вокруг.

Вера повернула голову к Гамме и начала таким же округлым движением воздевать руки. Рот ее приоткрылся, и Валерка понял, что сейчас она так же крикнет: «Этот!» И камуфля Гаммы мешком упадет в траву, и в траве останется...

Он не успел додумать — над ухом бабахнуло, и во лбу у Веры появилась темная круглая дырочка.

Вера медленно опустила ресницы, а потом тяжело рухнула на спину.

И в тот же миг стоявший чуть поодаль Уран покачнулся — и повалился навзничь, хватаясь за грудь. Как раз напротив сердца кипела рваная кровавая рана.

— Что за черт? — пробормотал Сан Саныч, поднимаясь с колен и заглядывая в ствол своего «макарова». — Я ж не стрелял! Я ж только в нее! Вы стреляли?! — обернулся он к Гамме и Бете, но у тех был совершенно обалделый, полуживой вид, и понятно было, что они вообще забыли о существовании какого бы то ни было оружия.

Валерка стоял на коленях, тряс головой — от выстрела звенело в ушах! — и оглядывался.

Невесть почему ему казалось, что весь остров сейчас набросится на них: и деревья начнут давить, и птицы — клевать, и земля потянет в свои недра, чтобы похоронить заживо... Однако остров словно бы оцепенел.

Валерка видел высунувшиеся из земли корни деревьев, и обвисшие ветви, и птиц, которые медленно опускались на землю на распростертых крыльях.

Мертвая тишина настала вокруг!

Кое-как он поднялся и побрел вслед за Сан Санычем, который осторожно приближался к Урану.

Вдруг Сан Саныч отпрянул, оглянулся на Валерку с потрясенным выражением и крикнул Гамме и Бете:

— Сюда! Ко мне!

Те неуклюже подбежали, словно отвыкли двигаться.

Подошел и Валерка.

Уран лежал на спине, бледный... как смерть, да, теперь Валерка понял смысл этого выражения, которое раньше казалось ему надуманным. Туман медленно затягивал лицо, и зеленые глаза словно бы выцветали, делаясь такими же серобелыми, какие были у матери.

Уран сжимал пальцами траву, словно дружескую руку и медленно водил взглядом по сторонам, хотя, кажется, ничего не видел. Но вот заметил Валерку, уставился на него — и чуть слышно прошептал:

— Мы не хотели зла... Бросьте их в воду!

После этих слов бледные губы его сомкнулись, и глаза закрылись, и легкая судорога прошла по груди, и пальцы разжались, выпустив поникшую траву.

— Смотрите... — прохрипел Сан Саныч.

Туман повил грудь Урана, словно забинтовал, и рана исчезла. А может быть, ее просто не стало видно в белой мгле, которая теперь закрывала тело Урана, словно саваном.

— Уходить надо отсюда! — сказал Сан Саныч. — Да поскорей.

— Вещдоки... — пробормотал Гамма, озираясь. — Забрать!

— Поехали, поехали! — закричал Сан Саныч, хватая Валерку за руку. — Вы где пристали?

Бета задумчиво осмотрелся, махнул рукой.

— Пошли! — Сан Саныч подгонял их чуть ли не пинками, но не забыл подобрать камуфлю Альфы.

Валерка оглянулся.

Зеленые зайцы собрались настороженной кучкой и смотрели вслед.

Валерка свистнул им, как щенятам, и они, как щенята, гурьбой ринулись за ним, вперед не забегали и жались к ногам.

Когда люди начали садиться в катер, зайцы беспокойно засуетились на берегу, словно просились с ними.

«Дед Мазай и зайцы», — вспомнил Валерка и, наверное, засмеялся бы, если бы мог. Но как-то не смеялось...

— Ты куда эту нечисть привел? — спросил с отвращением Сан Саныч. — По-хорошему, тут бы все пожечь! А лодку надо пристрелить, а то еще бросится в погоню, зараза!

Хоть слова эти звучали дико — лодку пристрелить! — Валерка его понял. Но он почему-то точно, совершенно точно знал, что теперь никто их преследовать не будет, что все страхи острова погибли вместе с Верой и Ураном. Было даже странно, что этого никто из взрослых не понимает, а ему это ясно как день.

Может, поэтому Уран дал свой последний совет именно ему?..

— Гони их в шею! — рявкнул Сан Саныч.

Но Валерка покачал головой и протянул руки к одному зайчонку. Тот доверчиво подбежал, подпрыгнул, устроился в Валеркиных ладонях — мягкий, пушистый, изумрудно-зеленый, чудесный, неземной и в то же время теплый и мягкий, словно плюшевая игрушка...

Валерка вошел по колени в воду и бросил в нее зайца.

Сан Саныч что-то крикнул хрипло, но тотчас осекся.

Заяц не бился, не пытался выплыть — он просто лежал на воде, которая мягко качала его, и какая-то шла от него зелень, словно шкурка его была крашенная, а теперь линяла. Зелень растекалась, потом начала растекаться его шерсть, потом мелькнуло белое тельце... и Валерка едва успел подставить ладони под крошечного голенького младенца.

Раздался визг — но кто из мужчин визжал, Валерка не знал, да и неважно это было.

Страшно, им было страшно, а ему — нет, он ведь уже понял, он все понял, что было с этими зайцами, что будет, и кого увидит на берегу — тоже понял...

Младенец бился в его руках, и Валерка чуть его не выронил, потому что он тяжелеет, рос... Пришлось положить его в воду на отмели.

Через несколько минут это был уже мальчик лет трех, и старше, и вот он уже ровесник Валерки, и юноша, и мужчина...

Альфа!

Очнувшиеся Гамма и Бета бросились к своему командиру, но тот смотрел еще сонно, почти бессмысленно...

— Ничего не помнит! — потрясенно сказал Гамма.

— Он вспомнит, — уверенно ответил Валерка. — Не сразу, но вспомнит.

И, выйдя на берег, протянул руки к другому зайцу. Тот послушно вскочил в его ладони.

Глупый такой, испуганный... ничего не понимающий, где добро, где зло...

Им жалко Веру и Урана? Или ненавидят их, как Маша?

Или жалеют, как Валерка?..

Эти мысли в голове не умещались, от них голова болела, и Валерка больше думать не стал, а просто опустил зеленого зайца в воду.

Сан Саныч медленно вытащил телефон. Руки у него так дрожали, что он чуть не выронил мобильник в реку.

— Здесь же нет связи, — сказал Бета, который тоже достал телефон, но тут же воскликнул изумленно: — Есть!

И они с Сан Санычем начали названивать: Бета — в Москву, докладывая о случившемся, а Сан Саныч — в Городишко, вызывая полицейский катер и катер «скорой помощи». Потом позвонил в район, эмчээсникам. Эти быстро соображают...

Спустя два или три часа к пристани в Городишке подошли четыре катера. В трюме одного из них в пластиковом пакете лежало тело Веры.

Труп Урана исчез, словно туман его унес. Гамма пробормотал что-то про озеро, полное тумана, которое лежало в глубине острова. Группа сотрудников МЧС отправилась туда, а остальные перевозили спасенных людей.

Все они были полуголые: закутаны только в одеяла, которые доставили на катере МЧС. Одевать их было бесполезно, потому что они постоянно росли, и, отчалив от острова детьми, выходили на пристани уже юношами.

Никто ничего не помнил. Вообще ничего!

На берегу стояла полевая кухня, спасенных кормили, потому что вид у них был истощенный. Куриный суп, и кашу, и хлеб они сначала осторожно нюхали, будто что-то невиданное, а потом ели с большим любопытством, переглядывались и хихикали.

Психологи пока стояли кучкой и не знали, к кому подходить первому и вообще подходить ли.

Толпа на берегу собралась невообразимая! Наверное, все население Городишки высыпало!

Откуда ни возьмись, примчалась машина с телеоператорами, которые устремились было к выходящим из лодок, как коршуны, но Бета, уже очухавшийся и принявший командование на себя, запретил любую съемку.

Превращения, которые происходили с телами спасенных, непрерывно фиксировали два оператора в форме МЧС, а досужей публике — Бета так и сказал, — делать тут было совершенно нечего.

Сан Саныч увидел бабу Катю и попросил ее увести Валерку домой. Но тот покачал головой, и Сан Саныч не настаивал. Понимал, что спорить бесполезно. Да и бабе Кате было очень интересно еще немного здесь побыть.

А Валерка на превращения бывших зеленых зайцев уже нагляделся, поэтому на них не смотрел. Он снова и снова обшаривал собравшихся взглядом, но не находил того, кого искал.

Вернее, ту.

Ну что ж, очень может быть, она уже уехала. Что ей теперь тут делать!

Но потом, бросив случайный взгляд в сторону дебаркадера, Валерка увидел там высокую фигуру в знакомом сером плаще.

И пошел туда.

— Я тебя ждала, — сказала Ганка...

Нет, это была уже не Ганка и даже не Маша, а именно Мария Кирилловна Серегина, замминистра экологии. Она сидела на коряжине, плотно завернувшись в плащ, который был для нее уже не слишком широкий и вовсе не длинный.

Она была совсем другая... уже очень взрослая, и видно было, что у нее есть дети и внуки, и позади трудная и долгая жизнь. И только глаза у нее остались совершенно такими же, как у той девчонки, которая подошла к Валерке на берегу.

Черные глаза в кукольных ресницах.

По этим глазам Валерка и узнал ее, когда заглянул в голубую папку Сан Саныча. Там было много фотографий Марии Кирилловны Серegiной с глазами Маши, нет, Ганки...

Именно тогда Валерка все понял. Было только странно, что Альфа, Бета и Гамма не узнали эти глаза, когда Ганка провожала их через туман. Хотя разве они смотрели на нее так, как смотрел Валерка?

— Спасибо тебе, — сказала Мария Кирилловна, а Валерка наконец расклеил спекшиеся губы и пробурчал:

— Не за что.

— Они... погибли? — спросила Мария Кирилловна, и Валерка сразу догадался, о ком она спрашивает.

— Да.

Она молча смотрела в его глаза Ганкиными глазами, и тогда, почти против воли, он рассказал — не ей, а Ганке! — о том, что случилось на острове, что произошло с Ураном и Верой, а потом с зелеными зайцами.

Когда он замолчал, Ганка минуту смотрела молча, с ужасом, а потом опустила ресницы и голосом Марии Кирилловны сказала:

— Я должна ненавидеть их, а мне их жалко. Они хотели исправить, исправить то, что делали мы, исправить нашу жестокость... но оказались так же жестоки. Может быть, все ошибки можно исправить только добротой?

Валерка пожал плечами. Откуда он знал?!

— Я тоже не знаю, — сказала Марья Кирилловна.

Помолчали.

— Я пойду, — сказала она наконец, поднимаясь и старательно придерживая полы плаща. — Пора возвращаться.

Валерка кивнул.

— Знаешь что... — проговорила Мария Кирилловна нерешительно. — Я запишу Сан Санычу свой адрес. Ты должен обязательно приехать к нам — в Москву. У нас прекрасный дом, огромный сад. Мои внуки — твои ровесники, ты с ними подружишься. Мою внучку — мы с ней очень похожи! — зовут Галя, но мой муж всегда называл ее Ганкой...

Тут в глазах у Валерки все расплылось, он никак не мог понять, почему, а когда дошло, что это слезы, Серегина уже ушла.

Теперь и он мог пойти домой.

Солнце клонилось к закату, но Валерка не знал, сколько вообще времени. Посмотрел на запястье — а часов-то нет. Они так и остались у Серegiной.

Да ладно, наверное, Сан Санычу передаст. Зачем они ей?

И Валерка наконец пошел — сначала мимо придорожного кафе, на пороге которого топталась «подушка» Фаня в своей пестрой «наволочке»; потом по обочине федеральной трассы, на которой опять была пробка, поскольку все водители при- тормаживали посмотреть, что ж за толпа на берегу собралась; а потом и улицами Городишка — под аккуратно подстриженными тополями.

Урана на острове так и не нашли, и никакого туманного озера — тоже. Все исчезло, когда исчезли эти мать и сын!

Туманы стали в Городишке теперь не такие густые. В них теперь достаточно хорошо видно, так, что даже по федеральной трассе можно медленно ехать, по-

этому пробки у Городишка больше не собираются. Но на реку все равно никто не выходит. Старое правило: «Уйдешь в туман — не воротишься!» — еще живо.

Деревья в Городишке больше никто не подстригает.

Очень многие спасенные с острова обратились к психиатрам. Среди них Альфа.

Мария Кирилловна Серегина теперь активно выступает против добычи сланцевого газа на Волге.

Адрес свой она Сан Санычу оставила, но Валеркины часы не вернула. Забрала себе. Взамен ему пришла из Москвы посылка с «Ролексом».

Самым настоящим!

Мама носить «Ролекс» пока не велела, да Валерке и неохота его носить. Там выгравирована надпись: *От Ганки*. Поди объясни в классе, что это значит!

Маме, правда, он все рассказал — *все*, как было.

Выслушав, она отвернулась и насморочным голосом сказала, что Валерка обязательно должен съездить в Москву.

Ну что, может, он когда-нибудь и соберется.





Александр КУЛИКОВ

Рэндзю на тему стихов Роберта Блая

Поэма

I

В субботу к Роберту Блаю приехали гости,
на ферму, что в округе Биг-Стоун, штат Миннесота:
профессор Уилсон, историк и политолог,
а в юности хиппи, боровшийся против войны во Вьетнаме,
жена его (кажется, третья по счету), Ванесса,
моложе его лет на сорок, спортсменка и феминистка,
она по отцу, говорят, санти-сиу, по матери шведка,
поэтому ей говорит, улыбаясь, хозяин: «Gomoggon!»,
как будто настойкой календулы горло полощет.

II

Вчера целый день со своим ремингтоном охотился он на фазанов.
Изрядно продрог, а под вечер и ног под собою не чуял.
Присел отдохнуть в чистом поле под ивой,
единственным деревом где-то на семь, восемь акров сухой кукурузы.
Сидел, слушал, как кукурузные стебли
шуршат. И глядел, как холодное солнце,
легко прожигая промерзшего космоса дали,
в ветвях застревает и вяло, теряя последние силы,
скользит по древесной коре, словно пальцы по коже.

III

«Вернулся ни с чем. Кроме насморка», — Роберт
гостям говорит, усмехаясь. А гости еще подъезжают.
Приехали Майкл и Агнесса, которые в шутку
себя называют упрямою парой крестьянских лошадок,
что тянут и тянут повозку. Приехала дочь их, Агата,

похожая на молодую Джейн Фонду из «Барбареллы»,
с собой привезла две бутылки «Бурбона»
и внуков Агнессы и Майкла — Шарлиз и Гомера,
за лето подросших, как и положено детям.

IV

За час до обеда приехала Мэри, а с ней Алессандро, конечно.
«Рут! Папа!» — «Ах, Мэри!» — «Ну, как вы?» — «А вы? Как Тоскана?» —
«Как сон на рассвете. Вот-вот и — проснешься.
Тем более что повторял Алессандро все время:
«За мною иди». Как Вергилий. Хотя подходило здесь больше:
«За мной поезжай». Мы ведь брали велосипеды.
На них и доехали как-то до самой Флоренции. Это
«Брунелло ди Монтальчино» мы там и купили.
По правилам если, открыть его нужно сейчас, а пить через сутки».

V

Открыли. Бутылку поставили в кухне на полку до завтра.
А сами в столовой расположились компанией дружной.
Вкус стейка на гриле со вкусом «Бурбона» из бочки дубовой,
внутри обожженной, соединился. Глядела сквозь окна
на пиршество осень, одетая ярко и броско в шифон разноцветный.
Беседа текла. Об Ираке заговорили. Волнуясь,
Уилсон спросил: «Почему мы молчим? Почему не возвысим свой голос?
Иль время великих глашатаев — Пабло Неруды, Ахматовой, Торо
и Дугласа Фредерика — ушло, как и совесть?»

VI

«Молчим, как воробушки в кустиках! Надо кричать! Вон как дети
кричат, когда чувствуют голод, иль жажду, иль несправедливость».
За окнами ветер поднявшийся кроны кленовые взвил, будто пламя
над крышами в Аль-Джавадейне. Во двор улизнувший
Гомер, сын Агаты, нашел развлечение такое:
на досках, прикрывших осеннюю лужу, качался,
подобно матросу на палубе ноги пошире расставив.
Вверх — вниз, влево — вправо, и будто валы — кроны сосен,
и листья ольховые стайками наискосок вдоль пригорка...

VII

Назавтра весь день провели на реке Миннесоте, рыбача, смеясь и болтая.
Сначала поехали Роберт и Алессандро, чтоб все подготовить:
палатку поставить, шезлонги и столик. Костер развели — было сыро.
Гусиными крыльями ночь опадала. Кусты проступали сквозь сумрак.

Кричали пронзительно сойки. «Вот крики, которые будят меня на рассвете, — сказал Роберт Блай. — Эти сойки, они будто первыми все называют. «Вот это пусть будет енот какомицли», — кричат. —

«Какомицли! Енот какомицли!» — крик сверху раздался пронзительно, как откровенье. Совсем рассвело. Миннесота молочно текла, облака отражая.

VIII

Курчавые, как вавилонские боги, они над землею парили, над лесом, где красные сосны стояли, как будто полки ассирийцев у стен Вавилона. «И все-таки как эти парни похожи на саранчу!» — произнес Алессандро, в «Стар трибьюн» загубником черной бриаровой трубочки тыча. «А знаете, друг мой, когда одиночка-кобылка, живущая тихой растительной жизнью, становится стадной и агрессивной саранчой? — спросил зять Роберт. — Когда ей жратвы не хватает. Тогда-то одни начинают сородичей жрать, а другие от хищных сородичей бегством спастись, и тоже становятся саранчой, прожорливой тварью, восьмой египетской казнью, посланцами пятого Ангела смерти».

IX

«Смерть — высшая степень свободы, штампованной траками танков», — сказал Алессандро, датч-микстом своим затянувшись. Дымок ароматный, как белая бабочка, с трубочной чаши вспорхнул и растаял. И тут остальные подъехали. Их голоса раздавались и смех. Взяли удочки, стали рыбачить, и первого карпа, добытого с боем, запечатлев полароидом, тут же и отпустили. Агнесса и Рут на спиртовке омлет приготовили с сыром и спаржей, наделали сэндвичей. Кто-то поставил кассету. И тихо поплыл над рекою прелюд из «Орфея и Эвридики»...

X

Вернулись, когда уже солнце зашло за верхушки деревьев и отблеск багровый как будто из-под земли пробивался наружу. Пока возвращались, все только и говорили о выходке странной Гомера, который, когда все грузились в машины, вдруг взял и пошел по тропинке в лесную чащобу. Ему вслед кричали. И мать, и сестра его звали отчаянно. Мать: «Ну, куда ты, несносный мальчишка?! А ну-ка, негодник, вернись!» А сестра: «Эй, Гомер! Ты оглох или крыша отъехала на фиг?» Но он даже не обернулся. Как будто и вправду оглох или стал невменяем. Его, словно куль с кукурузой, обратно принес Майкл, дед, положив у пикапа.

XI

И, вспомнив об этом, Блай вспомнил стихи о тропинках, которые в желтом осеннем лесу расходились.

И он вдруг подумал о возвращенье в исходную точку, —
что это возможно. Подумал о новых дорогах,
далеких портах и о новой, еще не изведанной жизни.
Он в спальню зашел в это время, чтоб переодеться,
застав лунный свет, заполняющий комнату млечно.
Снаружи на ветках лежал он, как звон колокольный, торжествен,
чист, будто вода подо льдом, и звенящ, будто лед у закраин.

XII

И Роберт ступил в лунный свет, будто в реку, и рыбою пахла
одежда, им снятая. И показалось ему на мгновение,
когда надевал он другую, что в зеркале кто-то другой отразился.
И комната стала какой-то другою, и шкаф, и диван, и плетеное кресло,
уже пережившее метаморфозу в судьбе тростниковой,
и книга раскрытая, прежде шуршавшая в роще листьями своими,
и лестниц ступени, скрипевшие там же когда-то, и где-то на кухне
вино из Тосканы, которое ждало рассвета, как приговоренный
к распятью, и хлеб деревенский для тостов. Все было другим в лунном свете.

XIII

Он глянул в окно и увидел, что были другими
и двор, и ограда, и сад, и сторожка, где прятали грабли,
которыми листья сгребали, и лес вдалеке, и дорога.
Все было другим в лунном свете. Возвышенным, ясным,
как соль бытия. Он глядел и глядел на дорогу,
луною облитую, плавно текущую, как Миннесота.
Она уводила не в царство гадюк и не в город барсучий,
чьи киники бродят ночами по луковым грядам.
Он ясно представил, куда уводила дорога.

XIV

Туда, где качаются волнами стебли сухой кукурузы.
Туда, где стоит одинокое странное дерево — ива,
верхушкой касаясь небес, а корнями — дна Ахерона.
Вокруг него листья коричнево-желтые в черных прожилках,
как будто на древнем пергаменте буквы из серебра почернели.
Один за другим обрываются листья под шорох печальный
сухой кукурузы. Закатное солнце багрово. Воскресная ночь наступает.
Кого восходящие звезды сегодня застанут? Какого Авраама?
Костер еще тлеет, но некому палкой золу ворошить до рассвета.

XV

Он вышел из дома — во двор — в темноту. Под ногами
какая-то мелочь в траве прошуршала. Деревья

вдыхали. Крутились костлявые лопасти мельницы. И облака дождевые, несясь к Ортонвиллу, полнеба уже заслонили. Был воздух прохладен, как после дождя. Блай подумал, что, кроме него, в этот час никого, кто бы бодрствовал, нет. За стеною затихшего дома мужчины и женщины спали, которых любил он. Их лица он ясно представил. Луной освещенные, были они в этот миг будто слепками снов, то веселых, то грустных.

XVI

Рут, Мэри, Агнесса, Майкл, Франклин Уилсон, Агата, Шарлиз, ее дочь, Алессандро, Гомер, странный отрок, Ванесса... Пошел редкий снег. Поначалу похожий на те, что собой вечера украшают, торжественно наземь спадая, как мантии складки; потом все быстрее порывами ветра гонимый — волна за волною. И вот уже, как саранча, облепил он деревья в саду, и траву возле дома, и стебли сухой кукурузы, шуршащие в поле. В лицо он впивался, за брови цепляясь и в шарф запуская буравчики-лапки. А следом еще подлетали, и шелканье крылышек тонких звучало повсюду.

XVII

И вот уже, как саранча, облепил он пространство, и землю, и небо, и лес, между ними парящий, и ветер, и тьму, что от страха забила в вигвамы бухлоз, бизоньей травы. В нарастающей буре один лишь амбар с кукурузой, как Ноев ковчег, на плаву оставался: чем гуще валило, тем тверже держался он курса, — туда, где качаются волнами стебли сухой кукурузы; туда, где стоит одинокое странное дерево — ива, верхушкой касаясь небес, а корнями — дна Ахерона.

XVIII

Идти по дороге. Пока еще листья последние не облетели, коричнево-желтые листья в черных прожилках (как будто на древнем пергаменте буквы из серебра почернели). Идти по дороге навстречу бурану, не пряча от снега лица. По дороге идти, как в пустыне Предтеча, акриды глотая. Кричать: «Эй, Гомер! Вот енот какомицли!» Как сойки кричат на рассвете. Как дети кричат, когда чувствуют голод, иль жажду, иль несправедливость. Пока еще тлеет костер, в чью золу попадая, снежинки становятся слезами боли, печали и скорби...





Виталий МАКСИМЕНКО

ДАЖЕ ЕСЛИ НА ЭТО УЙДЕТ ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ

Рассказ

*Да был ли мальчик-то?**Может, мальчика-то и не было?**М. Горький «Жизнь Клима Самгина»*

Легкий шорох шин, урчание мотора, плавное, усыпляющее покачивание. Из динамиков льется тихая, печальная мелодия. Слова разбираю с трудом, но музыка мне нравится, и я прислушиваюсь: «Наша вера безнаджна и темна, а участь наша незавидна. И все равно есть место волшебству — я вернусь...»*. Закрываю глаза, через минуту открываю. Деревья летят мимо широкой пестро-зеленой полосой. А над их темным размытым краем висят...

Сажу на крыльце деревенского дома, подо мной холодные и твердые доски. Пальцы теребят раздавленные теткинны шлепанцы, колено стучается о влажный бок бидона с водой. Где-то смеются дети, во дворе гремит цепью собака, вдалеке гудят машины. Может, и наша там — тоже гудит. Я уже не плачу, только всхлипываю иногда и судорожно вздыхаю. Они приедут. Обещали приехать. Обещали.

...молочно-белые, вспученные облака. Песня закончилась. Следующая слишком быстрая, непонятная, ее заглушают голоса. Родные, прекрасные, лучшие на свете. Но сейчас они беспокойны, раздражены, они спорят о чем-то. Голоса не дают окончательно уснуть; тревожные, царапающие нотки выводят меня из дремоты. Тревога заполняет салон машины. Опасность. Страх. Темнота.

Смотришь из темноты, смотришь молча, неотрывно. Будто обвиняешь. Будто я ошибся где-то. Но я не совершаю ошибок. Даже если совершу, сам исправлю. Не смотри так!

Вновь открываю глаза. Прозрачный, ветреный день. Вокруг простор, светлый и прохладный. Огромное облачное небо, насквозь прошитое веером солнечных лучей, летит, кренясь, к горизонту. А навстречу мне летят деревья, кусты и пыльная дорога, и смешные редкие домики вдоль нее. И я в шортах, в сандалиях тоже лечу, мчусь со всех ног. На ходу размазываю слезы по щекам. Я боюсь опоздать. Но вот и тетин дом, тетя стоит у калитки, огромная шляпа-панамы скрывает лицо в тени. Тетя что-то говорит мне, но я не слышу, бегу дальше — к машине. Та уже заведена: глухо рокочет и нетерпеливо выбрасывает облачка сладковатого газа.

* Песня Вадима Демидова «Даже если на это уйдет вся моя жизнь».

Уже готова забрать родителей, увезти их! Сильные руки подхватывают меня под мышки, отрывают от земли, несут куда-то вверх. Колется отцовская щетина. Вот я снова на заросшей лопухом и подорожником обочине. Лицо мамы близко, она улыбается, но в уголках глаз слезы, я вижу. Утыкаюсь носом в полу ее плаща, вдыхаю запах, словно хочу запомнить его, хочу надышаться им на всю оставшуюся жизнь. Хлопают дверцы, машина угрожающе рычит, помигивая красными огоньками. Покачиваясь и виляя, выруливает на дорогу. Вот и все. Меня оставили здесь одного, на этом пустом и холодном просторе. Оставили и не вернулись. Никогда.

Закрываю глаза и открываю вновь. Белесое небо — бескрайнее и плоское. Оно все ближе, до него можно достать рукой. Приближаясь, небо не растет, а уменьшается, сжимается, приобретает прямоугольную форму. Надо мной висит чистый лист, лишь по краям белизна нарушена тонкими жилками трещин и налетом пыли. С трудом поворачиваю голову — сонное тело плохо слушается. Справа — зашторенное окно, слева — дверь, прямо — письменный стол. Со стола глядит угловатым черным оком открытый ноутбук. У двери — большое настенное зеркало прячет в студеной глубине старые тени. Моя комната. Все на месте. Или?.. Вот именно — или. Каждый раз такое чувство, будто чего-то не хватает. Кажется, что-то вынули, унесли из окружающего мира. Так и есть.

Сажусь на край дивана, потираю лоб — в зеркале, за струями зеленоватого стекла, тоже происходит неясное движение. Интересно, о чем же я забыл на этот раз? А впрочем, не важно. Позже вспомню. Раз стерлось из памяти, то, значит, все получилось. Значит, стерлось из жизни.

Память. Фактически это и есть мы. Теряя память, мы теряем себя. Да, да, конечно. Но только ли себя? Случай, воспоминание о котором утрачено, — он был или нет? Когда осталось только смутное чувство сродни дежавю; когда в голове лишь неясный намек на происшествие, то можем ли мы быть уверены, что происшествие действительно имело место? А вдруг ничего и не было? Просто обрывок сна, промельк непойманной мысли, мимолетная тень на лице и все. Пустота.

Ты ведь знаешь — кто я? Ты так смотришь, что иногда кажется... но нет, нет. Невозможно. Позволь, все же представлюсь, так будет удобнее. Я — мастер пустоты. Иными словами, тот, кто умеет забывать. Забывать по-настоящему. Я стираю лишние, неверные штрихи с листа жизни. Убираю посторонние линии. Вот только, что остается на их месте...

Наверное, это тяжело — так неотрывно, с неослабевающим вниманием, смотреть. Давай-ка я расскажу несколько историй. Надеюсь, они немного развлекут тебя. Можешь ничего не говорить. Впрочем, ты никогда ничего не говоришь. Только молча смотришь. Ну, теперь еще и послушай. Итак, история первая.

Та записка, в шестом классе. Я дал ее Марине — девочке, с которой сидел за одной партой. Когда она решала задачки по математике, то всегда жевала прядку темных непослушных волос. Руки ее были вечно исцарапаны когитами; помню, я провел пальцем по одной такой длинной царапине на тыльной стороне ее ладони. Легко-легко, едва касаясь вишневой полосы влажной подушечкой. Соседка посмотрела на меня как-то странно, сквозь ресницы, и спокойно сказала, чтоб я больше так не делал — царапина ужасно болючая. Тогда я и подкинул записку, в которой, как честный мужчина, предлагал дружбу. Марина записку прочла, спрятала в портфель и закусила самую длинную и изжеванную прядку. После большой перемены все девчонки в классе хихикали, поглядывая на меня. На уроке я получил пять записок — в них мои одноклассники просили, чтоб я предложил дружбу и им. Марина делала вид, что она тут ни при чем. Уши мои горели, я с трудом дождался конца уроков. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы история с предложением дружбы была только фантазией. Дурацким сном. Ничем.

Когда пришел домой, то завалился на диван, усталился в потолок и стал шептать: «не было, ничего не было». Но бумажка с моими каракулями настойчиво маячила перед внутренним взором. Тогда я, наоборот, стал вспоминать, как писал, подправляя скачущие буквы, прислушиваясь к колотящемуся, словно у пойманной зверушки, сердцу. Потом представил, что стираю послание волшебным суперластиком — сначала текст, а затем и саму бумажку. Мне это ужасно понравилось — почему-то воображать процесс стирания оказалось очень приятно. Я так увлекся, что не заметил, как уснул. А проснувшись, не мог вспомнить, что же так выбило меня из колеи. Двоек вроде бы не получал, от старшеклассников тоже никаких неприятностей не припомнилось. Но что-то грызло меня, не давало покоя. И я вспомнил записку. Нет, слово «вспомнил» здесь не подходит. Так, припомнил что-то. Как будто дело это произошло не сегодня, а год назад.

Тебе интересно? Молчишь. Смотришь. Мне почему-то хочется все выболтать, выложить, растрепать. Слушай, слушай дальше.

О записке, повторюсь, я помнил очень смутно. Вроде бы после того как познакомился с царапиной на руке Марины, я и хотел написать. Но не решился. Сидел смирно, выполнял задания, отвечал на вопросы учителя.

И в то же время я не мог отделаться от чувства, что записка все-таки существовала.

На следующий день я вошел в класс с некоторым волнением, сам не очень понимая из-за чего должен волноваться. Но все было как обычно. Никто не проявлял к моей персоне повышенного внимания. Марина тоже ни словом, ни взглядом не показала, что помнит о послании. Я не вытерпел и спросил ее сам. Спросил, конечно, осторожно, мол, что было в записке, которую она вчера получила. Моя соседка нахмурилась, потом пожала плечами и сказала, что никаких записок не получала. Конечно, Марина могла хитрить, играя со мной в свои девчоночьи игры. Но вела она себя так, словно бы и вправду вопрос огорошил ее. В общем, я решил тогда, что записка мне приснилась. Хотя чувство, что писал ее, усиливалось. Картинка в голове складывалась более полная, более четкая. В итоге я вспомнил все обстоятельства этого загадочного дела и запутался совсем. Если я ее писал, то почему все так быстро забыли об этом, если не писал, то откуда у меня такие ясные, подробные воспоминания? Тогда вопрос остался без ответа.

Да, забыл сказать: когда я с упоением стер воображаемую записку из памяти и счастливый уснул, то увидел очень странный двойной сон. Я одновременно дремал на заднем сиденье машины и плакал на крыльце тетиного дома. Потом мои родители уезжали, а я оставался с тетей. Эта история, с родителями, очень грустная, я оставляю ее напоследок. А сейчас история номер два.

Когда началась моя учеба в университете, тетка пообещала, что если окончу первый курс без троек, то поеду вместе с ней в тур по Европе. Ни она, ни я за границей еще не были, но очень хотели побывать. Однако если тетка такую возможность себе обеспечила, то я еще должен был доказать свое право на прогулку в тени Эйфелевой башни. Первую сессию я не заметил. Когда экзамены закончились, обнаружил, не без удивления, что в зачетке стоят только требуемые «хор» и «отл». Ко второй сессии я подошел в более сознательном состоянии. Усердно готовился, посещал консультации и все отчетливее понимал, что не тяну, не успеваю, не справляюсь. Я стал нервным и мнительным. Мне казалось, что преподаватели ко мне придираются больше, чем к другим студентам. Началась летняя сессия. На экзамены я приходил невыспавшимся и оттого невнимательным. Путал даты и страны на истории, формы глаголов на английском, но правдами и неправдами вымучивал заветные четверочки.

Последней в расписании стояла информатика. К ней я был готов лучше, чем к другим предметам и мог чувствовать себя относительно спокойно. Однако нас напугали, что испытание будет не по традиционным билетам, а в форме компьютерного теста. Перед экзаменом я всю ночь корпел над шпаргалками и пришел в учебный кабинет с разбухшими карманами и темными кругами под глазами. Я почти не видел вопросов на экране монитора; чувствовал, что разбит, что нездоров, но упрямо шуршал бумажками, выискивая нужные ответы. Доцент Леонтьев, наш преподаватель, стал подозрительно часто останавливаться у меня за спиной. Предупредил, если еще полезу под стол, он меня выгонит. А потом у меня из брючного кармана выпал целый ворох бумажек. Однорукники похмыкали, повздыхали, кто сочувственно, кто злорадно, и вновь уткнулись в мониторы. Леонтьев недрогнувшей рукой вывел в зачетке размашистый «неуд» и указал на дверь. Мечта о Европе растаяла с равнодушной жестокостью пустынного миража.

Дома, лежа на диване, глядя в потолок, я ожесточенно стирал гневную подпись преподавателя информатики, стирал, бумажка за бумажкой, свои шпаргалки, рассыпавшиеся по полу компьютерного класса, стирал саму память о двойке.

И опять был сон из детства, а когда я проснулся, то обнаружил в зачетке напротив соответствующей графы пробел, то есть пустое место. Да-да. Кажется, еще в самом начале тестирования я почувствовал себя не очень хорошо. Подозвал преподавателя, тот, скользнув взглядом по моему бледному, полуобморочному лицу, пробормотал: «Придете с другой группой» и отпустил на все четыре стороны. Я выбрал сторону, в которой находился мой диван, благополучно добрался до него и вот уже полдня пребываю с ним в полной гармонии.

Но смутно чувствовался какой-то подвох, мерещились некие белые прямоугольнички, легко выпорхнувшие из рук и улегшиеся с тихим шелестом на пол. Постепенно всплывали все новые детали, и к вечеру я был уверен, что схлопотал двояк. Однако все шпаргалки остались при мне. А ведь я помнил (помнил!), что, по крайней мере, половина их предстала пред ясны очи Леонтьева. Он, брезгливо скривив губу, потребовал убрать мусор. И убрать не в сумку, а в мусорную корзину. Что я и сделал.

А может, преподаватель поставил «неуд» в ведомость, а в зачетку забыл? А я, по странному выверту памяти и воображения, решил, что помню, как он делал запись в зачетной книжке? Странно. Странно! Я вновь впал в тревожное состояние. Но на следующий день в деканате подтвердили: все правильно, ведомость по информатике, такой-то — «не явился на экзамен». И вот тогда я задумался. Что же это такое — память? Что я помню по-настоящему, а что придумал? Всплыла записка из шестого класса. Тогда-то и вкралась шальная, совершенно несерьезная еще мысль — а вдруг я особенный, вдруг умею изменять свое прошлое?

Через три дня я пришел с параллельной группой, сел рядышком с тихим очкастым ботаником и во всем следовал его торопливым советам. Сдал тест на твердую четверку. Через месяц мы с тетей любовались стриженной зеленью Версаля.

Та первая поездка за границу подсказала единственное сколько-нибудь логичное объяснение загадочным метаморфозам, происходящим с моим прошлым. Если б я любил фантастику, то, вероятно, скорее бы приблизился к возможной отгадке. Но, поскольку фантастикой мало интересовался, именно парижские улочки, такие будничные и невозможные, натолкнули меня на мысль о параллельных мирах. Она, конечно, не сразу укоренилась в сознании, но в итоге, после ряда удачных опытов по забыванию самых разных вещей, я остановился на этой идее. Если реальность не одна, если их множество, то вдруг границы между соседними не очень плотные? Вдруг я — тот человек, который способен преодолеть преграды? Способен проникнуть через невидимую стенку и попасть в соседнюю

комнату, которая почти во всем подобна моей собственной и лишь чуточку от нее отличается. Эта «чуточка» и есть забытая мной деталь исходной реальности. Идея, прямо скажем, не самая солидная, но уж лучше придерживаться ее, чем считать себя законченным шизофреником. Хотя вполне может быть, что одно от другого не слишком отличается.

Да, я обещал рассказать о родителях. Хотя... что тут рассказывать. Мне было пять лет, я рос болезненным ребенком. И меня отвезли на лето в деревню, к сестре матери. Я никак не хотел отпускать родителей, рыдал и просил, чтоб меня взяли с собой, в город. Но они меня, естественно, с собой не взяли. Помню, сидел на крылечке, вытирая слезы, и смотрел на громады облаков, наползавших на небо. Родители попали в аварию недалеко от деревни, лишь выехав на автостраду. Умерли сразу. Воспитала меня тетка. Она переехала в город, поселилась в нашей квартире и потратила свои лучшие годы (она часто так говорила) на меня. Когда я выучился, тетя вернулась в свой дом, в деревню. Изредка она заезжает, иногда звонит. Я никогда больше не был в ее деревенском доме. О том, что тетя полтора десятка лет жила со мной, заменяя мне и мать, и отца, напоминает теперь только старинное зеркало на стене. Зеркало она привезла с собой, а вот обратно забирать не стала. Как-то раз тетя сказала, что в нем остались отражения моих родителей.

Вот и вся история. Не думаю, что она тебе понравилась. А если ты ее знаешь... В любом случае прости, мне необходимо было ее рассказать.

Странный сон о машине-крыльце повторялся всякий раз, когда я пользовался открывшейся способностью. Я научился стирать кусочки бытия, которые мне не нравились; все смелее и искуснее подчищал историю жизни. А ты все чаще обнаруживал себя. Я знал о твоём присутствии по холодку на затылке. Этот взгляд преследовал меня в путешествиях по прошлому. Преследовал все настойчивей, становясь тяжелее и пристальнее, наливаясь холодной молчаливой силой. Да кто ты?! выступи из хаоса бликов и теней, выскользни из замусоленной колоды памяти!

Наконец-то в голове прояснилось. Память возвращается, очень хорошо. Ероша волосы, прошелся по комнате, вновь уселся на диван. Так, значит, Пал Палыч. Старый лис. Мясистое красное лицо, темный алкоголический нос в синих прожилках, простодушно-хитроватый взгляд чуть прищуренных глаз. Голос с уютной хрипотцой, шумное дыхание астматика. Я давно подозревал своего старшего компаньона в махинациях, но чтоб так нагло и бесстыдно хапать! Оказывается, он временно выводил мои активы из игры, прокручивая их через надежных людей в банке. Но это только цветочки. Пал Палыч беззастенчиво пользовался общими прибылями, чтобы покрывать убытки в своих неудачных проектах. Переводил, якобы от нас обоих, мои деньги на счета подставных фирм, а потом выполнял липовые работы по договорам с этими фирмами. Но... если б только это, если б только...

Я б забыл кое-что нужное и кое-что ненужное, и все мои финансы вернулись бы. Что-что, а забывать я научился качественно. И вообще, свои люди, — как говорится, — сочтемся.

Сегодня утром я обнаружил в кабинете компаньона первую редакцию устава нашей компании. Там в качестве соучредителей двое: Пал Палыч и мой отец.

А еще в сейфе нашелся пожелтевший от времени, подробный план какой-то местности.

Я сидел в кресле Пал Палыча, сыпал пепел на красное дерево его стола и изучал план. Головинское... так называется деревня, где живет тетка. Вот от-

ворот с шоссе на проселочную дорогу, ведущую к деревне. Помню, помню пестро-зеленую полосу за окном и неподвижные облака. А вот второй выезд, обведенный бледно-красной ниточкой выцветших чернил. Это выезд на другое шоссе, проходящее южнее Головинского. А почти сразу за отворотом — мост, и у моста — крестик, теми же чернилами. Что бы это значило? Кто делал пометки и зачем? Если карта лежит в сейфе Пал Палыча, то не значит ли... А куда, собственно, ведет эта дорога? Я полез в интернет, шоссе номер такой-то, оно вообще мимо города. Километрах в сорока от Головинского по этому южному шоссе, находится Елизарово, а там база отдыха нашей компании. Де-юре — собственность фирмы, а де-факто — вотчина Пал Палыча. И тогда, двадцать с лишним лет назад, если не ошибаюсь, уже была его вотчиной. То есть отца вполне мог пригласить к себе друг-компаньон. Провести время на лоне природы. Но отец доехал только до моста, а что конкретно произошло там — на мосту — вопрос. Честно говоря, никогда не интересовался. Почти уверен — ни свидетелей, ни других потерпевших там не было.

Я курил, ронял пепел на стол и складывал пазлы в картинку. Почему он не уничтожил эти старые бумажки? Ведь бомба же! Хотя, что по этим желтым листам можно доказать? Смешно. Но зачем он их сохранил? Зачем взял меня в свою (после смерти отца) фирму, дал неплохие бонусы, а потом сделал компаньоном? Может, таким неожиданным боком повернулось чувство вины Пал Палыча? Может быть. Не знаю, не знаю.

Но, кажется, теперь я знаю, что же хотел сегодня стереть. А вернее, кого. Неужели?.. Кровь прилила к лицу. Нет, не может быть! Я уничтожил Пал Палыча? Исключил из списка живых и вообще когда-либо живших на Земле? Но ведь человек — это не отметка в зачетной книжке. Сколько людей: родственников, друзей, сотрудников теперь резко изменили свою жизнь? Представить трудно. Нет, не мог я уничтожить его — это просто не в моих силах. Но даже то, что пытался — ни в какие ворота не лезет. А вдруг он и вправду исчез?!

Нет! Исчез не он. Исчез я! От этой мысли потемнело в глазах. Исчез из того мира, где был Пал Палыч. Перенесся туда, где он даже не родился. Тогда, может быть, я попал в мир, совсем не похожий на мой родной? Сколько отличий я считаю за дверью комнаты? Нет, это какое-то наваждение!

Тугой ком подкатил к горлу, рот наполнился горькой слюной, я зажмурился и сглотнул. перевел дыхание. С трудом поднялся. Стены комнаты качались иплыли. Я кинулся к столу, застучал ящиками, судорожно стал вытаскивать какие-то бумажки. Их оказалось немного, и нигде ни одного упоминания о моем компаньоне. О компании тоже нигде ничего. Я оживил ноутбук, тот же результат. Потыкался по комнате в поисках портфеля, но не обнаружил его. Должно быть, оставил в машине. Ах, нехорошо. Оставались ли у меня дома документы с работы? Теоретически могли. Ну хоть самые незначительные — бланки какие-нибудь, старые отчеты. Хотя твердо я не помнил. Это понятно, когда что-нибудь убираешь, память о стираемом возвращается не сразу и не в полной мере.

Так что же... Я остановился напротив зеркала и взглянул в него. Я стер и компаньона, и компанию? Но ведь ее основал не он, вернее, не только он. Я перевел взгляд на старое фото, висевшее рядом с зеркалом. Свадебное. Родители тут моложе меня; смотрят из своего счастливого прошлого, улыбаются. Вы, только вы неизменны в моей памяти. Вы — маяк, который светит мне сквозь десятилетия. Непроизвольно стал сравнивать черты своего лица с отцовскими. Мы похожи. Только подбородок у меня не такой волевой. Мое лицо тоньше, длиннее. А так, сходство заметно. Такой же правильный, строгий нос, те же настороженные бледно-голубые глаза, тонкие ироничные губы.

За дверью послышался шум, кто-то вышел из туалета, спустив воду. Отчетливо прозвучал детский голос: «Мама, мы пойдем гулять?» Женский голос ответил что-то неразборчиво. Я похолодел. Ну да, конечно. Как я мог... Зоя... Леня... Сердце забилось бешено, дико; перед глазами заплескали мелкие мутноватые светлячки. Так, все хорошо. Все в порядке. Они здесь, я их помню. Сколько лет Ленечке? Четыре или пять? Пять. Или... Шатаюсь, я сделал несколько шагов до дивана и повалился на него. Мою жену зовут Зоя, у нее темные волосы, глаза... какого цвета у нее глаза? Так, возьми себя в руки! Многие мужчины забывают, какого цвета глаза у их супруг и сколько лет их детям. Но ты ведь помнишь! Осторожные поцелуи той осенью, когда вы познакомились. И блеск ее глаз, и прерывистый шепот. Или это было не с ней? И не с тобой? Из какой это книги? А сын? Помнишь, как подбрасывал его, плачущего, к небу. А как он бежал по пыльной дороге, и тетка стояла у калитки в своей огромной, размером со стадион, панаме... нет, не то!

О, Боже! Я сжал виски пылающими ладонями, я хотел раздавить череп, выпустить память на свободу, размотать ее, словно киноленту. Вновь подсел к ноутбуку. Должны сохраниться какие-нибудь фотографии. Мы много фотографировались. В Париже, например, у Триумфальной арки, в Лувре; тетя фотографировала... Где, да где же они?! Постой-ка, вот текстовый файл, «о жене и сыне». На белом листе три строчки: «У моей Зои густые темно-каштановые волосы, глаза карие, теплого, орехового оттенка. Леня — сынок, вылитый я в детстве. Он еще ходит в детский сад, но уже хорошо читает. По выходным мы гуляем с ним в парке». Странно, зачем я это писал. Если боялся их стереть, то ведь и файл бы тогда не сохранился. И сколько же ему лет? Пять? Или уже шесть исполнилось? Но раз текст сохранился, то, стало быть, все в порядке? Да и с чего бы им исчезать. Даже если бы они имели хоть какое-то отношение к Пал Палычу, то все равно... Ведь стереть человека невозможно. *Но возможно перейти в другой мир, где его никогда не было.* Нет, я не верю! Тем более, он не имеет никакого отношения к... или... Почему меня так трясет? Неужели я не вспомнил чего-то важного? «Береги мою Зойку...» — чей это одышливый шепоток? Ерунда! Мои родные здесь, в соседних комнатах. Перепугался чего-то. Надо завязывать с уничтожением прошлого. А то, как бы не погубить ненароком настоящее. Вероятно, появились новые, незнакомые мне побочные эффекты. Похоже, информация иногда исчезает только из моего бедного мозга, но, хвала небесам, сохраняется в жизни.

Из коридора послышалось шлепанье босых ног. Смолкло у двери. Я сидел беззвучно, сердце гулко бухало в груди. Шлепанье возобновилось, шаги теперь удалялись. За стенкой приглушенно забормotal телевизор. Что они там смотрят? Я уставился на дверную ручку. Встань, открой дверь. Ты глава семьи или безвольная, перепуганная тень? Выйди, обними жену. Подойди к ней сзади, чмокни в шейку, она это любит. Ущипни липкую от сладостей щеку сына. Давай! Выйди! Выйди из гроба, Лазарь!

Преодолевая ватное онемение всех членов, поднимаюсь и тяжело двигаюсь к выходу. На полпути останавливаюсь. Перевожу дух. Точно! Как сразу не сообразил. Надо найти номер Зои в телефоне. Телефон на столе. Одним прыжком достигаю стола, грабастаю мобильный. А... как она у меня записана... вечно забываю... должна быть в последних входящих-исходящих. Не то, не то. И почему все звонки такие старые? Последний был позавчера. Черт! Да где же она?! Лезу в «Контакты», номера и имена скачут перед глазами. Нет, так не найду. А вот теткин номер. Повинуясь неосознанному желанию услышать хоть какой-то надежный, верный голос, нажимаю на «вызов». Гудок, еще один.

— Дорогой мой, что случилось?

Голос тетки грудной, чуть дрожащий, с пришепетыванием — к старости у нее осталось маловато зубов. Она немного взволнована. Ну да, ну да. Ведь я почти не звоню ей. Всегда она успокоится, как у меня дела.

— Теть Валь, все хорошо. Решил позвонить, узнать, как ты.

Недоуменное сопение в трубку.

— У тебя точно все в порядке?

— Да! Да. Я звоню... слушай, а Зоя с Леней... — выжидающе замолкаю.

Опять пауза. Молчу, чувствую, как капелька пота стекает по носу.

— Что? Я не понял? Какая Зоя?

Отнимаю трубку от уха. Теткин голос озабоченно пищит:

— Что случилось? Какая Зоя? Ты почему молчишь? Ответь...

Отключаюсь. Пространство распадается на мириады порхающих бабочек. Их трепещущие крылья осыпаются ворохом теней и бликов. Время застывает гигантской стеклянной каплей; в искривленной тусклой поверхности — десятки далеких, смутно различимых лиц. Они растворяются, тают, тонут в зеленоватой толще. Вновь всплывают, приобретая знакомые черты. Марина, закусив прядку, задумчиво смотрит на меня. Доцент Леонтьев поглядывает исподлобья, прижав зачетку, словно подраненную птицу. Заговорщицкий шепоток Пал Палыча: «Что, у тебя с моей Зойкой серьезно?...» *Нет, не то; неправильно что-то с Зоей и с Леней, да и с самим Пал Палычем.* А что правильно? Что вспомнить? Кого? Вот отец подбрасывает меня к бело-голубому небу, губы его улыбаются, а глаза смотрят холодно, внимательно, неотрывно. Звучит тихая мелодия, едва слышны слова припева: «Даже если на это уйдет вся моя жизнь...» Взлетаю в холодную, прозрачную высь и растворяюсь в ней, исчезаю. Мелодия остается.

Телефон дрожит в руке, песня растет у меня на ладони. Тетя. Прикладываю аппарат к уху.

— Дорогой мой, что...

— Тетя, вспомни, пожалуйста. Вспомни точно, где разбились родители? Очень надо. Они разбились на мосту? Когда ехали в Елизарово? Так ведь?

Молчание. Слышится только хриплое старческое дыхание.

— Елизарово? Не знаю про такое. Они ехали обратно, в город. Прямо на трассе в них и врезались.

Опять молчание. Тетка всхлипывает.

— Как они тебя с собой не забрали, радость мою. А то бы и тебя...

Опять всхлипы и шмыганье.

— Ты так просился с ними. Прямо криком кричал. Ревел. На дорогу падал, говорил: «Заберите меня от этой злой тети!» Плечо так сильно о камень ушиб, что мама хотела тебя обратно в город отвезти, в больницу. Но Слава настоял, чтобы оставили. Спас тебе жизнь, отец-то. А Веру, лапушку мою, не уберег.

— Спасибо.

Я не узнал свой голос, не узнавал лицо в зеркале. Невнятное, искаженное лицо с бледно-голубыми пристальными глазами. Кто ты? Почему так смотришь? Как ты похож... Но ты не отец. Ты не имеешь права... Но ты и не мое отражение. Нет-нет, ты — другой. Ты пришел из тех пауз, лакун, что слились в одно унылое, бесконечное молчание. Родился из неисполненных желаний, непреодоленных трудностей, несовершенных ошибок. Из тех областей бытия, которые остались только смутным и неверным воспоминанием. Твой подбородок еще слабее моего, а глаза совсем блеклые, выцветшие. Как у старика. Но ты не отец мне, нет!

Знаю, что сейчас скажешь. В чем обвинишь. Дескать, нет у меня ни жены, ни сына, и не было никогда. Я их выдумал, чтобы заполнить ту великую пустоту, которую сам же и сотворил внутри себя. Я стирал память, стирал события, якобы

исправляя ошибки, но не мог заменить их ничем, кроме бездействия, пассивности, вялости. Пустоты становились все больше, пробелы пугали меня, и я придумал яркую, увлекательную имитацию жизни. Прямо как в телесериалах, к которым пристрастился от безделья. Нет у меня ни бизнеса, ни счета в банке, ни машины. Хитрого компаньона-тестя я придумал. И как лихо закрутил сюжет: старый друг, предавший отца, жена — дочь кровного врага, месть, пропавшие родные, отчаяние. Ха-ха, хо-хо! Пошлятина!

Вот что скажешь. А мне нравился этот мыльный пузырь. Я так наслаждался своей радужной иллюзией. И все-таки стер ее. Тем же способом, каким стирал реальные события.

— Но, позволь, — спрошу я, — а что же было правдой? Что не иллюзия?

— Правда в том, что ты нигде не работаешь, ты сдаешь две комнаты родительской квартиры симпатичной молодой семье: пара твоего возраста и мальчишка-дошкольник. На выручаемые средства живешь в третьей, дальней, самой маленькой комнате. Выходишь из нее крайне редко, только в магазин, да еще к квартирантам, посмотреть очередной выпуск какого-нибудь дурацкого сериала.

Правдой является то, что ты мог спасти родителей...

— Что? Нет! Ведь я был ребенком! Что я мог?

— Ты и сейчас можешь. Всегда мог. Ты постоянно возвращаешься в их машину в те, последние, секунды. Тебя тянет обратно. Тогда, в тот ветреный, облачный день ты настоял на своем. Родители пожалели плаксу-сыночка и повезли обратно в город. После аварии ты не умер, хотя и был близок к этому. Выходя из комы, предпочел забыть последнюю поездку. Ты вернулся на тетино крылечко и тихо там плакал, разглядывая облака.

— Но что я могу сейчас?!

Вопрос остается без ответа. Отражение молча глядится в меня. Всколыхнутые было тени вновь скрываются под стилой, темноватой гладью.

Насвистывая памятный печальный мотив, сажусь на кровать. Ложусь на спину, гляжу в потолок. Вновь начинать с чистого листа. Дыхание успокаивается, мышцы расслабляются.

Я вернусь. Стану забывать — день за днем, шаг за шагом. Пока не сотру все. Под конец забуду, что родители погибли. Буду переходить из комнаты в комнату, из мира в мир, молодеть, превращаться опять в ребенка. Вероятно, это запустит каскад других случайностей и ошибок, включит иные причинно-следственные связи, но дальше все пойдет своим ходом. Пап, мам, я не знаю, что будет дальше. Зато ясно помню, что было. И обещаю — я вернусь. Даже если на это уйдет вся моя жизнь.





Иван ЕРПЫЛЁВ

«Триста дорог»

Мне подарили целый куст герани

Мне подарили целый куст герани!
Поставил я ее на подоконник,
По горлышко насыпал чернозема,
Исправно по субботам поливаю,
Казалось бы, чего? Цвети и пахни!
Но не цветет, возникли две проблемы:
Все ветки безнадежно искривились,
Стремясь заполучить в объятия солнце,
И листья стали сохнуть незаметно.
Кто виноват? Воды ей, что ли, мало,
Иль знойное дыхание батареи
Ей не дает цвести?
Иль просто
Капризная досталась дама мне?



Как свиристель, угрюмая ворона,
Рябины кисть померзшую клевала
И еле-еле лапами держалась.
Под тяжестью хоть небольшой, но птицы,
Шел снегопад локального масштаба,
Укутывая зябнущие корни.
В сугроб, как незатейливый орнамент,
Оранжевые шарики вминались
И весело — как маленькие солнца —
Сверкали обмороженной вороне.
Она, увидев легкую добычу,
Слетела вниз и жадно собирала
Опавшие зародыши созвездий.
Тут налетела гадина-поземка,
Засыпала законную добычу
И унеслась, проклятая стихия!

Бедные люди

Думаете, чиновником быть легко?
Черта с два!
Посочувствуем им!
Целый день надо решать проблемы
каких-то людишек,
возомнивших, что у них есть права.
И ни один не скажет спасибо!
Выслушивать вопли начальников,
принимая резолюции на свое сердце.
Приходить на работу к девяти,
уходить с тяжелыми сумками.
Сидеть в банке с тараканами,
опасаясь доноса.
Тысячу раз в день делать одно и то же.
Вся жизнь уместилась в абзаце
должностной инструкции.
И никакой зарплатой
не прикроешь духовной наготы.
Вот уж поистине — бедные люди.

Превратности любви

— В напряжении большем,
Чем между рогами троллейбуса,
Я хриплю и взываю, но что мне еще остается.
Потому и взываю, чтоб булыжники не возопили,
Чтобы улица вместе с деревьями дыбом не встала.

— Все взываешь? Взывай. И козел к помидору взывает,
Но не может заморское сердце растрогать.
Ишь, краснеют нездешней зарею томаты.
Что козел им? Привыкли к взыванию ламы,
А особо спесивым — так им подавай крокодила
Из заросшего тиной озера Тлелопоука.
Крокодил — не козел, он галантности не понимает,
Обойдется и без провансальского он трубадурства,
А сожрет помидор и заплачет от жалости горькой.

раздватричетырепять

раздватричетырепять.
Можно написать с пробелами.
Но я экономлю время.
Сейчас его не хватает.

Будто в сутках восемь часов,
и те уходят на сон.
За время мы боремся.
Мы глотаем фразы.
здрась

Нам некогда изучать грамматику.
какдила

Но мы хотим быть оригиналами.
превед, кросавчег

Мы хотим общаться
(добавляйтесь в контакте),

чтобы обсуждать интересные вещи:
самец есть?

Красиво жить не запретишь.
Диор. Бентли. Сваровски. Сен Лоран.
Но чтобы жить, нужны деньги.
Денег всегда мало. И времени.
Тогда мы идем в кино
на «Реквием по мечте».
Да, как в романе Хэмингуэя —
мы чувствуем обреченность наших усилий.
Не распустятся розы на песке сердец.
Колокол звенит — по нашей юности,
Так быстро ставшей банальностью.

Ода пульту

Это почти что член семьи,
Всеобщий любимец.
Бабушки заботливо заворачивают его
в полиэтиленовый пакет —
чтобы не простудился.
Простые работяги
тычут жирными от селедки
пальцами в его нежные кнопки
и непременно заливают пивом.

О, этот пульт — лампа Аладдина.
И если ковер-самолет — это боинг,
а скатерть-самобранка —
грязный макдональдс за углом,
то для артефакта восточного
искателя приключений
других аналогов нет.

Женщины живут сериальным счастьем,
вместо того, чтобы поцеловать мужа.
Мужчины смотрят на роту
мощных мужиков с мячом,
вместо того чтобы делать зарядку.

Счастье гарантировано каждому,
а если оно не по вкусу —
не сравнивайте эрзац с Арабикой.

Даже лампа Аладдина
не поможет прошибить головой
стеклянный экран телевизора.

Песнь земли

Скованы инеем ветви —
Вены на старых запястьях.
Тянутся из-под асфальта
Тысячи, тысячи рук.

«Я их поила весенней,
Сладкой, искрящейся брагой,
Корни впивались мне в душу,
В черный и прелый прах.
Небо, косматое небо,
Снегом секи их, градом,
Злобным ломай ветром
Руки твоих детей».

Но не ответило небо.
Серая, стылая накипь
Будто навечно застыла
на белоснежном снегу.

О зубах

При взгляде на вывески
многочисленных зубных клиник
и стоматологических кабинетов
во рту появляется привкус бормашины.
Граждане укрепляют клыки
не для того, чтобы грызть гранит науки.
Только саблезубые смогут отхватить
лакомый кусок от чужого пирога.
Остальных зубная нить импортного производства

Вычистит на сто первый километр
современного бытия.
Популярно отбеливание зубов,
но не совести.
Опытные дантисты
беспощадно высверлят кариес
из зубов и умов.
В тихом сумраке лечебниц
делают протезы
на беззубые жвалы
громоподобной саранчи
апокалипсиса.

Хороши ли беляши

Чем больше ларьков с сочными чебуреками,
тем меньше популяция бездомных собак.
Этот феномен еще предстоит изучить
на кафедре математической статистики
богоспасаемого политеха.
Потребители беляшей скоро закончатся,
число приблудных щенков
возрастает по экспоненте.
Сейчас модно причитать вслед за Есениным
над глазами рыжей суки,
которые покатались в снег золотыми звездами.
Поборники уличного гринписа
даже открыли и быстро закрыли
приют для бродячей живности.
От одной остановки к другой
по Ленинской — Чкалова — Гагарина
путешествует старый клошар
с целым выводком озверевших псин.
Псы принохиваются к тощим баулам
слабо протестующих теток.
Я видел людей, до седых волос
заикавшихся из-за того, что в детстве
их напугала бездомная собака.
Рьяные защитники зверья
не протестуют против убийств
миллионов комариных личинок,
Против того, что пескари плывут
в неудобной для них позе — вверх брюхом
в сточных водах
газоперерабатывающей промышленности.
Защищайте-ка лучше ценные породы
пуховых губерлинских коз.
Можно собирать деньги
на поддержку амурских тигров,
но никак не оренбургских бобиков.

Вспомните, как вы умилялись бездомному щеночку,
когда громадный пес вцепится прямо в нос
вашему ребенку.
Не жалейте за счет других.

Красота на экспорт

Богатый господин из Бирмингема,
Не думаешь ли ты, что на Арбате,
Среди ушанок, вымпелов, матрешек
Отыщешь горделивые обломки
Поруганной империи былой?
Учись глядеть за лаковым фасадом,
Купи билет на рейсы Оренэ́йра.
Вот дворик оренбургский. Посмотри
На сломанные лавки у подъезда,
На выбоины, мусорные баки.
Отметины собачьего помета
Чернеют незатейливо кругом.
А желтые отметины сияют
Как краски на картинах Рафаэля.
Такое не увидишь в пыльном Лувре!
Вот женщина идет в песцовой шубе,
Сжав губы. А под шубой — синяки.
Вот бабушка с авоськой ковыляет,
Свои гроши спешит она пристроить.
Вот топает сантехник дядя Витя,
И малолетки курят папиросы
Под криками кочующих ворон.
Блажен тот иностранец, кто увидел
России неземную красоту.

Баллада о выборе

Триста звезд — самых ярких —
И триста дорог
На пороге сомкнули лучи.
В доме чисто и жарко,
А чуть за порог —
И навек потерялся в ночи.
Неужели оставишь
Меня без забот? —
Вопрошает задумчивый дом.
И мой сытый товарищ,
Мой дымчатый кот
Под кроватью свернулся клубком.

Вдруг все выше и выше
Живого огня —
Вереницы болотных огней.
Двести семьдесят вспышек
Обманут меня.
Только тридцать — небесных кровей.
Так несладко в дороге —
Сплошной караул...
Я поднял свой тяжелый рюкзак,
Постоял на пороге
И все же шагнул
В непроглядный, заманчивый мрак.
Двадцать девять бокалов
Разлились слезой —
По числу неслучившихся звезд.
И одна засверкала
Над страшной грозой —
Самой лучшей из всех моих гроз.

Несостоявшийся пророк

Как я без портвейна душу разбережу?
Приступы все чаще, поводы все реже.
Ларь для стеклотары — там, за перекрестком.
Полиняла совесть от вседневной носки.
Лягу и забудусь, а наутро — в офис.
Взлетов и падений составляет опись
Строгий, при погонах, шестикрылый пристав.
Был и я когда-то ревностно-неистов,
Только растворился в офисном планктоне.
В сером море буден безнадежно тонем.
Козлища — налево, кроткие — направо,
Лоцману — веселье, приставу — забава,
Но, когда исчезну в брюхе кашалота,
У кита начнется легкая икота.
Ждите, ниневийцы, нового Иону.
Он из нас восстанет, из глубин планктона.





Елена СУПРАНОВА

ЧУЖАКИ

Рассказ

*«Родится она у красной девицы от Змея
Огненного. С виду кикимора тонешенька,
малешенька, голова с наперсточек, а тулово
не толще соломинки. Видит она далеко по
поднебесью, скорей того бежит по земле.*

*Никем не знаячи, пробирается она
в крестьянскую избу, никем не ведаючи,
поселяется за печку...»*

Славянская мифология

— С тупай, дочерь наша! И помни: ты не такая, как они, хоть по облику теперь — человек. Забудь о матери своей! Не было ее. Не было, а значит и нечего о ней. Будет тебе день и будет ночь. День — не твоя забота, лишь ночью ты везде будешь дома. Много тебе дано, да немного ты взяла...

— Ой, батюшка, не отпускай меня, горемычную, от себя! О-ой! Да куда ж ты меня провожаешь без моей волюшки и охотушки-и! Батюшка миленький, упаду в ножки тебе-е, что ж не слышишь ты дочь свою, что ж ручки не подаешь, родименький? Да протяни ко мне ручки свои, приласкай, как ласкал всегда, приголубь.

— Мала твоя дочь, ох, как мала, Змеюшко. Куды ж ее в Заоблачье отпускать?! Там посмеются над ней — жесток вар людской, ох, как жесток, — а дело свое она не сделает. Ведь вон как запричитала, ровно не в жизнь идет, а смертушку принимает. Не в пример сестрам-беззаботницам сидела подле няньки, путала по узору пряжу, училась холсты ткать. А должно-то наоборот! Чегой-то у ней все не так. Пускай бы годок еще побыла при тебе, подросла б малость.

— По ихним меркам она — как раз. Старшие все пристроены, живут себе, горя не знают. А эта... Ведь младшие подпирают, вот-вот в мир запросятся. Надо отправлять, и не уговаривайте меня, не травите мне душу!

— Так ведь оно, так, да только... Куды ж ее такую махонькую — в мир! Росточек у ней... охо-хо... ровно былиночка она. Шейка тонюсенька, ручки невесомые, горсточка, что наперсточек, не боле трех зерен и возьмет. Да и те... отберут у ней. Наставники жаловались, мол, раздумчивая она. Пропадет еще там.

— Батюшка родименький! Не отпускай меня в чужой край-сторонку! Пропаду я там, испечалюся! Коли я тебе так нелюба, коли нету у тебя на сердце более заботы

обо мне, тогда, что ж, положу в котомку краюху хлебную, опушу свои глазыньки долу да и поплетуся восвояси-и.

— Все! Как я сказал — так и будет! Разве мне тебя не жалко?! Там ты — кто? Кикимора при доме человека. А здесь кем тебя оставлю? Ну, подумай: что скажут про нас. Негоже мне, Змею Огненному, послабление давать своим. Так-то. еще посмеешься над слезками потом, когда пообвыкнешь. И мне тогда, ну, если в хорошестьи пребывать станешь, дашь знать: хоть птицу пошли или еще кого... Ладно уж, пускай Сокол с Орлом будут с тобой. Вот их и пошлешь ко мне, ежели что. Ну а не стерпишь мира, не очарует он тебя, тогда... Закричи только: батюшка родной, возьми к себе! Я и заберу тебя назад.

— Тогда побегу, сготовлю ей дорожное: снеди положу, одежи какой. А то кинется без всего...

— Так, батюшка... знать, мои слезыньки не проняли тебя... Повинуюсь. Да только свидимся ли?..

«Избы-то, избы какие... Батюшка говорил, крылечко у каждой... Где ж эти крылечки с перильцами, оконца резные? Где колодцы-журавли, мельницы-ветряки? Почему все — мимо да мимо. Никто в глаза не заглянул, никто не приветил... Куда ж притулиться, где избу искать по нутру? Дома — не дома, терема — не терема... Окошек сколько... а дымов не видно. Вот попадешь в такую избу, только там печь не топлена, настыло все, тоска. Животины нет никакой у изб... Что ж батюшка говорил: ежели не понравится мне, то лишь крикнуть...»

Последний мартовский снег падал крупно, лепил деревьям шапки, гнул ветви до самой земли. Он прикрыв в последний раз ее предвесеннюю черноту, снова сковал проезжие пути, сгладил ледяные надолбы. Уже к ночи ветер погнал косо крупку, натрусил снега под двери подъездов домов, намел сугробы у самых стен, и все валил и валил... Редкие прохожие, не поднимая глаз, медленно брели по чуть угадываемым дорожкам домой, домой...

До утра она простояла в подъезде многоэтажного дома, не смея постучаться в жилище человека. Но лишь захлопали двери квартир и народ стал сбегать по лестницам вниз, не дождавшись лифта, она снова оказалась на улице и побрела в одиночестве — среди людей.

К обеду взыграло солнышко и стало топить снег изо всех своих весенних сил. Зажурчали ручьи, одетые в кружево льда, истончая его и увлекая ледяные корки за собой в дальнее плаванье — в реку. Ее-то и разглядела она сквозь пелену слез, а, разглядев, остановилась на мосту.

— Папа-аа! Смотри, девочка гуляет одна, а ты мою ручку не отпуска-а-аешь.

— Это взрослая девочка, она уже в школу ходит, а ты еще маленькая. Давай быстрее! Миля Андреевна не пустит нас после полдевятого. Или без завтрака останешься.

— Наша Миля Андреевна сама опаздывает каждый раз. Лиля Витальевна сказала, что уволит ее. Пап, а как это — «уволит»?

— Уволит — значит, она без зарплаты останется, и туфли ей не на что будет ремонтировать.

— А нашей Миле Андреевне Вовка из первого подъезда сто туфель купит. Я тоже, когда вырасту, стану красить волосы, и мне Вовка деньги будет давать. Сто-тыщу денег! Миля Андреевна сказала: ой, Бурлака, смотри, как бы мой Вовка на тебя не перекинулся.

- Ну и шука, ваша Ми... Минуточку, Танюша, дай я поправлю шапочку на тебе!
- Пап, почему большая девочка плачет? Не плачь, пойдем с нами!
- С нами нельзя, в садик чужих не пускают. Нас бы пустили... Опоздываем.

Тренькнул будильник, нарушив сон капитана Мамбика. Он моментально выпростал руку из-под одеяла, кнопкой прервал звонок и всмотрелся в лицо спящей жены. Крепко спит. Что ж, пора вставать. Закинув свою часть супружеского одеяла на жену, он осторожно перелез через нее, потом убрал с нее кучу из одеяла, расправил на своей стороне кровати и снова посмотрел на нее. Спит Лилька! Нашупал ногой тапочку, потом другую.

На кухне подымил сигаретой, привычно прищуривая правый глаз, спасаясь от дыма. Сигарета, как и всегда, была прелюдией к началу утра. А утро шло своим ходом — по расписанию.

Капитан Мамбик демобилизовался два месяца назад. Несколько первых недель они с женой навещали родственников, сначала с ее стороны, ну а потом — и с его. Лилькина родня — пухлые, рыжие и веснушчатые, с оттопыренными ушами, безбровые — были почти все педагоги. Они сразу тащили Мамбика за стол:

— Мишенька, родимый наш! — кричала Лилечкина тетя Галя, повисая на нем и целуя крепко-крепко. Прижмурив глазки-бусины и приподняв дуги бровей, нарисованные черным на рыжем лице, удивлялась: — Какой же ты бедненький, а худой-то!.. Какой тощенький, и головушка твоя дынькой!

Действительно, капитану Мамбику пришлось стричься короче, потому что после одного случая его голова стала потеть даже в прохладе. А случай был из ряда вон: с армейского склада исчез ящик тротильных шашек, четыре ящика патронов, шесть противотанковых мин, ну и еще кое-что по мелочи — запалы и снаряды. Пришел приказ боеприпасы вывозить, а тут приемщик ушлый — ни в какую принимать не стал без оформления недостачи. Капитан подал рапорт, не под трибунал же идти в мирное время...

Вот с тех самых пор и стала потеть его голова при всякого рода психических ситуациях, и при такой прическе теперь она стала еще больше походить на дыню.

Тетя Галя преподавала в одной из многочисленных академий, которых во Владивостоке за последние годы образовалось множество. Естественно, она была многоумной, в очках черной оправы. Ее труды — рефераты, обзоры новинок литературы — ежегодно печатались в специальных журналах. Она уже защитила кандидатскую и планировала довести до защиты докторскую.

— Тетя Галя, — вздохнул очень натурально Мамбик, — если б вы не были моей родственницей...

— Дальней, — дыхла она ему в лицо только что съеденным зеленым огурчиком, пальцем зацепившись за его ремень.

— ...Если б вы не были родственницей моей Лилечки, а я не был бы (тьфу-тьфу) женат, то, возможно, за вами даже поухлестывал бы.

— Мишенька, — в эту минуту подала голос жена, — тетя Галя скоро станет бабушкой. Правда ведь, Галюнь?

Грустно кивнув, тетя Галя отошла к своей временно широкомошной невестке Людочке.

Застолья большой семьи Мамбик были одинаковые — салаты, картошечка, мясо по-капитански, водочка только местного разлива (патриотично, правда?), песня о Каховке, про Катюшу и о соловьях в исполнении тенора дяди Пети, и все вместе — про утро туманное; устраивались в честь воина-защитника званные обеды, ужины и даже завтраки. Ему пришлось срочно купить костюм для визитов, модный галстук

и еще кучу прочего: от носков на полтона светлее костюма, дюжины дорогуших носовых платков в магазине на Светланской — до модного перстня в ювелирном.

Перед визитами к мужниной родне Лиля придирчиво разглядывала его самого, удовлетворенно хмыкала и подергивала плечиком, если все сходилось: и рубашечка была без морщинок на воротнике, и дезодорант — в меру, и очки не выпирали из кармана.

— Ну, — командовала она, — пошли на смотрины, что ли.

Вечера, обеды и завтраки у многочисленной Лилиной родни также проходили за салатами, мясом по-капитански и водочкой, но московской — напоминание о бабушке, почти москвичке, которая в своей ранней молодости ездила в столицу поступать в МГУ на юридический, поступила, выучилась на юриста, чудом получила распределение в столичную нотариальную контору, проработала четыре месяца помощником нотариуса, один месяц даже нотариусом, но потом встретила дедушку, выскочила — дура — замуж за него, выпускника МГУ, и оказалась здесь, за девять тысяч километров от западной цивилизации.

— Спросите: почему? — обращалась сухопарая тетя Вика к пышногрудой и задастой Лилечке и сама же отвечала, не дождавшись вопроса от нее. — Все очень просто: наш дедушка-москвич, родившийся в самой Первопрестольной и ниоткуда не приехавший, имеющий законную прописку по рождению, получил, идиот, распределение сюда, во Владивосток! И поехал, балбес, и потащил за собой свою жену, нашу дуреху бабушку Дусю на ее родину!

Вот на одном из таких ужинов, именинном, после песни про сирень-черемуху, и посоветовали Лилечке не связываться с этими центрами занятости, толкающими всех бывших военных, и Мишеньку уж обязательно толкнут, в их программы реабилитации.

— Нужно самим сорганизоваться так, чтобы восстановление организма осуществлялось ежесекундно, — растолковывал молодой шуринок Федор Беломаз. — Берете листок бумаги, сворачиваете его в длину, слева пишете время, справа же — дела. И пошел жить наш дядя Миша по-мирному! Это и есть реабилитация по-беломазовски. Дарю, — сказал задорно и протянул Михаилу чистый лист бумаги, свернутый трубкой и готовый принять любую программу на себя.

Такая вот реабилитация получилась. Подъем — в шесть, завтрак — в семь, обед — в два, ужин, как и на службе, — в шесть. Но на службе завтраки, обеды и ужины не всегда были в семь, в два или в шесть. Перебои часто случались там с этим. Подъемы зычно объявляли до ноля, иногда после ноля и перед самым утром. А еще: ночные броски, спартакиады, эстафеты, правда, все это происходило до службы на складском хозяйстве; также бывали походы, засады и стрельбы не только по фанерным мишеням или в тире.

— Ты, дорогуша, — рассказывал Михаил притихшей после ночных ласк жене, — и представить себе не сможешь, что мы там ели... А что пили... Хорошо, тебе со мной не пришлось мотаться по этим горам-долам. Приеду, бывало, к тебе во Владик, отдохну пару месяцев, покупаюсь на Шаморе, полежу на песочке, мамуську проведаю — и туда, охранять Родину, беречь от чужаков.

Лилечка плакала тихо-тихо, сглатывая льющие слезы, жалея мужа и желая ему светлой реабилитации, а также того, чтобы он нашел себе работу по сердцу и по здоровью, ну, хотя бы охранником или, на худой конец, кладовщиком на Фадеевской оптовой базе, потому что недалеко и в обед ему можно будет бегать домой.

Мамбик заглянул в расписание. Так, все правильно, оно предписывало с шести и до шести пятнадцати утренний туалет, затем необходимо было выпить кружку

отвара шиповника, заботливо оставленную на кухонном столе женой — для насыщения витаминами, и приступить к получасовой зарядке.

После зарядки — по расписанию — завтрак, потом нужно отвезти двумя автобусами соседа-первоклассника Игорька в гимназию.

— Ну, Игорек, как ночевал? В школу-то неохота? И какие такие в субботу могут быть занятия, да? — капитан снял с мальчишки рюкзачок, поправил шарф и протянул руку. — Пошли!

— Дядь Миша, у нас в классе новенькие! — стал делиться новостями Игорек. — Один — во какой большой. А девчонка плохо говорит, слова не наши.

— Беженцы? Как фамилии?

— Один — Алик, а девчонку Наной зовут. У нее косы длинные, как змейки, и глаза красивые.

— Не обижают тебя?

— Не-е... Я чужаков теперь к себе не подпускаю, как ты учил. И домой звать не стану! Сам в компьютере буду играть.

— От них, чужаков, все наши беды, Игорек. Вот и зеленый загорелся. Вперед!

Девушка осторожно ступала по скользкой дорожке, а над нею в вышине кружили птицы — Орел да Сокол. Дорожка привела ее снова к высоким домам и завела во двор-колодец. Она долго стояла под молоденькой березой в центре двора, прижав ладони к стволу, потом махнула птицам рукой. Они опустились на крышу дома.

«Что ж, — подумал Орел, — можно жить поблизости за речкой, на сопках».

«И здесь живут, обживемся — полюбим. Жаль, леса нет», — огорчился Сокол. Девушка присела на коробку детской песочницы и обернулась воробейкой...

После школы — свежая газета, а потом нужно бы...

Мамбик выглянул во двор. Никого. Суббота, все спят. Он столько успел переделать работы, а все еще спят! Его взгляд заскользил по балконам четвертого этажа, пятого, по крышам и выше и утонул в расцветающем небе. Оно — румяное — уже готово было расступиться и впустить на землю нетерпеливые весенние лучи.

*Процветай же, родная держава.
И победная песня, звени!
В дни боев умножали мы славу,
Приумножим и в мирные дни!*

Эта реабилитация заводит, понимаешь, настроение поднимает... поднимает...

*Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлет наша Родина песню-привет,
Шлет наша Родина песню-привет!*

— Так... Вот это да!.. — присвистнул он.

На правом доме-близнеце, на самом краю крыши сидели две крупные птицы. Голова капитана вспотела, и на носу сразу же повисла капля. Рукой он смахнул каплю и сорвал со стены бинокль: не может быть!

Точно... Две крупные птицы спокойно сидели на крыше пятиэтажки.

— Беркут! Откуда? А рядом... орел. Ну да! Сапсан.

Он отнял от глаз окуляры, сморгнул и метнулся в нишу — за ружьем и патронами. Левая рука сорвала обертку с пачки, сбросила крышку и нащупала два патрона; правой привычно отодвинул собачку затвора, потом переломил ружье, послал в стволы патроны: сначала в левый, затем в правый; закрыл ружье; перекинув его с левой руки в правую, вышел на балкон.

— Сидят, голубчики, — прошептал он, вскинул ружье и прицелился в сокола. А сердце пело:

Тебе, любимая, родная армия,
Шлет наша Родина песню-привет...

Палец нащупал курок и чуть принажал... Капитан набрал полную грудь воздуха и замер.

— Да... — выдохнув, протянул он в досаде, — птицы редкие...

Орел повернул голову к соколу и стал перебирать лапами...

Еще раз... Прицел!

...Шлет наша Родина песню-привет!..

— ...Редкие, блин! — сказал с сожалением, опустил ружье и вернулся в комнату.

И тут сквозь рамное стекло он увидел воробья, скачущего по коробке песочницы, чуть присвистнул, взгляд его быстро заскользил по окнам домов. Тихо... Суббота ж! Тогда он мгновенно снова высочил на балкон.

...Воробейко вдруг почуял беду, чирикнул...

Капитану показалось, что на том самом месте, где только что была малая пичуга, сидит девушка в цветастом сарафане. Она запрокинула голову, испуганными глазами искала что-то и не находила там, на краю крыши. Мамбик ладонью провел по лицу, словно убрал наваждение. Птица. Ну да! Обыкновенная, городская. Почудится же... Свободной рукой нащупал на подоконнике бинокль и взглянул еще раз на серый комочек на песочнице. И вдруг увидел он, что в глазах птахи мечется настоящий страх...

Фу ты, глупость какая! Прицел!

...Воробейко взлетел невысоко и стал кружить над березой...

Бэмс!

— Батюшка! — раздалось (или капитану показалось?)... и птица кувыркнулась в песок.

Невесомые перья кружили и кружили над детской песочницей и, оседая, покрывали серый песок.

— Разлетались тут... — засмеялся капитан запаса и громко пропел еще раз:

Шлет наша Родина песню-привет!

Захлопали двери балконных дверей, проснулся-таки народ.

Крепко же спит Лилька!

И загорелся первый луч солнца как раз над крышей, там, где только что сидели редкие птицы.





Павел ПОДЗОРОВ

ТРИ РАССКАЗА

ВЛАСТЕЛИН

Утро началось как обычно. Изучил обстановку и свежие новости. Всё как всегда. Ситуация в городах спокойная, граждане работают, недовольных хватает, но пока это некритично. Дороги строятся, поля возделываются...

Тишь да благодать. Ничего нового. Кочевники, правда, обнаглели. На отдаленные селения все чаще набеги делают. Но и это не проблема: pošлю туда войска — вмиг присмирелят.

Тоска...

Дело в том, что Я — Единый и Всемогуший ВЛАСТЕЛИН этого мира! Я управляю всем и вся. Мало того — Я создал этот мир. Благодаря МНЕ он существует и до тех пор, пока Я этого хочу!..

Ладно, что-то ты, Властелин, разошелся ...

Так. Что у нас дальше?.. Ага, советники на прием выстроились. Надоели они мне — хуже горькой редьки. Опять денег просить будут. А где их — лишние — взять?.. Только у одного забрать и другому отдать. Эх, доля наша тяжкая... Но и не выслушать нельзя.

Я отдал поручения правителям городов и начал прием советников.

Как я и предполагал — все наперебой требовали финансирования. И на развитие науки нужно, и на армию, и на культуру... Ладно. Обстановка сложная — культура подождет. Еще часть со статьи развлечений для граждан можно оттяпать. Недовольных, правда, прибавится. Но ничего, потерпят. Вот, наладим торговые пути к Вавилонянам, казна пополнится. Несколько караванов со специями, фруктами и шелком уже в пути. Да и на востоке, в неисследованных землях, должны поселения быть. Как только армию увеличим — отправим на разведку.

Устал я от государственных дел. А главное — Тоска... Скука. Хоть бы напал кто. Тогда и армии дело найдется, и казну пополним, да и захваченные в плен работники к месту придутся — давно пора северные болота осваивать, руды в горах добывать. Вон, у соседей — металла в избытке. И бронза, и сталь, и, главное, золото. Наши-то залежи иссякают потихоньку.

Кто у нас тут недалеко?.. Шумеры. Вот им-то войну и объявим. Повод, правда, надо. Хотя чего долго думать. Потребуем золота, а откажутся — значит, недоброжелатели. Враги! А врага нужно уничтожить.

И понесутся мои бравые колесницы, поскачут конники, пойдет пехота. Со-
крушать врага, захватывать поселения...

Ну-с, приступим...

— Коля!... — я не сразу понял, что это обращаются ко мне.

— Коля, — повторила жена, — заканчивай свои игры. На рынок нужно сходить.
И соль у меня закончилась.

Со вздохом сохраняюсь и неохотно закрываю бук.

«Ладно — повезло пока Шумерам, вечером с ними разберемся, после ужина».

...Изможденный Верховный жрец вышел из транса и обессиленно рухнул на
каменные плиты пола. Тени, возникающие от мерцания факелов, казались живыми,
находясь в непрерывном движении. Ряды жрецов первого ранга, неподвижно сто-
явшие вдоль стен Пещеры Заклинаний, безмолвно взирали на Верховного жреца.
На небольшом возвышении, на троне, восседал сам Повелитель...

— Говори же, Верховный жрец, — молвил он гулким властным голосом, —
помогли ли твои заклинания?

Верховный жрец с трудом приподнял голову и слабым голосом молвил: — Да,
мой Повелитель... Чары мои, направленные на женщину, помогли... Теперь мы
можем подготовиться к Войне, у нас есть время — до вечера...

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

ОН осмотрелся... Дааа... мир очень изменился. Огромные дома, само-
движущиеся повозки, люди в немыслимых одеяниях.
Отец предупреждал, что будет сложно... С чего начать?.. О! В конце
улицы храм! Быстрее туда.

Красивое строение. Купола, похоже, золотые. Негоже это. Ведь, чай, недешево!
Неужто все богатеями стали?..

Пока смотрел на купола и кресты, к нему подошла бабулька в туго замотанном
платке. По сравнению с теми, кого видел на улице, одета вызывающе просто. Лицо
суровое. Взгляд хмур и недоволен чем-то.

— Ты что это так вырядился?! — сурово сказала она. — В этих лохмотьях
в Храм Божий хочешь?.. Эх, ты!.. Молодой, здоровый... Работать надо!.. А не в
мешковине ходить. Чего тебе тут?.. Деньги-то хоть на пожертвование найдутся?..
Или на свечу?..

ОН непонимающе смотрел на грозную бабушку. Потом медленно двинулся
вовнутрь. Сзади раздавалось недовольное бурчание.

На входе ОН растерянно остановился. Что это? Все разукрашено с невообра-
зимой помпезностью. А справа... ОН не поверил своим глазам. Справа торговали
свечами и иконками. В Храме Божьем!!! Непостижимо!

Сделав еще несколько шагов на непослушных ногах, он увидел... Нет! Это невозможно! Не может быть!!!

В углу стояло большое распятие с горящей лампадкой. Все украшенное и ярко расписанное... А на коленях стояла старая бабушка. Она молилась и непрестанно кланялась распятию.

ОН бросился к ней.

— Что вы делаете?.. Встаньте.. Зачем?.. Вам же тяжело, — он лепетал слова, пытаясь поднять старушку с пола.

Но та лишь оттолкнула его и злобно прикрикнула: — Иди отсюда!.. Безбожник...

Разодетый в невообразимо сверкающие наряды служитель неодобрительно смотрел на него...

И тогда Иисус бросился к распятию, изо всех сил вцепился в него и, обдирая руки в кровь, выдрал его и бросился вон из этого здания...

В камере было пусто, сыро и холодно.. ОН сидел на полу и, не переставая, обращался с молитвой к ОТЦУ. ОН молился за людей, за их прозрение, а в памяти стояла старушка на коленях.

За решеткой ходили и разговаривали двое.

— Ну и что с этим... теперь делать?.. Ни документов, ни денег...

— А оформи-ка ты его на пятнадцать суток. А дальше видно будет...

МАТЕМАТИКИ

Профессор математики Рассветов шел по улице. Он задержался на службе и теперь быстрым шагом направлялся домой, пытаясь успеть до дождя. Небо хмурилось.

Хмурился и сам профессор, вспоминая сегодняшний разговор с нерадивым студентом Пилипчуком. Негодник посмел заявить, что математика абсолютно неприкладная наука и в жизни бесполезна.

— Деньги считать уметь только, да балы в зачетке, — сказал Пилипчук, за что и был отправлен восвояси с «неудом». И все-таки какой-то неприятный осадок от разговора остался. Профессор был очень молод. Ему только на днях «стукнуло» тридцать лет. Естественно, что не все студенты воспринимали его серьезно. Но таких он быстро ставил на место.

Возле сквера на скамейке сидела и рыдала девушка. Рассветов по инерции проскочил мимо, но что-то в лице девушки заставило его остановиться.

— Я могу вам чем-то помочь? — вежливо поинтересовался он.

Девушка подняла глаза и Рассветов увидел, что она молода и очень хороша собой. Даже слезы ее не портили.

— Чем вы мне можете помочь?.. Мобильный в канализационный сток уронила. Толкнула меня тетенька, я и не удержала, — она всхлипнула. — Это не просто телефон. Подарок это. От бабушки в честь поступления в институт. Она с пенсией целый год откладывала.

Ее глаза вновь наполнились слезами. Рассветов растерянно молчал. Несмотря на внушительное звание, он был еще очень молод. И вот теперь перед ним сидит и плачет красивая девушка, а он, со своей математикой, бессилён ей помочь...

Девушка горько плакала.

И вдруг ему пришла мысль. Рассветов выхватил из папки лист бумаги и ручку.

— Математику, надеюсь, помните?.. Смотрите.

Девушка, всхлипывая, недоумевающе посмотрела на листок.

— Я... кстати, на факультете... прикладной... математики учусь.

— Отлично! Вот сейчас мы ее и «приложим». Итак: а, икс, — он быстро писал — AX , где A — вы расстроены и X — у вас пропал телефон. Далее... BX , где B — вы спокойны, а X , как мы условились выше — пропажа телефона.

На листке образовалась простенькая формула:

$$AX = BX$$

— Имеем... С одной стороны, вы лишились телефона и вы расстроены, с другой — вы лишились телефона и вы спокойны.. Поскольку телефон утрачен и в том и в ином случае, мы... сокращаем икс. В результате имеем...

Он быстро зачеркнул иксы.

— $A=B$. В результате: A — вы плачете или B — вы спокойны. Выбор за вами.

Рассветов посмотрел на девушку... Она отвлеклась, наблюдая за его примитивными вычислениями, и уже не всхлипывала.

— Правильно! Математически все верно...

Она посмотрела в глаза Рассветову, и он увидел в них интерес.

— Вы правы. Не стоит сожалеть о том, чего нельзя исправить... Спасибо вам.

Девушка застенчиво улыбнулась и пошла вниз по улице...

Рассветов направился в противоположную сторону. «Вот и математика пригодилась», — думал он. Домой не хотелось. Его непреодолимо тянуло назад. Первые капли дождя упали на мостовую. Перед внутренним взором Рассветова стояло лицо девушки. То жалобное, то улыбающееся.

Больше всего на свете он желал, чтобы девушке вернулся телефон. А еще лучше, чтобы телефон вернул он — Рассветов. А потом они бы просто шли по улице и говорили. «Даже о математике — будь она неладна!» — подумал Рассветов.

И в этот момент ударил такой раскат грома, что Рассветов подпрыгнул. Сверкнула ослепительная вспышка, а когда зрение немного восстановилось, он увидел под ногами небольшой прозрачный полиэтиленовый пакет.

Осторожно подняв его, Рассветов обнаружил внутри белый мобильный телефон и блестящую карточку с текстом.

На ней было написано:

*Мобильный телефон системы «MotoEricNokSung — БЭдroid 54875» — 1 шт.
Восстановлен на кварко-глюонном уровне на основе математического анализа
утраченного образца.*

(Привет от математиков XXIV века!)

Старший научный сотрудник

Всемирного института времени

Сергей Рассветов

А ниже, от руки, второпях и мелким почерком было нацарапано: «Дерзай, прапра-прадед! Верни телефон прапра-прабабушке и не обижай ее» ...и смайлик :)

...Рассветов медленно развернулся и со всех ног бросился вслед за девушкой.





Елена СОСНИНА

Портрет в подарок

Весенний Дзен

— Целое входит в часть. —
Так говорит сенсей.
Мы ощущаем власть
Теплых весенних дней.

Грядка трещит по швам —
Лезет наверх цветок.
Ходит по головам
Солнечный осьминог.

Вместе со всем живым
Выйдем на чистый луг.
Там, как зеленый дым,
Стелется первый лук.

В норке енот возник,
Белки кричат: «Ура!»
Вот он — бесценный миг
Завтрашнего вчера!

Новое все вокруг —
Небо, кусты, холмы...
Встретились север, юг,
Запад, восток и мы.

Тяжелая песня

Боялась, извиваясь, как змея,
Была совсем уже почти не я,
И в музыку вошла чужую боком.
Там в гости ожидали соловья,
И ключ скрипичный крикнул мне с порога:

— Здесь занято! Тут нет свободных мест!
Полно других свободных королевств!
Уйди и унеси свой робкий голос!
А времени уже совсем в обрез,
И я решилась. Сердце раскололось.

По нотам электричество прошло,
И было мне ужасно тяжело,
Но я пропела, выжив эту пытку.
И время, мое время, истекло...
И жизнь моя свернулась, как улитка.

The Autumn Leaves

— Тексты и музыка измельчали. —
Произнесла ты, из чашки отпив
Вечнозеленого крепкого чая,
Вечнозеленый вплетая мотив

В нить разговора. Осенние листья
Медленно кружатся в кадре окна.
Ты независима, живописна,
Едкой иронией защищена.

Камешек в стекла! Ты вздрогнула рыбкой
И оглянулась. Робка... Бледна...
Ты, несомненно, играла на скрипке
В самые разные времена.

Поговорили на ходу

Ты субъективен и предвзят!
Опять! предвзят и субъективен.
Так было двадцать лет назад,
Так и сейчас... На этой ниве

Ты отрастил свой самомнень,
(Так и читай, тут нет ошибки!)
Мне тоже не до перемен —
Я саркастической улыбки

Скрывать не буду. По пути
Поговорим, и будем квиты.
Мы разучились быть детьми
Под этим небом ядовитым.

Идеи двойственной природы

Как мне потрогать небосвод,
Как мне достать с высот звезду,
Как мне из маленьких пустот
Слепить большую пустоту?

Как мне добро и зло сдружить
Одним решительным штрихом
И мысли путанные сшить
Одним продуманным стежком?

Как научиться отвечать
На твой вопрос ни «да», ни «нет»,
А просто мудрости печать
Нести на лбу, и весь ответ!

И как мне «быть» или «не быть»
Втащить в один и тот же дом,
И ум тревожный заменить
Алмазным солнечным умом?

В закулисном After-Party

В шоколадном послевкусии,
В арманиячном аромате
Ты теряешь нить дискуссии...
В закулисном after-party.

Голоса пересекаются
В разговорчиках спонтанных,
И вино переливается
В незатейливых стаканах.

Но твое сознание ясное,
Ведь сидит на стуле рядом
Это чудо синеглазое
В ожидании зарплаты.

Сыплет шутками и баснями —
Остроумное соседство!
И волна огнеопасная
Поднимается из сердца.

Наконец авансы розданы,
Но потерян где-то шарфик.
И мечта в румянце розовом
Улетела, точно шарик...

Хоть и острое, как лезвие,
Неслучившееся чудо —

Вся могучая поэзия
Появляется оттуда.

Утопическая мечта

Я не умру ни в сорок два,
Ни в шестьдесят, ни даже в семьдесят.
Когда исполнится мне сто,
Я тоже сразу не умру.
Не припечет меня молва,
Не огорчит худая пенсия.
И на себя я ни за что
Не наложу прекрасных рук.

Я не представлюсь и тогда,
Когда земля по швам распухнет,
Когда закончится история,
Когда наступит время тьмы...
Я вновь отстрою города,
Восстановлю дома и улицы
И заселю их только добрыми
И только честными людьми.

Сорок, круглое число

Сорок, круглое число,
К новой мысли привело:
Все задачи мне под силу,
Все решимо, выносимо.
Я — прозрачна, как стекло.

Сквозь меня ты видишь луг
И деревья, сорок штук.
Я смеюсь над всей наукой
И раскидываю руки,
Обнимая все вокруг.

Но и это не предел!
У меня есть много тел,
И одно из них летает.
Выдаю я эту тайну,
Чтобы ты за мной взлетел.

Все, кто верит в небосвод,
Приглашаются в полет!
Можно просто силой мысли
Унести легко на триста
Лет назад и лет вперед.

Разводящийся должен знать

Разводящийся должен обязательно знать,
Что развод — довольно будничное дело.
Он дает право на то, чтобы продолжать изменять,
Но уже без привязки к определенному телу.

Разводящийся должен быть осведомлен,
Что ему предстоит дележ имущества —
И его партнер сменит цвет, словно хамелеон,
И, как комар, превратится в кровососущее.

Разводящийся должен зарубить себе на носу,
Что не напрасны были его опасения.
Развестись — как ночью напороться на сук,
И треск будет слышен даже на Крайнем Севере.

Пожелание самокритичному

Нет, ничего не изменилось!
И в сорок шесть, как в двадцать два,
Ты все в такую же немилость
К себе впадаешь, и ботва

Твоих мозгов висит гротескно.
И ты совсем не защищен
От новых кризисов и стрессов —
Ты сам собой порабощен.

Что пожелать на день рожденья? —
Поменьше думай, больше ешь
И без суда и сожаленья
Ботву мозгов своих отрежь.

Репетиция

Сцена полна дыма «Made in China».
Ян симпатичен Лизе до отчаяния,
Но ему все шутки да прибаутки,
А она после каждой песни понимает смутно,
Что пространство рядом с Яном искривилось,
Свернулось в бант и потом раскроилось
На сотни белых ромашек,
На которых и гадать-то страшно.

Репетиция летит, как скорый поезд.
Жарко, Лиза снимает свитер, пояс.

Музыканты застывают в пол-обороте,
А Ян брюзжит о кривой Лизинной ноте.
Между прочим, она Лизе тоже не нравится,
Но зато она сейчас — красавица.
Пусть не звучит ее каденция,
Она как будто впадает в детство —

Скачет на одной ноге, хохочет паранормально,
Посылает Яну флюиды сигнальные.
Ломает ритм, дает петуха:
— Ну, извините, бывает, ха-ха...
В десять вечера приходит «подтанцовка»
С ее профессиональными уловками.
(Лизе никогда не давался пируэт).
Ян каламбурами засыпает балет.

Лиза решает не идти на сближение,
Пока не будет ответного жжения!
Решает: «Ян меня полюбит, клянусь блюзом,
Я стану его вечной музой,
Куда там балету с его батманами.
Не видать им Яна!»
Ян и Лиза вышли покурить при луне...
Оставим их наедине.

Портрет в подарок

Я шла по ист-двенадцатой со своим портретом в обнимку.
Обычным воскресным вечером между осенью и летом.
Свернула на Кони-Айленд в сумрачной дымке,
Там было все точно так же, как до портрета.

Русский клуб на углу, одиозный, мавзолейный.
Кафе «Турецкая кухня с доставкой на дом»,
Магазины: винный, цветочный, галантерейный...
Радиостанция, банк, химчистка... Все, что надо — рядом.

Даже солярий умудрился втиснуться в промежутке
Между парикмахерской и велосипедным магазином.
Почтамт напротив старой телефонной будки.
Свадебное ателье рядом с прокатом лимузинов...

Дошла до скамейки, развернула пакет с картиной.
Месть и лесть художника одновременны!
Сходства со мной там было наполовину,
А вторая половина была похожа на Лену.





Валентин БЕРДИЧЕВСКИЙ

ДАВАЙ ДОГОВОРИМСЯ!

Рассказ

Ранним утром, пятого января, в ударивший накануне тридцатиградусный мороз еду я в психбольницу.

Праздники, не перевалив еще Рождества, словно выдохлись. И, прежде чем рухнуть через пару дней к неизбежной своей кончине, с ее агонизирующими фейерверками, отвратительно судорожным шампанским и пугающими собак ночными стрельбами, оцепенели теперь в ледяной взвеси.

В семь утра город почти не подает признаков жизни. В полутемном, промороженном, как рефрижератор, троллейбусе лишь я да кондуктор — нахохлившаяся гряда тряпок на сварном насесте.

Водителя не видно. Его словно и нет вовсе. И легко представить, как неуправляемый, но неумолимо влекомый гигантским, укрытым в самой сердцевине ночи магнитом, мчит в никуда дребезжащий троллейбус, все убыстряя ход, мимо переметенных снегом остановок, по бесконечным черным улицам вечно ночного города...

Картина, скажем прямо, встает вполне себе безумная. Ну, да ведь я и сам большую часть своей жизни провожу на обочине здравого смысла, по ту сторону реальности, которая и на торной дороге не совсем то, что она позволяет о себе думать.

И маршрутом этим я езжу без малого двадцать три года. А сумасшедшие и вовсе мой хлеб...

Я психиатр. Веду прием в диспансерном отделении областной психиатрической больницы. Дважды признавался лучшим по профессии, имею высшую категорию, недописанную, в силу природной своей лености и недостаточной материальной мотивации, кандидатскую, кучу грамот и звание почетного донора.

Я здоров. Нахожусь, как известный персонаж, в самом расцвете сил, и ничего меня здесь особо не напрягает.

Место моей работы после ремонта сильно похорошело. Не так давно больничка с размахом отметила свое первое столетие, и от большого пирога нам тоже кое-что перепало.

Плитка, пластиковый водопровод, подвесные потолки сменили вздутый линолеум, облезлые, не крашенные со времен коллективизации стены и круглогодичную капель прогнивших труб.

Даже раздолбанные дорожки, по которым и посуху-то было не пройти, совместно с подвергнутыми трудотерапии больными к осени заасфальтировали.

Полгода диспансер лихорадило. Шум, пыль, долбежка. Регистратура ютилась в закутке, справа от входа, из которого на время убрали аптеку. Толчая, неразбериха с карточками; очередь спускалась с лестницы, кольцами тянулась во двор.

Но уж теперь... Аптеку, правда, назад так и не вернули. Пусть сумасшедшие с рецептами по городу помотаются. Зато в фойе просторнее.

Открываю заиндевелую железную дверь. На первом этаже прохладно, светло, непривычно пустынно. В регистратуре вместо шатких стеллажей установлены теперь бутафорские сейфы со сдвигающимися дверцами и колесиками вместо ручек. Обновленная конструкция, вероятно, символизирует новый уровень защиты врачебной тайны.

За стеклом — одинокая регистраторша Амина.

— С Новым годом! — она глотает гласные и улыбается. Впрочем, улыбается Амина всегда. Даже в будни, когда сражается с клубящейся очередью.

За стойкой, напротив, под щитом с расписанием врачей — охранник в тельнике и камуфляже, он же вахтер Петрович, с полгода как уволившийся из армии прапорщик. У него круглое красное лицо, толстая серебряная цепь с крестом и испепеляющая страсть к зимней рыбалке.

Здороваюсь, беру ключи от кабинета. Даже сегодня он все о своем: подлещики, чебаки, окунь...

— Олег Петрович, голубчик, — говорю я по-отечески строго, — грань между увлечением и манией тонкая, как апрельский ледок...

Пока поднимаюсь к себе на второй этаж, слушаю эхо собственных шагов. Пятиэтажное, чисто вымытое здание пусто. Даже дневной стационар, он наверху, распустили на каникулы.

Забавно, но не все мои коллеги с легким сердцем соглашаются дежурить в такие вот праздничные дни. Ну, кого сейчас можно встретить? Разве что тень отца Гамлета забредет? А ведь в будни на прием запросто может заглянуть не только сам принц Датский, но даже его автор собственной персоной, а то и в нескольких ипостасях.

В кабинете сажусь, наконец, за свой стол. Прием до двенадцати тридцати. Медсестры Леночки сегодня нет, и некому будет скрасить мужское одиночество.

Женщины — по злой воле Эльвиры Николаевны, нашего заведующего — с первого по десятое отдыхают. Завтра дежурить придет Леша Колбышев и до одиннадцатого все врачи вне зоны доступа. Если что — вызывайте скорую психиатрическую помощь.

Пока же я извлекаю из тумбочки подаренную мне в канун Нового года бутылку «Дойны» — чудесного, девятилетней выдержки, молдавского коньяка. «Дойна», как и многие ее собратья, несколько лет как исчезла с прилавков, и теперь меня гложет тревога: а не коснулся ли ветер перемен ее когда-то превосходного качества?

Есть, конечно, проверенный способ определить выдержку коньяка. Встряхнув бутылку, надо посмотреть, с какой скоростью стекают капли по стеклу. Но бутылка заполнена почти доверху, и это сильно затрудняет расчеты.

Пробовать же коньяк, по крайней мере, до конца рабочего дня в мои планы не входит.

Слаб человек и немощны усилия его, — вздохнув, я определяю бутылку в нишу на стеллаже между толстенным желтым томом Гурджиева и серо-зеленым избранным дедушки Фрейда. Выглядит очень гармонично, и видно бутылку только с моего места. Если и принесет сегодня кого-нибудь, то — будьте любезны! — присаживайтесь.

Стул для посетителей стоит напротив, и содержимое полок скрыто от них боковой стенкой шкафа.

Я же, усевшись прямо, упираю кончик языка в небо над верхними зубами, уголки рта приподняты, и впериваю немигающий взгляд чуть выше коричневой этикетки, в кристаллик света, мерцающий в глубине золотисто-медовой жидкости.

Солнце Дубоссарских виноградников. Горячий дурман луговых трав. Тяжелые головки цветов, запах просыхающего ночного дождя в глянцево-красных лепестках. Запах щекошет ноздри. На языке, уже в горле тягучая обжигающая влага.

Кожу на лице пощипывает горячее полуденное солнце. Обволакивающее тепло, волна за волной, поднимается к темени...

Если я до конца приема не напьюсь, это будет означать сокрушительную победу моего нестигаемого духа над моей же изнемогающей от жажды плотью, но куда важнее был бы совсем иной результат.

Когда-то, еще в бытность мою студентом-медиком, писал я курсовую по теме «Влияние внушенных органолептических ощущений на биохимический состав крови».

Суть работы была предельно простой. Я погружал своего товарища по комнате в общежитии в состояние гипнотического сна, после чего он выпивал 100 (сто) граммов чистого медицинского спирта. Для молодого, привыкшего к большим нагрузкам организма доза, разумеется, опасности не представляла.

Установка, которую он получал, была нехитрой: «В стакане вода!»

Пробужденный по моей команде, он не только оставался трезв, но смело мог быдохнуть в трубочку самого озабоченного гаишника.

Спирт полностью расщеплялся на воду и сахара!

Обратный же ход у меня решительно не получался, что приводило меня к мысли о том, что разница между сотворенным Спасителем чудом обращения воды в вино и медицинским экспериментом все-таки существует.

Но боль давней неудачи не смогла убить во мне исследователя. Получить доступную методику дистанционного опьянения — это ли не цель для настоящего ученого?

Вот уж поистине был бы вклад в сокровищницу мировой культуры. А где, как не в психбольнице, его и вносить?

Иногда мне кажется, еще один подобный юбилей — и пафосную литую надпись над главным входом: «Учреждение высокой медицинской культуры» можно будет оптимизировать до простого «Учреждения культуры».

Да если б в память о каждом ее деятеле, когда-либо зависавшем в этих кирпичных, цвета свежих внутренностей, корпусах, осталось хотя бы по скромной мемориальной доске, безобразный административный корпус облагородился бы мрамором, по крайней мере, по самые свои решетки...

Вот, говорят обыватели, пока не побывавшие у нас, — дурка, психушка, клейкая лента для потерявшихся насекомых...

Невежи!!! Да психбольница — тот же театр! В регистратуре, точно в театральных кассах, — всегда аншлаг. Залитые ярким светом коридоры полны. Тихие стайки погруженных в себя пациентов-зрителей плавают в ожидании как будто одного, и все же каждый надеется получить здесь свое.

Кажется, большинство из них я встречаю в обоих этих местах. Некоторые верят в излечение. Иные надеются по билетам получить ответы на вечные вопросы от вечных же, как персонажи Стокера, каких-нибудь «Трех сестер».

Но, главное, что роднит оба учреждения — сговор! Сговор о взаимном доверии. Разве не о нем взывал классик: «Верю — не верю?!»

Больной верит врачу. Зритель режиссеру. Психиатрия и театр заняты одним делом, имя которому — экзорцизм (примитивная форма целительства).

Актеры — то же евангельское стадо свиней! Разве не сказал Чехов о них: «Пустые, насквозь прожженные самолюбием люди»? Именно внутренняя пустота — суть актерской профессии. Чтобы было куда войти временно покинувшей зрителя нечисти.

Конечно, напрямую ее никто из зрителя не изгоняет. Это иной уровень исполнения. На сцене клубятся акцентуализированные личности-психопаты всех мастей, параноики, больные всеми формами шизофрении, психозами, депрессиями, навязчивыми состояниями и прочая, прочая... из списка психических заболеваний, приводящих в жизни, в лучшем случае, к инвалидизации больного.

Страсти, смерть, сгусток всех мыслимых грехов — репертуар любого успешного театра!

И вот, повинаясь всеобщему физическому закону, согласно которому все вращается вокруг собственной оси и падает, одновременно, к ближайшему центру тяготения, отдельные сущности исходят из зрительного зала на сцену, к сгущению себе подобных.

Актера никак нельзя лишать роли! Лишь в роли он заполнен, пусть временно, пускай и чужой личностью, и только этим жив бывает. Без роли пустота его пожирает душу его. Что это, как не грех лицемерия, возведенный в образ жизни? Но и это жизнь...

«Актеры — скот, — сказал как-то один очень маститый режиссер. — А скот или стригут, или режут».

Цинично, но понимание сути вопроса у него сопоставимо только с врачебным. Правда, и сам мэтр лишь старая клистирная трубка. А хороший спектакль только клизма для души.

Ну, и ладно...

Мысли мои постепенно рассеиваются, бегут, как легкие облачка, не задерживаясь, легко скользя по прозрачному голубому небу. Я уже чувствую: я на пороге, вот-вот все у меня получится.

Волны, нет, еще только их предощущение, предвкушение такого долгожданного опьянения подступает, начинает окружать, легко отрывает меня от пола.

И тут дверь в кабинет открывается. Входит, не постучав, Амина.

— Скучаете, Виктор Васильевич? А я вам больного привела!

И жестом Деда Мороза, раздающего подарки на детском утреннике, она кладет передо мной тонкую белую папку.

— Некогда нам скучать. Представляешь, по данным ВОЗ, сорок процентов населения Земли нуждается в психолого-психиатрической помощи.

Узкие, сильно загруженные макияжем глаза Амины округляются до миндалевидных. Но она все еще улыбается.

— А остальные, — я зловеще поднимаю палец, — у нас просто не обследовались!

Она наконец исчезает.

Твою мать! Похоже, просветления мне сегодня не достичь. У нас, конечно, не театр, мы тут ничьих тараканов не сублимируем...

Потерев лицо, чтобы окончательно «вернуться», я водружаю на нос бутафорские очки в тяжелой роговой оправе. Настоящие очки мне пока не нужны, но так солидней и у некоторых больных отбивает охоту праздно изливать душу психиатру.

— Заходите...

Посетитель молод, худ, сильно сутулится. Прежде, чем он успевает присесть, замечаю, что голова его мелко подрагивает.

— Со сном у меня плохо, — говорит он глухо и замолкает. Лицо его, потухнув, сжимается в кулак.

Я никак не могу его разглядеть:

— И вы пришли за снотворным...

— Нет. Я сплю много. Я все время сплю... Но во сне я становлюсь другим... человеком.

— Солнце мое, и наяву-то люди не такие, как о них думают!

— Я его знаю. Мы в армии вместе служили. Во сне я в нем. Я даже он, но одновременно я еще я. Только меня теперь совсем мало...

— Там народу есть?

— Где?

— В регистратуре...

— Нет там никого...

— Ну, тогда все сначала и по порядку.

Поерзав, он начинает что-то рассказывать, монотонно, очень глухо, почти не интонируя.

А я рассеянно, чтобы не смутить, рассматриваю его. Среди моих коллег бытует мнение, что опытному психиатру достаточно двух минут, чтобы определить, болен человек или нет. И для этого даже не так важно, что он говорит. Мне, обычно, хватает минуты. Но тут, кроме следов многолетних занятий боксом и землистого, ни кровинки, цвета лица, я ничего не вижу. Слипшер хренов! И я начинаю прислушиваться.

...Служить я попал в Волгоградскую область, во внутренние войска. После курса молодого бойца ребята стали проситься, кто в артиллерию, кто в саперы. А мы, впятером, только в разведку.

Мы еще в поезде, когда ехали, думали, как бы нам в спортроту попасть. Нас там пять спортсменов было. Офицер с нами ехал, сопровождающий, сказал, — спортроты нет. Есть разведрота, тренировки каждый день. Мало не покажется.

А тут канун двадцать третьего февраля. Впереди первенство части по рукопашному бою.

Нам говорят: в разведку, — тесты разные. Или в соревнованиях поучаствуйте, мы посмотрим.

Выступили мы хорошо, нас заметили. Я даже в сборную части сразу попал.

А в разведроте служить было интересно. Стрельбы, тактика. Налет, разведка, засада, поиск. Горная, водная подготовка. Постоянные марш-броски с полной боевой.

Учили нас не по шаблону. Офицеры свой опыт передавали. Им и по тридцать не было, а у каждого по три-четыре войны за плечами. Три взвода у нас было. Один — условный противник, второй, третий — догоняют. У каждого свои вводные.

Выбросят нас за Дон, и начинается. А кормили нас хорошо, вкусно кормили. В разведроте еще и доппаек, — сгущенка, соки, масла двойная норма.

А потом в Дагестан перебросили.

Почаствовали мы... Много операций и ни одного раненого, ни одного убитого. Брали объекты, засады устраивали.

Дошло до того, что за голову комроты пятьдесят тысяч долларов обещали. Кизляр, Махачкала....

Пока в сентябре не получили приказ — захватить ретранслятор в горах. Вышка там с радиоаппаратурой стояла. Народ к войне призывали.

Разведрота наша захватывает гору, бригада село штурмует. Мы сверху огнем поддерживаем.

Погрузили нас в крытые КамАЗы, скрытно провезли через блокпосты. Десантировали уже в горах.

Всю ночь поднимались, ни одного привала. Проводника местного взяли, он такими тропками вел, дух захватывало.

Ближе к рассвету он уперся: — Все. Дальше не пойду... Метров, — говорит, — сто пятьдесят, и вышка будет...

Пошли мы. Ядро группы, головной, боковой дозор.

Головной докладывает: — Вижу боевиков.

Уточняет: — Вижу ретранслятор. Охраняет один человек.

Рота разделилась. Нас, второй взвод, с одной, первый и третий с другой стороны.

Тут комвзвода подзывает двоих наших снайперов и еще одного, прикомандированного, из спецназа «Русь». У него винтовка бесшумная, без вспышки.

А дождь все моросит, скользко. Толком еще не рассвело, видимость никакая.

У вагончика боевик топчется. Здоровый такой, бородатый, как в кино показывают. Да еще и ОЗК натянул, человек-гора.

Командир говорит: — Если он промажет (снайпер из «Руси»), с первого не убьет, тогда наши стреляют. Все равно себя обнаружим.

Но он не промазал. КМС по стрельбе, и винтовка не то, что у наших, «Драгунов»... Точно в шею попал, с первого выстрела уложил.

За руки, за ноги в сторону его перетаскили. Командир одними губами: — Вы, снайперы, в те окопы. Мы врываемся в вагончик. Вы нас, если что, огнем подержите.

И пошел первым.

Ребята тихо все сделали. Ветка нигде не хрустнула, да и сумерки еще не разошлись. Как тени вагончик окружили — и к двери.

Только внутрь, а оттуда такой огонь!..

Парни назад отошли, а лейтенант лежать остался, он первым был, на себя все принял.

Огонь настолько плотный был, что залегли все за камни. И тут, Илюха, пулеметчик наш, пулемет свой бросил и под таким огнем, согнувшись, обратно к вагончику. Под пули.

— Куда?! — орет. — Ложись!!

Вытащил он старшего лейтенанта. В руку и в голову тот ранен оказался. У него мозг уже из раны вытекать начал. Он потом в госпитале умер.

А два боевика, что в вагончике оставались, выскочили и вниз, к селению. Как раз на первый взвод. Их в упор и расстреляли...

А мы начали окапываться. Почва — камень. Хороший окоп не выкопать. Я копал, пока лопатка саперная пополам не согнулась. А туман такой, — три метра и ничего не видно.

Торопились, надо было к рассвету успеть. Бригаду огнем сверху поддержать. Но что-то там не срослось.

Как после сказали, боевиков в селе оказалось в разы больше, чем было известно из разведданных. На штурм идти — надо хотя бы четырехкратное преимущество иметь. А получилось примерно поровну. Все равно бы село не взяли. Все бы там полегли. И на штурм не пошли...

А боевики, поняв, что вышка захвачена, пошли ее отвоевывать.

Поднялись они быстро — местность для них знакомая, туман не помеха. С соседней вершины мы хорошо просматривались.

Нас у вышки было пятьдесят четыре, с контрактником пятьдесят пять. А их около пятисот.

Но мы ничего этого не знали! Окопы, как могли, выкопали, костер развели, завтрак готовить начали, тушенку разогреваем.

Неожиданно туман рассеялся. Резко так, минуты не прошло. Стало так красиво! Кругом зелень после дождя блестит. Внизу село как на ладони. Ясно так, как только в горах бывает. Все даже замерли. Замолчали. Тишина несколько секунд стояла полная...

И вдруг началось. Такой огонь ударил!..

Боевики с соседней горы били. Работали двойками — снайпер и пулеметчик. Ребята только успели в окопы попрыгать. Лежим, в камни вжимаемся. Окопчики мелкие, голову не поднять. Пули над нами, только камни сыпятся.

Остальные боевики взяли гору в кольцо и поднимаются.

Отстреливаться толком невозможно. Чуть шевельнулся, снайпер с соседней вершины бьет. Так, автомат выставишь, постреляешь. Гранату бросишь.

Долго держались. Часа четыре. Потом из соседнего окопа к нам Витька Солома-тин перебежал. До сих пор удивляюсь, как он при таком плотном огне перебежать смог? И не ранило, не убило его...

Витька кричит:

— Парни, Колю убило!!

А у них окопчик впереди был. Коля — пулеметчик, он боевиков первым встречал. Из-за него они к нам подойти не могли.

— Может, показалось?

— Нет, убили. Я ему сам глаза закрыл. Когда ленту менять стал, его снайпер точно в глаз убил.

В том окопе еще Паша Птицын оставался, один. Он кричит:

— Пацаны, прикройте! Я к вам бегу!

А мы ему:

— Паша, подожди! Прикрыть не можем пока!

Так и перекрикивались через грохот.

— Птица, ты как?!

— Нормально!

— Смотри, чтобы через тебя не прошли!

— Хрен пройдут через меня! Устанут проходить!..

И вдруг он замолчал.

Мы ему:

— Птица, ты как?

Тут грохот на миг прекратился. А в ответ стоны:

— А-а-а...

Ему в окоп граната попала. Таз ему весь разворотило. Умер он быстро...

А боевики идут. Совсем близко уже. Голоса слышны. Слова отдельные разоб-
рать можно.

Нас в окопе восемь человек было. У каждого свой сектор обзора, чтоб не про-
пустить. Чтoб не подбежали близко, в упор нас не расстреляли. Лежим мы так,
каждый на свой участок между камнями бруствера смотрит. Вдруг, не знаю зачем,
голову назад поворачиваю.

Смотрю, у Артема Каледина, он с другого края лежал, на спине граната лежит,
Ф-1. Гранаты и до того падали. То дальше, то ближе, со всех сторон сыпались. А
тут точно. И на спину ему...

А он не чувствует ничего. Там же боль, грохот, горячка. Подумал, может, его
кто прикладом или локтем задел. Или еще что...

Ф-1 граната серьезная, оборонительного действия. У нее разлет двести — двести пятьдесят метров. Если б взорвалась, там месиво было бы...

Когда чеку выдернешь, кидаешь, три-четыре секунды — и взрыв. А боевики, что поопытней, выдернут чеку, одну-две секунды подождут и бросают. Чтоб уж наверняка. Чтоб обратно не выбросить...

Но, тут, видно, неопытный кидал. Хотя время в бою по-другому течет. Это правда. Я смотрю — она лежит.

Я к нему, через ребят, но тут Вова, снайпер наш, он рядом лежал, как почувствовал что-то. Схватил гранату и донес до бруствера. Медленно, показалось, медленно... Взрыв...

Головы подняли, он кричит:

— Ребята, я гранату выкинул!..

Смотрим, а у него правой кисти нет. Ногу ему еще посеколо, кровь штаны заливает.

Еще Женьку ранило. У него больше двадцати осколков из головы достали. Но он жив остался. Только левую сторону парализовало. Правда, потом она разработалась. Но и сейчас видно: идет, а одна сторона не догоняет.

А мы все лежим, отстреливаемся, но патроны уже кончаются. По рации подмогу запрашиваем, а нам одно:

— Инициативу не отдавать! Держаться до последнего!

А до последнего — что ж? Мы, когда служили, нам офицеры, что не одну войну прошли, говорили:

— В плен сдаваться не вздумайте! Последний патрон для себя, только не плен. Замучают...

Ну, лежим мы так, а Женька, он же в голову раненный, лежит лицом вниз. Его тошнить начало. Он стал захлебываться. Локтем ему голову чуть поднимешь, чтобы рвота наружу вытекала, и снова вниз.

Потом Ленька Мухин кричит:

— Пацаны! Что у меня с глазом?!

А ему глаз выбило. Мы ему:

— Муха, терпи! Нету глаза!

А боли тогда не было. Ни у кого боли не было. Шок, адреналин. Боль в бою не чувствуешь. Боль потом приходит...

Артему, у которого гранату со спины сняли, и Коле-пулеметчику, которого первым убили, им родители повязали такие черные пояса-обереги. Там еще молитва написана.

И везде они с этими оберегами. В баню ходили, кушать... Никогда их не снимали. И вот Артем начал молиться. И, видно, позу поменял. Чуть приподнялся ненароком. Голову повернул так неудачно. И его снайпер в голову убил.

А мы все лежим. Лежим, уже не надеемся. Все. Помощь не придет. Последний патрон берегли. Если что, в себя...

Мне кажется, я уже тогда умер... За минуту до того, как снайпер мне в голову попал.

Наших в том бою пятеро погибли. Трое там и двое потом в госпитале от ран умерли. А всего двадцать шесть раненых. Разной тяжести...

Радиста нашего, когда последний раз помощь у бригады просил, его другие слышали. На нашей волне были. Услышали, что разведка помощи просит. Отряд спецназа «Русь» нас услышал.

Видно, где-то неподалеку были, со своим заданием. Они со своим командованием связались, запросили:

— Там разведка в окружение попала. Разрешите помочь?

Командование дало добро...

А боевики нас уже в плотное кольцо взяли. Поняли, что патроны у нас кончаются, почти вплотную подошли.

Все, думаем... Еще минута, две... и последняя пуля...

И тут спецназ вышел со стороны леса и шквальным огнем отбросил боевиков.

Подошли к нам. Собрали раненых, убитых. Тогда только подполз к нам наш санинструктор, старший прапорщик, и вколол промедол.

Боль все не приходила, но ребята боялись — вот-вот начнется.

Вовка, у которого кисть оторвало, просит:

— Уколите еще!

А у прапорщика слезы по бороде текут:

— Вован, там столько раненых! Промедола на всех может не хватить. Давай я всех обколю, если что останется, я тебе еще вколю!

Ну и все... Собрали нас, раненых, убитых, расстелили плащ-палатки, положили и понесли. Разделились на две группы, одна прикрывает отход (боевики нас все время преследовали), другая уносит убитых и раненых. Кто устает нести, идет прикрывать отход.

Меня Паша Филимонов нес. Сам раненый, его снайпер по касательной в голень ранил. А там кочки, кочки... Плащ-палатка подо мной о них терлась, терлась и прорвалась. Я из нее и вылетел. Был бы жив, снова убился бы, наверное.

Тогда пацаны взяли автоматы, по двое за дуло и приклад, а ремни мне под спину. Так меня на этих автоматах и тащили. Часов пять тащили, высота-то большая. Мы отходим, а боевики все время следом, не отстают.

Когда к подножью спустились, там уже ждали нас. Внутренние войска. Дагестанский ОМОН. Тогда только отстали.

Нас сразу в машины погрузили. Ребята, кто цел остался, рядом. На руки взяли, бушлатами накрыли, и в госпиталь... Там анестезия, и стали к операции готовить...

Кажется, я с тех пор и сплю. А как жить, если все спишь, и сны эти душу до корки высасывают? Если не умер, так жить надо, или уж умереть совсем, успокоиться... Устал я от такого, не могу больше лежать, понять хочу.

Как все так вышло? Рота наша уже ночью в горы пошла. Утром штурм начаться должен был. А на рассвете вдруг оказалось, что боевиков слишком много. Кто за ночь их посчитал? Какая разведка? Мы сами разведка... Когда пять сотен в гору пошли, ретранслятор отбивать, село, выходит, пустым осталось?

Что ж, нас подыхать бросили и сами в село не вошли. Может, я чего не понимаю, думал. Не солдатское это дело, понимать.

Сам искал им оправдания, мне оно нужней было: раз боевики ушли, зачем в село входить? Знаю, слышали: каждый мнит себя стратегом...

Но нас-то даже не пытались спасти! «Держитесь, — говорили, — до последнего!»

Знали ведь, выбора у нас нет. Так и так в ад, всех пацанов, строим!

После бы роту геройски погибшей объявили. Срам свой за чужими могилами спрятали.

Почему боевики не сами себя, а друг друга. Чтоб живыми не сдаваться.... Веруют разве больше?

Почему «Русь» только нас услышала? Почему бригада сама помощи у соседей не запросила?

Может, пацаны бы живы остались, может, и я бы пулю поймать не успел...

Парни, что с берегами погибли, говорили: на все воля Божья. Как же это? Они ведь молились все время. Родители их, знаю, молебны разные заказывали.

Взводный наш, что в вагончик первым ворвался, он Афганистан прошел, первую Чеченскую, вторую, а тут...

Пулеметчик, он их несколько часов сдерживал, мы голову поднять не могли. Птица один в окопе отстреливался, мы ему перебежать не дали, может, жив бы остался.

Гранаты все обратно выкидывали, почему Вован — Герой? Он, что, собой ее накрыл? Свою жизнь спасал, наши только заодно со своей. А нужна мне такая жизнь, ни жить, ни умереть, меня об этом спросили?! Может, лучше остался бы там, у вышки, и конец морoke...

Я с тех пор и не живу, сплю только. Ну и ладно бы. Но во сне другая жизнь приходит, не моя. С этим-то что делать?

Вначале я даже радовался. Во снах жизнь была, девушки.

Вот я вроде курсант. Жив, здоров, форма на мне снова. Вот на машине новой по городу еду, и лихо так. В президиуме сижу, все вокруг суетятся, а я сижу. Я будто всё наверху, выше других. И хорошо мне от этого. Запомнить старался, как-то историю выстроить из мелькания, впрок жизнью запастись. Жить-то, на самом деле, хотелось, наверное.

Но скоро понял, сны не мои! То есть сны-то мои, но жизнь в них чужая. И я уже гадавался, чья. Во сне я все левой делал, и ловко так делал, будто с детства левша.

Пригляделся, — я уже научился тогда «картинку» останавливать, мир чужими глазами видеть, — а на правой-то у меня протез!

Тогда и сложилось все. Вован письмо министру нашему написал. Для него, как для Героя, исключение сделали. Он в училище наше поступил. Куда-то там избрали его, председателем обществ разных сделался. Свадебный генерал, короче, и все у него в шоколаде.

И я его возненавидел! Может, больше за то, что так долго его жизнь за свою принимал. Умом понимаю, не за что мне его ненавидеть, любой бы на его месте гранату выкинул. Так фишка легла. Но ненависть не проходит! Куда-то мне выместить ее надо. Ломает меня от этого! Я убить его хочу. И знаю теперь, что могу. Во сне я в нем. Вижу его глазами, руль одной левой кручу, лихачу. Баб его...

Вот он жениться осенью собрался, дом строит. Невеста его, то ли Юлия, то ли Вика, я во сне плохо слова разбираю, больше вижу или так знаю. Он с ней или ночью в парке, или на людях почти, чтобы на нерве. Просто так не может.

А у меня невесты нет. У меня ничего нет, даже жизни своей нет! Только одно желание осталось — убить. И ведь могу! Я за него теперь не только в постели обломаться могу, я руль повернуть могу. Раз... и на встречу! И все кончится. Сны мои кончатся...

А убить хочу. Хочу и могу, оттого, наверное, не убиваю...

Он замолчал, будто раздумывая, продолжать ли еще. Но темные губы уже слиплись, взгляд сделался потухшим. Невидящими глазами уставился он за мое плечо, в черное по-ночному окно.

— Ну да, ну да...

Подождав немного, я отложил ручку. Пока он говорил, я все черкал на листе какие-то рисунки, значки. Непонятные мне самому схемы, мудреные спиралевидные конструкции.

Сумасшедший наоборот на мою голову! А ведь так хорошо день начинался... У нормальных-то психов в их больную голову обычно другой кто-то подселается, мысли разные напечатывает, картинки показывает. Этот же сам в чужой голове окопался, и я его теперь оттуда выуживать должен. Не то он, видите ли, убьет Героя в собственном сне. Верю — не верю?.. Станиславский, твою мать!..

Галлюцинаторный бред! Срочная госпитализация! Галоперидолом тебя лечить надо, в лошадиных дозах, пока не поздно. Впрочем, поздно уже давно было...

Этого я ему, конечно, не говорю. Лучше так, на его языке.

Вот твои вводные. Несправедливость. Противоположные чувства к одному и тому же человеку. И, наконец, сны.

Касаемо несправедливости. Не секрет, что подвиг обычно результат чьего-то разгильдяйства. Часто он совершается из страха. Страх за других, за себя, страха подвиг не совершить, струсить, проявить слабость. Бывают спонтанные, почти мгновенные действия, не связанные с осознанным самопожертвованием. Это случай.

Несправедливость в чем? На войне атеистов не бывает. По крайней мере, в судьбу верят все. Так вот, ваши окопные жизни оказались нужны этой самой Судьбе. Зачем, вопрос не к психиатру. И Герой ваш, вернее, рука его, — всего лишь рука Судьбы, которая, после совершения действия, руку свою обратно у него забрала.

Блага же, свалившиеся на него, всего лишь небольшая компенсация за ваши, нужные, возможно, куда больше, чем его, жизни. Вряд ли бы он сам, добровольно, совершил бы этот обмен. Он только орудие! А орудие ненавидеть глупо.

Командование, что вас бросило, — Бог им судья. Парни же, что обереги носили, да и погибшие все, — это Господь их спас!

Уберег души их от невозвратных потерь, от греха самоубийства. Даже «смотрящие» на небесах до конца точно не знали, чем дело кончится. Не все на Земле предрешиено.

«...да будет воля Твоя, — сказано, — яко на Небеси, и на Земли...» Молится, выходит, остается за то, чтобы здесь было, как там, наверху, и делать то, что надо делать. Что вы и делали...

Раз ты спасен был, значит, нужен был. А если нужен, значит — должен. Нужен и должен — достаточный смысл жизни.

Теперь о твоём желании убить. Хочу убить и не убиваю. А у кого не так? «Царь в голове» — нынче большая редкость. Чаше с утра один, в обед другой, вечером вообще пиво пить пошел. И каждый косячит, как халиф на час, в полной уверенности, что имеет право. А расплачиваться-то другому или всему целому. И хорошо, если не всю оставшуюся жизнь.

Отсутствие единства заложено в нас природой.

Отче наш... Мы, выходит, дети Его. Но мы и рабы Его, что вовсе не одно и то же.

Весь вопрос в умении договариваться. В доверии, но никак не в вере.

Вера спасает лишь, когда весь ты веришь, но кто теперь так верит?

С доверием много проще. Доверие — это вера на разумных началах. Мы еще не верим, но уже доверяем, доходим до веры, добираем ее разумом, осознанием жизненной необходимости веры.

Доверяем — значит, верим тому, что думаем, но при этом всегда думаем о том, чему верим.

Доверие помогает сохранить рассудок. Доверие лучше маловерия.

Маловерие — игра с верой, игра в веру. Лицемерие, актерство — суть внутренняя пустота. А пустота необходимо заполняется. И, перекрестившись, мы идем к гадалкам, магам, экстрасенсам.

Мы сами садимся между стульями, а после недоумеваем: что это с нами?! Откуда такой аншлаг в психушке?

Доверие — единственный способ примирить разум и веру, не проломить хрупкий лед над бездной безумия...

Этого, однако, я тоже ему не сказал. Пока речь готовил, передумал. Краткость, говорил мой завкафедрой, и психиатру сестра.

Что ж, выходит, в семье не без урода. Но парню при всем желании столько не съесть. В его голову и так много чего прилетело.

И я говорю:

— Солнце мое! Этого бояться не надо. Выпишу таблеточки, азалептин, по 0,25 мг. Доза минимальная, считаешь инструкцию, будет нужно, увеличишь до 100. Через месяц ко мне. Современный нейролептик, легкий, плющить не будет. И снотворное попьешь. Шесть-семь часов сна, утром встаешь, как огурчик, и без привыкания.

Знал бы ты, кто в этом кабинете на твоём месте сиживал. И у больших людей проблемы случаются.

Возьми хоть Наталью Бехтереву, да-да, внучку того самого, великого. А ведь директор института мозга была! По молодости тоже чужие мысли слышать начинала, даже развивать способности пыталась.

Так вот! Вовремя спохватилась. Ни одних переговоров провести не могла, ни одного совещания.

Представляешь, что она о себе слышала? Но, попила таблеточки, сама себе, благо, и выписать могла, способности и ушли. И сны чужие у тебя уйдут, свои-то видеть перестанешь.

Положив перед собою чистые рецептурные бланки, достаю из сейфа коробочку с печатями.

О, времена! Четыре печати на рецепт! По спецназначению...

Тяжела ты, жизнь психиатра...

Но мой больной неожиданно поднимается.

— Я ухожу.

Голос его звучит нутряно, глухо. Темные губы не шевелятся, как у чревоушателя.

— Леонид Петрович! Вам совершенно необходимо лечиться! Не хотите в больницу, я вас в дневной стационар после праздников устрою. А пока, — я стараюсь быть убедительным, — если хотите вернуться к нормальной жизни, попринимайте лекарства. Аптека на Иркутской, в двух шагах отсюда...

— Вернуться, — повторяет он эхом. — Пора вернуться...

Тусклые, замутившиеся глаза его становятся незрячими. Пятясь на негнувшихся ногах, он исчезает, забыв притворить за собой дверь.

Я еще слышу, гулко, издалека:

— Он просто рука...

И шаги его затишают в чисто вымытом пустом коридоре.

«Просто рука...» Кажется, парень, действительно, слышит мысли.

— Прием окончен, — говорю я и достаю телефон. Мне срочно нужен Интернет, а компьютеры в кабинетах выхода в сеть не имеют. Вдруг злодеи решат похитить персональные данные тысяч наших больных...

Торопливо набираю: «Лопухин Леонид Петрович».

Перехожу по ссылке.

«...смертью храбрых... в 1999 году... во время проведения спецоперации... награжден... посмертно...»

Смотрю еще раз, не веря, в карточку: «Лопухин Леонид Петрович. 1980 года рождения...»

Звоню по внутреннему:

— Амина!! Мой больной не проходил?!

— Только что вышел... А что вы на меня кричите, случилось что? — в голосе регистраторши сквозит неподдельная обида.

— Ничего...

Я кладу трубку, и на этом мои душевные силы иссякают. Даже сталь без при-
садок — штука довольно хрупкая.

И я достаю «Дойну».

Вытащив пробку, щедро, до стограммовой риски и выше, до краев, наполняю узкую лабораторную мензурку. Подхожу с коньяком к новому белому платяному шкафу, распаиваю створки.

С обратной стороны большое зеркало медсестры Леночки. Не люблю пить в одиночку.

Из зазеркалья на меня смотрит высоченный справный мужик в бутафорских роговых очках, толстом исландском свитере (дресс-кода у нас нет) и с седой щетиной на круглой розовой голове.

Во что мы верим, то для нас и реальность. И потому иногда, как антидот, необходима не вера и даже не хваленое мною доверие, а неверие!

Неверие даже очевидному. Но «...дедушка говорит: бурундук — птичка, значит, — летат?!» С этим-то что прикажете делать?

А выкусить! Бурундуки не летают. И даже когда я своими собственными глазами (а зрение у меня, как я уже говорил, до сих пор «единица») увижу парящего в небе грызуна, я не поверю им!

Иллюзия, обман зрения, пить надо меньше... — скажу я себе и пойду дальше своей дорогой.

Раз и навсегда я договариваюсь, вступаю с собой в сокровенный и самый нерушимый из всех возможных сговор: я не верю в то, что не укладывается в рамки моего персонального представления об этом мире.

Не верю, значит, и быть такого не может!

— Так выпьем за сговор! — с пафосом предлагаю я своему отражению. — Сговор между верой и неверием, между разумом и безумием. За тонкую невидимую грань, разделяющую два мира, за единственную границу, которую человеку лучше не нарушать.

За рассудительность, которая больше мудрости!

И бережно, чтобы не пролить ни капли, я поднимаю наполненную до краев мензурку.

Двойник в зазеркалье, с точностью повторяя мои движения, охотно тянется ко мне.

И коньяк при этом, поправ законы отражения, он тоже держит в правой руке...



Юрий ЖЕКотов

Секреты лесной избушки

Нашел я эту лесную избушку по сентябрю, когда в неурожайный для грибов год в поисках опять и маслят заблукал в глухом распадке. Неброское с виду жилье, но с полным комплектом услуг: печка-буржуйка и топчан подле нее, сколоченный из двух широких досок. По другую сторону столик, прикрепленный одним боком к стене; полка над столиком с разномастной и выдавшей виды посудой; топор, пила... Но из главных достоинств местного таежного сервиса — лесная песня ручейка, родниковая вода круглый год. Навес из хвойных веток на жаркий день, запас валежника в ближайшем ельнике для холодного периода. Вросла в землю лесная гостиница, слилась выцветшими бревнышками с осенними красками леса, с местностью. Но гостям отворот-поворот не дает — приходи и живи.

Огляделся: давно сюда никто не захаживал, заросла тропинка, в дремучей паутине углы, настоялась в хоромах вековая сырость. Что тому причина, неведомо: состарился ли бывлой хозяин или за оскудением местных сопок зверьем перестал охотник пользоваться лесные владения? Не было у меня тогда времени, чтобы надолго здесь остановиться, разгадывать тайны теремка, но приглянулось местечко. А когда зима укрыла снегом лесные дорожки, а лыжи, хранящиеся дома, основательно намозолили глаза, решил прокатиться до таежного домика, попроситься на постой. Хотя у кого там проситься? Буду сам по себе, кум королю, сват министру, властитель и повелитель!

Да и кто зимой в лесной избушке хозяин? Разве только мороз, пробравшийся внутрь и за отсутствием живых душ от скуки пощипывающий бревнышки, да ветер, что, готовя вьюгу, пока репетирует новые зимние симфонии в печной трубе. Вот, пожалуй, и все постояльцы.

Избушка еще больше замаскировалась, утонула в сугробах, на крыше — целая куча снега. Не знал бы точных ориентиров, проехал бы рядом и не заметил. Очистил дорожку к двери, натаскал и нарубил валежника, а как занялись огоньком сучкастые полешки, убежал из теремка мороз, улетел в таежные просторы и ветер.

Засвистел чайник, и я в предвкушении скорой трапезы довольно потер руки, принялся собирать ужин. Вынул из рюкзака хлебушек, сальце-мальце, колбаску, консервы, горсть карамелек и разложил разносолы. Достал зеленое, с кислинкой яблоко, и украсил им стол, чтобы пир горой! Помельчил, порезал, что нужно. Со стороны посмотрел — ну, скатерть-самобранка и только! Красота — жалко трогать.

Однако пища для того, чтобы ее есть, а не любоваться. Поднес ко рту самодельный бутерброд на первый прикус, да так и остался с отвисшей челюстью — вроде застрял кто старчески в избушке. Странно! Может, в печке сучок стрельнул замысловато? Да прогорело там уже почти все, и шум не оттуда. Ну и дела! Скорее всего, поспешил я с выводами, не осмотрелся, как следует, главного хозяина и не

заметил. Что же делать? Иду на попятную. Отложил хлебушек с начинкой в сторону: «Извиняйте, конечно, не знал, проявил бескультурье, к столу не пригласил?!»

Но кто такой? Где прячется? Может, кутается под нарами в старом тряпье тутошний жилец или завелся здесь зверь какой неведомый? Заглянул под нары — никого нема! Но не лешак, не домовый же, в самом деле! Хотя кто его знает?! Наверное, решил без свидетелей объявиться! И как с ним говорить, какие темы поднимать, я не знаю.

Кашлянул ему пару раз в ответ, мол, тоже хаживали, опыт кое-какой мало-мальский имеется. Таежные традиции блюдем. Просим проявить ваш местный образ. Покряхтим вместе. Есть повод, полюбил и я эту избушку, но на привилегии и особое положение не покушаюсь. Но если не погоните, то у меня на этот случай во фляжке есть, что полагается, для согрева, для знакомства. Берег, как неприкосновенный запас, а теперь для аппетита и сгодится! Просим к столу, не побрезгуйте, отведайте, чего хотите, не царская трапеза, конечно, но все же. Вот — даже фрукты имеются!

Опять буркнул кто-то, да так недовольно — со скрежетом, с шипением, не человечески. Но смысл понятен: «Ну чего приперся? Расшумелся, бедлам устроил! Шастают тут всякие! Житья от вас спокойного нет».

Ну, раз звуки незнакомые издает, уже почти нет у меня сомнений, точно — домовый! А кто еще? Не зря же путешествуют они из сказок в присказки, из уст в уста? Это я Фома неверующий, а люди бывалые знают, что к чему, и напрасно говорить не будут. Теперь и меня кто спросит: «Веришь, нет ли?», развею сомнения, засвидетельствую: «Правда все это, не выдумки, была и у меня такая встреча на жизненном пути с домовым!»

Но какой он обличьем, непонятно, не спешит показаться. От неловкости заерзал, будто перед объективом: хозяина я не замечаю, а он меня насквозь, как рентгеном пронзает, и всехоньки ему про меня видно, как на ладони, и моя подноготная, и прошлая, и будущая жизнь со всеми передрыгами.

Убрал я ноги под лавку, втянул голову в плечи, чтобы зря не разбрасывать свои телеса и не теснить домового, не вызывать его раздражение. А то развалился тут! Но на всякий случай речь оправдательную готовлю: «Понятно, живете вы в тайге по-барски, и можно даже сказать по-куркульски. Это не оскорбление, примите как комплимент. И все у вас чистое, натуральное, экологическое, а спиртное вам и даром не нужно. Если тут воздух настоян на клюквах, на брусниках, на кедровых шишках — пей, сколько хочешь, хоть бадью, хоть две! Вот настоящий хмель! Все понимаю, глупые мои предложения не к месту, но мы, человеки, неразумны, неуклюжи, мягкотелы. Все у нас сикось-накось идет, цивилизация одним словом, все по городам, по селам мытарствуем, не можем никак без всяких благ и излишеств! Уж невпопад заглянул к вам, но я много неудовольствия не доставлю, не гоните, не сердчайте, я только ночку перекантуюсь — и все, больше никаких интересов и замыслов. Как вам мое скромное предложение, хозяин?»

Прислушался — тихо. Ишь, замолчал, прочитал, значит, мои мысли. Сразил, видно, я его своим ораторством. Но наверняка хмурится. Может, стерпит, свыкнется? Покосился я на дальний угол — там он непременно обитает. Облизнулся. А что делать? Голод не тетка. Не чавкая и не швыряя, не вызывая лишнего неудовольствия, приступил в одиночку к ужину.

Опять зашурушал, заворочался кто-то и, наконец, показался.

Ба, да этомышка лесная! Шерстку почесала, черными бусинками глаз сверкнула и носом повела: «Что там у тебя, чего принес-то?»

Вот страху-то нагнала, в чудеса верить заставила! «Ну, и что мы будем делать, черноокая? Хлебушка тебе бородинского, самую запеченную корочку? Возьмите, пожалуйста!» — угостил я местную жительницу. В компании-то ужинать веселее.

Мышка сперва испугалась, спряталась, а когда я уселся на место, вылезла откуда-то сызнова и принялась за корочку...

Ну вот, закусили, что Бог послал, а теперь пора на боковую. Эх, жизнь удалая! А что еще человеку для веселого настроения надо?! В брюхе сытость, в мыслях милость! И хотел я заснуть счастливым, но, увы. Как по команде, зашуршали, зашумели по углам мышки. Сколько же их тут? Целое племя! Пришлось делиться трапезой, благо, оставил себе на завтрак. Отчекрыжил по-братски половину пайка и отдал за знакомство, за дружбу.

Бегают, между собой шушукуются мышки-норушки: «Что за невидаль? Что за гость? Что за пришелец? Откуда посреди зимы в давно пустующей лесной избушке нежданно-негаданно оазис и еда «скусная»?!» И, приняв тепло и непривычно ароматные «подарочки» со стола за вестник приближающейся вечной благодати, слышу, принялись мышки усердно подтачивать и иные свои заначки, обманчиво, видно, порешив: «Все, хватит, натерпелись, и нас нынче приметили, наступает счастливое времечко! Еще чуток, еще капелюшечку — и потекут у наших норок-теремов реки с молочными берегами!»

— Стойте, не спешите, доверчивые! — пытаюсь остепенить их. — Неправильно вы все растолковали, не шумите, не торопитесь. Схрумкаете запасы, а мне что, вас всю зиму кормить?!

Но куда там! Теперь не остановить, не стреножить мышиное племя! И в том углу, и в этом, и за половицей шебаршат, точат зубки! И чего там грызть, если посередине зимы и так уже все давно сгрызено?! Может, это мышиный гимн! И что теперь делать? Как поступить? Что я могу предложить мышиному племени? Пару корок хлеба, колбасные крошки и чайную ложку сахарной пудры взамен опостылевшего и однообразного разнотравья. Разве жалко? Нате, берите все, что осталось, но это ли «бананово-апельсиновый» рай?! Спать-то дайте, шумите под самым ухом. О, а эта прошустрила прямо по одеялу...

Ничего не поделаешь, нужно с ними считаться — настоящие полноправные хозяйки! Мышки тут привыкли к свободе и приволью: ни филин не зацапает, ни лиса не подкопается. Хоть ясным днем прямо посередине избушки пробегай, хоть на топчан забирайся, валяйся, сколько хочешь, если других забот нет. Так что сменяли они своими привычными тропками и мало со мной считались...

Утром после ночного кутежа — тишина по норкам. Наверное, все мое и свое подъели мышки, а нынче почесывают себе брюшки, в тепле да в сытости разленились лежебоки, ждут-пождут теперь манны небесной.

— Просыпайтесь, отправляйтесь на труды праведные! Пошуйте по сусекам себе на прокорм! Разбаловал я вас. Придется теперь навещать избушку. Хорошо, возьму на следующие выходные провизии побольше — и к вам! Погуляем вовсю, мышки-норушки! Так, глядишь, и дотянем до взаправдашной весны, до оттепели!

Берегут лесной домик таежные жители: дорожка к теремку заросла травой, ель прикрыла ветвями крышу, мышки здешние могут «обратиться» в домовых и «испужать» нежелательного гостя. И слова здесь всякие разные в такт умелому топорю строителя, в лад собранных венцами бревнышкам сами вспоминаются-сочиняются и сами в строчки ложатся.



очерк, публицистика

Алла ГОЛУБЕВА

Листья и корни

О моем отце

МОЯ СЕМЬЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Как и многие семьи в советской и постсоветской России, моя родительская семья была смешанной или, выражаясь научным языком, — бинациональной. Моя мать, Елена Михайловна, родилась на берегах Волги в патриархальной русской семье и до замужества носила фамилию Кожевникова. Бабушка по материнской линии звалась в девичестве Екатериной Романовой и очень гордилась, что является тезкой российских императриц.

А отец, Эммануил Григорьевич Фишер, был из семьи местечковых евреев, проживавшей на Украине, в Юзовке, названной в советское время городом Сталино. Теперь этот шахтерский город с миллионным населением именуется Донецком...

На каком языке говорила семья отца, мне неизвестно. Когда мне пришлось однажды, в советское время, побывать в Донецке, я заметила, что большинство его жителей не знают толком ни русского, ни украинского, ни идиша и говорят на суржике — гремучей смеси из всех трех. Что же до моего отца, то он, поехав однажды учиться в ленинградский вуз, на Украину уже не вернулся и жил преимущественно в русской среде. Ко времени моего с ним «знакомства», он говорил исключительно по-русски.

О своих еврейских корнях я узнала лет примерно в одиннадцать и ужасно обиделась, когда кто-то из сверстников «обозвал» меня еврейкой. До этого момента я полагала, что это — ругательное слово, почти такое же, как слово «жид», которое, в моем тогдашнем представлении, обозначало не национальную принадлежность, а просто плохого и жадного человека.

Ни одного слова ни на идише, ни на иврите я в детстве не знала, да и вообще не имела понятия о существовании двух этих языков. Как теперь понимаю, это явилось следствием негласно царящего в стране государственного антисемитизма, когда для евреев было безопаснее начисто забыть о своем происхождении. В советской стране, на бумаге славящейся своим интернационализмом, бытовало страшное (для тех, кто знал) слово «космополитизм». Так вот отцу моему, среди многих других россиян с тревожным словом в пятой графе анкеты, пришлось крупно пострадать в результате обвинения в этом самом космополитизме, и родители мои, видимо, хотели уберечь детей от чего-то похожего.

Ни у меня, ни у моего брата, Александра Фишера, когда наступила пора получать паспорта, даже вопроса не возникло, какую национальность поставить в пятой графе. Не зная ни одного из еврейских языков, не имея даже самого примитивного представления об истории этого древнейшего народа и его традициях, праздниках,

об еврейской кухне, мы ощущали себя абсолютно русскими. Лишь фамилия и отчество звучали странным диссонансом в этой насквозь русской мелодии.

И сама эта однобокая «русскость» не казалась нам тогда странной: безусловной главой нашей семьи была мать, что объяснялось сочетанием ее волевого, властного характера с абсолютной беспомощностью отца в домашних и чисто житейских делах. Помню, как часто мама с печальной интонацией, за которой, впрочем, проглядывало чувство скрытого превосходства, говаривала: «У меня не двое, а трое детей», имея в виду, что один из этих трех, не приспособленных к жизни чад — ее муж.

Окружение отца и всей нашей семьи всегда было интернациональным. Языковой среды, которая помогла бы отцу сохранить хотя бы какое-то знание идиша, не было. Помню забавный эпизод из семидесятых годов прошлого века. В Биробиджане, который, имея не более десяти процентов еврейского населения, официально числился столицей советского еврейства, с большой помпой возрождался уничтоженный в эпоху сталинизма государственный еврейский театр (все артисты которого, впрочем, имели постоянную московскую прописку). Когда театр привез в Хабаровск первую свою постановку под названием «Черная уздечка для белой кобылицы», это событие вызвало в краевом центре (а автономная область входила тогда в состав края) немалый ажиотаж.

Друг отца Нота Иосифович Гофман — очень примечательный в городе человек, доцент мединститута и убежденный холостяк, — с горящими глазами пришел звать отца на настоящий еврейский спектакль.

Отец подумал, почесал затылок — и... отказался:

— Чего я пойду — я же ни одного слова там не пойму.

— Да я тебе все буду переводить!

— Ну, конечно, чтобы нас с позором выставили из зала! Сходи один — потом мне расскажешь.

...Не думаю, что моему отцу были неинтересны еврейская тематика пьесы, прекрасная национальная музыка и хореография. Десятки лет он преподавал в вузах эстетику, объездил весь край с популярными лекциями по искусству и наверняка не остался бы к спектаклю равнодушным. Думаю, дело было в другом. Отец мысленно прокрутил в голове картину, как он, чистокровный еврей, будет в течение двух часов слушать и не понимать речей на забытом им языке, а затем в антрактах с чувством неловкости делиться с собеседником впечатлениями от увиденного. Не понравился он самому себе в этой роли. И в театр не пошел...

Пережив от отца представление о себе как о «гражданине мира», я в молодости гордилась и даже бравировала собственным «духом интернационализма». Вспоминается такой случай. Тетка моего отца Сарра Сендеровна Футлик на старости лет осталась совершенно одна, пережив мужа и обоих сыновей. Чтобы как-то выжить, она вынуждена была сдавать студентке койку в крошечной комнатухе московской квартиры — только эту комнату из трех, в которых прежде жила ее семья, удалось сохранить после обязательных в советское время уплотнений. Студентка, еврейская девушка, заявила ей однажды, что, по каким-то своим соображениям, никогда не выйдет замуж за еврея. Старая женщина восприняла это как оскорбление своих национальных чувств и готова была указать квартирантке на дверь.

— Да найдется ли еще еврей, который бы тебя взял! — в негодовании отбрила она «неправильную» девушку.

Но и я, в ту пору еще незамужняя, была в представлении моей двоюродной бабушки ничуть не лучше. Когда, в один из моих приездов в столицу, эта история

была мне с гневом пересказана, я встала на сторону студентки и высказалась в том духе, что сама не возражала бы выйти замуж хоть за негра — «был бы человек хороший!» Престарелая моя родственница была потрясена. А еще несколькими годами позже, когда я уже имела русского мужа и носила русскую фамилию, тетя Сарра меня разбранила:

— Могла бы и отцовскую фамилию оставить!

— Но ведь и вы тоже когда-то взяли мужнину фамилию!

— Так ведь я-то стала Футлик, а ты — Голубева. Большая разница!

Впервые интересоваться еврейской тематикой я начала через много лет после смерти отца. И был это тот, нечастый, случай, когда «яйца курицу учат». Неожиданно для меня интерес к истории еврейского народа проявился у моего сына Вадима. Да настолько сильно, что он стал активно сотрудничать с еврейскими организациями Хабаровска и был даже избран руководителем молодежного клуба. Наградами за проявленную активность стали поездки на учебу в Москву, Новосибирск, а затем и — Лондон для изучения проблем иудаизма, еврейских традиций и еврейского движения.

Постепенно интересами сына стала заражаться и я. Узнавая новое о своих корнях, я проникалась к ним все большим уважением. Со временем и я, и мой сын побывали в Израиле. И хотя оба мы твердо знаем, что Родина наша — Россия, непростые проблемы и будущее еврейского государства — не чужды нам.

СДЕЛАВШИЙ САМ СЕБЯ

— За что я уважаю Монечку, — говорила когда-то престарелая тетка моего отца Сарра Сендеровна Футлик, — так это за то, что он сделал себя сам. Ну, скажите мне: кто он был? Сирота, без отца, отчиму не нужен совсем. Тот лавочник был, и душа у него — как у мелкого лавочника. Всего и умел, что на счетах щелкать да следить, чтобы покупатели чего не стащили. А отец твой кем стал? Фи-ло-со-фом! Да до него в нашем роду и слова-то такого никто не знал.

Об отчиму отца мне известно, что был он изрядным сластою и хранил в комод с множеством ящичков шоколад и конфеты. И каждый ящичек запирали от детей на ключ. Детям же, а их в семье было трое, тоже хотелось сладкого, но перепадала такая радость нечасто. А поскольку Эммануил был старшим, то идти на кражи со взломом честная компания поручала чаще всего ему. За что и бывал он отчимом не однажды бит...

Карьеру свою отец начинал с работы конторщика на шахте в городе Юзовке. С юности он умел ставить перед собой конкретные цели и, как правило, их достигал. Работа конторщика была нудной, но полезной, потому что приучила работать с бумагами и помогла выработать хороший почерк, что потом пригодилось.

После Юзовки был Ленинград, авиационный институт. До сих пор у меня хранятся пожелтевшие экзаменационные ведомости, в которых нет ни одной четверки. Эммануил успел с отличием закончить два курса, прежде чем окончательно устал, что строительство самолетов — решительно не его дело. И потом до седин был благодарен вузовскому преподавателю философии, сумевшему так увлечь студента своей наукой, что тот уже никогда ни о чем другом не помышлял.

Перевестись с его зачеткой в Ленинградский институт философии и литературы (ЛИФЛИ) для Эммануила труда не составляло. И уже в тридцать лет он защитил кандидатскую диссертацию, темой которой были Людвиг Фейербах, немецкая классическая философия и еще что-то в этом роде.

На Дальний Восток отец приехал по вузовскому распределению на три года, да так и остался здесь на всю жизнь. В то время, с какого я помню своего отца, он уже возглавлял кафедру основ марксизма-ленинизма в Хабаровском пединституте, а затем — такую же в «большой железке» — Институте инженеров железнодорожного транспорта. Одновременно долгие годы состоял внештатным лектором крайкома партии и общества «Знание», читал циклы лекций в Вечернем университете марксизма-ленинизма. С лекциями по философии, этике, эстетике, научному атеизму Эммануил Фишер объездил весь Дальний Восток.

В моей детской памяти он остался человеком внешне полноватым и столь стремительно лысеющим, что скоро, по совету друзей, вообще отказался от остатков волос на голове и стал сбривать их полностью. Даже мама об его прежней шевелюре могла судить только по фотографиям в семейном альбоме. На снимках, сделанных еще в двадцатые годы прошлого века, видно, что природа наградила Эммануила редкостной шевелюрой: темные, в крупных завитках, волосы заметно возвышались надо лбом. Но то, что подарила природа, отобрала армия: в то время солдатам полагалось через все годы службы прошагать с бритой головой. А когда служба закончилась, и волосы можно было отращивать, оказалось, что отращивать уже нечего.

ОТКУДА «ТРУДОГОЛИКИ» БЕРУТСЯ?

Рассказывал ли отец дома о своей работе? Разумеется. Но подтвердить этот факт — это еще ничего не сказать. Во все времена, когда все мы еще жили вместе: и когда работала в мединституте мама, и когда учились в вузах мой брат Александр Фишер и я, и уже позже, когда у каждого из нас уже были свои места службы, — самой главной темой разговоров в семье была «папина работа».

Это казалось столь же естественным, как и наличие в доме огромного количества книг самой различной тематики. У моих родителей никогда не имелось модной мебели, но все три комнаты дома были полны книгами. Чтобы их вместить, отец, в дополнение к покупным книжным шкафам, заказал стеллаж размером до потолка и во всю стену. Кроме художественной литературы, несколько полок занимали всевозможные словари и энциклопедии разных годов издания, в том числе и дореволюционные.

Мы с братом, едва научившись читать, в этом фонде свободно ориентировались. Отец мой считал, что всегда надежнее выяснить значение и написание непонятного слова у специалистов, то есть в тех же словарях и энциклопедиях, чем у кого-то спрашивать. И потому никого в семье не удивило, когда я, третьеклассница, не согласившись с учительницей, снизившей оценку за неправильно написанное в диктанте слово «росомаха», на другой день принесла в класс толстый том Толкового словаря, в котором разрешались два варианта написания этого слова. Отметка была исправлена.

А уже много позже, за полгода до своей кончины, отец успел порадоваться «философическому» складу ума своего внука — моего двухлетнего сына. Мы с Вадимом гуляли на улице, он сам вез свою коляску и задавал бесчисленные «почему». В какой-то момент стал очень серьезным и спросил:

— Мама, я человек?

— Да, — ответила я.

— И ты — тоже человек?

— И я тоже.

После этого мое двухлетнее сокровище обвело пухлой ручкой зримое пространство улицы Запарина, где мы тогда жили, и произнесло:

— Я — человек, и ты — человек, и они все — тоже человеки.

Это была первая в жизни моего сына длинная фраза...

В детстве я не замечала роли отца в воспитании ни меня, ни моего брата. Домашней педагогикой занималась исключительно мама, выписывавшая журнал «Семья и школа» и приносявшая из библиотеки тома сочинений Антона Макаренки. Соседкам она жаловалась, что отец не знает дороги в школу.

Он действительно не ходил на родительские собрания, не учил с нами уроков и не нагружал длинными нотациями, по части которых мама была большим специалистом. По молодости лет, я не была в состоянии поставить в заслугу своему отцу многочисленные развивающие интеллект игры, которые были в ходу в нашей семье, — я воспринимала их как должное. То отец загадывал имя какого-то известного деятеля науки и культуры, а мы с братом должны были по немногим признакам его замысел разгадать, то рисовал шарады, а то мы, все вместе, соревновались, кто сумеет за короткое время составить как можно больше слов из букв заданного слова. То мы тренировались в знании географии, стараясь вспомнить как можно больше названий стран, городов и рек на названную букву.

Благодаря своему отцу я, даже если меня разбудить ночью, произнесу все буквы по порядку без единой запинки. Или — спою весь алфавит на мотив песни «Сулико», как научил меня полвека назад отец.

Мама участия в этих забавах не принимала — ведь, по сути, на ней одной лежал груз ведения домашнего хозяйства. Она всегда занимала в доме лидерскую позицию и порой, видимо, неосознанно затушевывала роль отца в нашей семье. Именно с ее подачи я, школьница младшего класса, еще ничего не умевшая делать по дому, знала, что отец мой — человек непрактичный и что ему нельзя доверить даже мытье посуды, потому что потом ее обязательно нужно будет перемывать. Знала, что отца не стоит одного отправлять на рынок за продуктами, потому что он купит там картошку по самой дорогой цене, но при этом худшую по качеству. И очень может статься, что в сумке окажутся не оплаченные десять килограммов, а всего девять, потому что в момент покупки отца отвлечет разговором какой-нибудь знакомый, чем и воспользуется нечестный продавец. Нередко в походы на рынок мама отправляла с отцом меня, школьницу, с функцией контроля...

Отец был очень добрым человеком по отношению к людям вообще и очень любил детей. Но как-то неумело, он вообще был неумелым человеком во всем, что не касалось его любимой науки. Через много лет после его смерти меня удивил рассказ о нем Майи Розенкранц. Вспомнив летние каникулы, которые мы вместе провели в пионерлагере в пригороде Хабаровска, она рассказала об одном из посещений лагеря моим отцом. Я этой истории не знала: отец приехал вместе с мамой, с которой мы тут же пошли к Амуру купаться, а он остался в лагере, и его тут же обступили дети. Он всех одарил конфетами и печеньем, и малышня облепила его со всех сторон. Майя вспоминала, как сидела у него на плечах и ощупывала рукой его лысую голову, а другие ребята приманивались у него на коленях и локтях. Он все это безропотно терпел и даже был рад этому. Он очень любил детей...

При жизни отца мне было трудно отделить зерна от плевел и разобраться, что в личности моего отца главное, а что второстепенное. Теперь жалею, что мы многого с ним не обсудили, что я о многом его не спросила и вынуждена была годами сама докапываться до истины.

В выборе профессий ни я, ни мой брат по стопам отца не пошли. Александр Фишер стал джазовым музыкантом и композитором, удостоен дипломов многих

международных конкурсов, объездил с концертами множество стран. А я всю жизнь работаю журналистом, выпустила пять книг повестей, рассказов, стихов и очерков.

Однако смею думать, что во многом именно от нашего отца мы с братом и даже совсем мало заставший его мой сын унаследовали и философское мышление, и неутолимую жажду ежедневно узнавать что-то новое и постоянно чему-то учиться, и упорство в достижении поставленных целей.

О ДРУЗЬЯХ, КОЛЛЕГАХ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКАХ

Хотя отец был, безусловно, предан семье и ценил ее, но по натуре его следует считать человеком общественным. Он обожал большие актовые залы, любил вести диспуты и, отвечая на каверзные вопросы, одерживать победы над оппонентами. Любил на своих лекциях шум аплодисментов.

Вообще, если условно представить жизнь моего отца состоящей всего из двух компонентов — работы и семьи, то работа у него была, конечно же, на первом плане. До последнего дня жизни — а скончался он, не дожив трех месяцев до шестидесяти девяти, — отец состоял на службе. Не знаю, хорошо это или плохо, но такими же «трудоголиками» выросли и мы с братом, и единственный внук Эммануила Григорьевича — мой сын Вадим.

Как я понимаю теперь, отцу моему не было необходимости специально заниматься воспитанием нас с братом. Мы и без этого, сами того не ведая, впитывали, как губка, тот «философический дух», который царил в нашем доме.

У нас часто бывали коллеги отца, преподаватели вузов и лекторы: философы, историки, «политэкономы». На вечеринки, которые принято тогда было проводить «вскладчину», приходили писатели, музыканты, актеры и много юристов, которые знали Фишера по его лекциям в ВЮЗИ — заочном юридическом институте.

Меня и брата со взрослых вечеринок не прогоняли, и мы с детства наслушались много умных разговоров. А разговоры нередко были очень умными, потому что в этих компаниях никто никогда не напивался и не говорил скабрезностей.

Помню многолетнюю дружбу отца с Зиновием Самуиловичем Брохиным, которого называли журналистом, сменившим профессию. Проработав много лет в газете «Тихоокеанская звезда» и, видимо, осознав полную невозможность для мастера пера в советское время даже относительной свободы творчества, Брохин демонстративно вышел из Союза журналистов. Отец возглавлял в то время кафедру философии в железнодорожном институте (точнее, она называлась тогда кафедрой основ марксизма-ленинизма). Туда пришел Зиновий Самуилович и через какое-то время защитил диссертацию, стал кандидатом наук. Помню споры двух философов на крамольную для того времени тему: кому и зачем нужно существование государства и возможна ли ситуация, что советское государство вообще перестанет существовать.

До сих пор помню визиты коллеги и друга отца — историка, кандидата наук Моисея Григорьевича Штейна. Этот человек, помимо множества других достоинств, известен был тем, что вступил в партию большевиков еще до революции, видел Владимира Ленина и его жену Надежду Крупскую.

И Штейн, и Фишер, и третий в их дружеской компании — Константин Васильевич Мороз — окончили столичные вузы. Всем трем довелось поработать лекторами крайкома партии: моему отцу — нештатно, а оба его друга в разное время возглавляли лекторскую группу. К. Мороз через какое-то время возвратился в Москву, а М. Штейн и мой отец на всю жизнь остались дальневосточниками.

В книге «Кузница педагогических кадров», посвященной семидесятилетию Хабаровского государственного пединститута, есть строки и о Штейне, и о Фишере. Фамилия моего отца названа среди первых преподавателей кафедры марксизма-ленинизма. Несколько теплых строк посвятил ему и бывший ректор этого вуза Валентин Викторович Романов.

Отец мой является автором нескольких небольших книжек, выпущенных издательствами Донецка, Хабаровска и Москвы. А одна из них, под названием «Как человек познает и преобразует мир», была издана в Софии на болгарском языке.

После окончания ленинградского вуза отец прибыл в распоряжение Далькрайкома, его не сразу оставили в Хабаровске — сначала он был командирован для работы в педвуз Благовещенска. Когда в 2006 году отмечали сто лет со дня рождения Э. Г. Фишера и сообщение об этом появилось в «Тихоокеанской звезде», мне позвонила Валерия Изотовна Морозова, которая когда-то у моего отца училась. Она рассказала, что именно благодаря его влиянию, поступила сначала на филологический факультет, сменила профессию и затем всю жизнь посвятила преподаванию философских дисциплин.

Визиты в наш дом профессора мединститута В. Д. Линденбратена неизменно превращались в праздник ума, искрометного веселья, изысканного остроумия. Виталий Давидович возглавлял в то время кафедру патофизиологии медицинского института, где работала и моя мать, писал стихи для институтской самодеятельности и во время праздников переодевал своих сотрудников в литературных героев — это была игра в шарady. Отзвук этих необыкновенных действий приходил, с его подачи, и в наш дом.

Среди посещавших нашу квартиру на улице Запарина я помню коллег и товарищей отца по работе в институте инженеров железнодорожного транспорта Андрея Дмитриевича Сойку, Анатолия Леонидовича Дегтярева, Ларису Дмитриевну Веселовскую и многих других. Однажды, уже после смерти отца, к нам пришла Софья Ивановна Пшеничникова, прежде работавшая вместе с ним, с просьбой дать какие-нибудь материалы для вузовского музея. Разумеется, и в этот музей, а позже и в музей педуниверситета наша семья предоставила несколько принадлежащих Фишеру личных вещей.

Большой русский писатель Всеволод Никанорович Иванов посетил нашу квартиру вскоре после возвращения из эмиграции. За годы странствий он набрался знаний столь разнообразных, что решил сделать перерыв в писании романов и создать собственную религиозно-философскую теорию. Помню, что мне — тогда еще школьнице — несколько часов не разрешалось входить в отцовский кабинет, откуда слышались возбужденные голоса и часто звучало слово «Бог». Когда писатель ушел, отец долго не мог успокоиться:

— Вот, пожалуй — новый Толстой на Руси родился — богоискатель, богостроитель! Какая эклектика, какая эклектика!

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Александра Ивановна Омельчук у нас дома, кажется, не бывала никогда. Она много лет возглавляла краевое отделение общества «Знание» и часто звонила отцу. Поэтому, взяв телефонную трубку, я с первой фразы узнавала ее голос. А когда я готовилась отметить столетний юбилей отца, а она — собственное восьмидесятилетие, мы впервые после многих лет вновь говорили с ней по телефону. И Александра Ивановна вспомнила, как вдохновенно и ни на кого другого не похоже читал мой отец лекции, причем зачастую бесплатно.

Отец мой был на редкость бескорыстным человеком и постоянно делал массу бесплатной работы, на которой другие могли бы сколотить себе целое состояние.

У нас в доме постоянно толпились студенты всех мастей: «очники», «заочники», «вечерники», слушатели университета марксизма-ленинизма. А еще — лица очень разных возрастов и профессий, собиравшиеся сдавать кандидатский минимум. Среди этой разношерстной публики бытовало мнение, что Фишеру можно позвонить домой в любой час суток и в любой день недели и напроситься на консультацию — разумеется, бесплатную. Так оно, в сущности, и было.

Однажды друг отца, Зиновий Брохин, попросил разрешения привести к нам известного поэта Александра Дракохруста. А тот уже в весьма зрелом возрасте заочно окончил пединститут и намеревался сдавать кандидатский минимум, куда в обязательном порядке входила и философия. Разумеется, поэта пригласили на воскресный обед. Явился он с женой, был чрезвычайно мил и остроумен. Признался, что в ученые не собирается, его вполне устраивает работа в редакции газеты «Суворовский натиск», а сдача минимума нужна из соображений престижа.

Знакомство продолжилось многочасовыми консультациями у нас дома. Затем, по случаю какого-то праздника, по почте пришло поздравление за подписями Дракохруста и его жены, полное комплиментов и дифирамбов в адрес отца.

Вскоре поэт на отлично сдал кандидатский минимум по философии. И на этом общение с моим отцом прекратил, лишь очень холодно здоровался во время случайных встреч на улице. А отец еще долго сокрушался:

— Вот уж не думал, что это такой человек! Вот уж не думал...

Через какое-то время Дракохруст навсегда покинул Хабаровск.

В характере моего отца рядом с аналитическим умом и несколько саркастическим взглядом на вещи поразительно уживалась детская доверчивость. Когда люди, глядя ему в глаза, говорили добрые, порой явно льстивые, слова, он всегда верил, что слова эти идут от души. Сколько раз его предавали — порой даже те, кого он считал близкими друзьями. Но отец все равно доверял людям.

Незадолго до смерти Сталина, в пору очередного пика репрессий, спровоцированного сфабрикованным «делом врачей-вредителей», отец был исключен из партии и лишился работы в пединституте. По стране шла кампания борьбы с космополитизмом, и Фишеру припомнили «нерусскую» фамилию Фейербаха в теме его кандидатской диссертации.

— Почему именно Фейербах? Откуда столь подозрительный интерес к немецкой философии и чуждой нам идеологии?

— Так ведь анализировался не столько сам Фейербах, — пытался возражать Эммануил Григорьевич, — сколько его идеи в преломлении Энгельса, а ведь это — основоположник.

Но его уже не слушали. За космополитизм полагалось карать, причем строго. Кроме того, у отца нашлись более свежие и куда более опасные промахи, чем написанная еще в молодости диссертация. На институтском партсобрании, которое показалось ему нескончаемым, неправдоподобным кошмаром, он услышал о себе страшные слова.

— Такого-то числа в такой-то аудитории Фишер ни разу за всю лекцию не упомянул имя нашего вождя товарища Сталина. А вот в этой лекции он упомянул имя вождя пять раз, но назвал его просто «Сталин», а не «товарищ Сталин». Выходит, он уже не считает его своим товарищем? Тогда кого же он считает своими товарищами? наших идеологических врагов?!

Отец с ужасом узнавал, что на лекциях, которые нередко заканчивались аплодисментами слушателей, которым он не только давал знания, но и открывал

душу, кто-то в это самое время пунктуально фиксировал неточно выбранные лектором слова. Да и не кто-то безликий, а вполне известные ему люди, вместе с которыми он годами вместе делал общее дело, некоторые из них бывали в его доме, сидели с ним за одним столом, с которыми он бывал по-дружески откровенен. И вот теперь они выходят к трибуне и, забыв все хорошее, утверждают, что ему не место в партии. Другие молча сидят в зале, но тоже голосуют за его исключение...

Когда отца уволили со всех должностей и никуда не брали на работу маму, жену «врага народа», семья наша, не имевшая никогда особых сбережений, целый год существовала на деньги от трех, именно тогда случившихся, выигрышей от госзаймов. Безбожнику помогал Бог... И еще — мама продавала вещи.

Отец мой оказался везунчиком. Он избежал ГУЛАГа, чего не удалось моему будущему свекру Михаилу Марковичу Фрадкину, и расстрела, постигшего первого мужа моей матери Георгия Ивановича Рязанова. Отец — выжил. После смерти Сталина был восстановлен в партии, смог вернуться к любимому делу. Только не захотел возвращаться ни в лекторскую группу крайкома партии, ни в пединститут — туда, где его предали друзья.

АХ, ЕСЛИ Б СНОВА ЖИЗНЬ НАЧАТЬ

Уже давно нет моего отца — веселого толстого человека, любившего немое кино и смешные анекдоты, собиравшего книги и афоризмы, обожавшего всех на свете красивых женщин и обладавшего забавной привычкой раздавать налево и направо шоколадки, которые всегда имелись в его портфеле. Человека, никогда даже не помышлявшего о вознаграждении за массу бесплатной работы. Человека, любившего смотреть спорт по телевизору и не сумевшего научиться плавать. Человека, которому так нравилось жить.

Я часто пытаюсь представить: каким бы мой отец был теперь, как воспринял бы изменившиеся реалии российской жизни?

Как он, воинствующий безбожник, возглавлявший много лет краевую секцию атеизма, отнесся бы к нынешней, чуть ли не поголовной «религиозации» населения — где подлинной, а где и мнимой? Как он, коммунист с большим стажем, принял бы крушение КПСС и советского строя? Как он, приученный действовавшей идеологией бранить абстрактное искусство, смирился бы с возведением на пьедестал Сальвадора Дали, Казимира Малевича и Василия Кандинского? Как вынужденный преподавать студентам не просто философию, а ее советские разновидности диамат и истмат, определил бы отец нынешний общественный строй? Как он, жизнелюб и оптимист, чувствовал бы себя в нашей сегодняшней непростой жизни?

У человеческой жизни, как и у истории, нет сослагательного наклонения. У меня нет и не будет никогда ответа на эти вопросы. Мне просто жаль, что отец мой не может вместе со мной видеть то, что ежедневно вижу я. Жаль, что не дожил он до времени, когда каждый может думать, говорить и писать все, что хочет, — и не дрожать от страха, что придет к его подъезду «черный ворон» или что призовут его на партийную голгофу держать ответ за каждое ненароком вырвавшееся слово и его предадут от такого же липкого страха за собственную жизнь близкие друзья.

Знаю, что не все понравилось бы отцу в нашей сегодняшней жизни, и наверняка нашел бы он, с чем бороться и что критиковать. Но я совершенно не представ-

ляю своего отца в рядах озлобленных участников митингов пустых кастрюль, в компании любителей забивать «козла», а в промежутках между ударами по столу перемывать кости правительству и президенту.

Я знаю, что отец мой при любом общественном строе обязательно делал бы дело и верил бы, что жизнь в этой стране, несмотря ни на что, обязательно станет лучше. И радовался бы жизни.

Закончить очерк хочется отрывком из шутивного стихотворения, подаренного моему отцу в день его шестидесятилетия другом нашей семьи профессором Виталием Давидовичем Линденбратеном.

*Прошу, товарищи, потише,
Ну и, конечно, не дремать:
Эммануил Григорьич Фишер
Блеснет нам лекцией опять.
Прочел он уйму разных книжек,
Конспектов сделал целый ряд.
Эммануил Григорьич Фишер
по части лекций — Гиппократ.
Чтобы узнать: а чем он дышит,
Отведать, с чем и что едят,
Все разъяснит товарищ Фишер
Про разный всякий диамат.
Шагаем выше мы иль ниже,
Но путь у нас один — вперед.
Нас мудрый друг товарищ Фишер
На штурм эстетики ведет.
Пошто не видим мы афиши —
Цветастой, яркой, в полный лист:
«Здесь выступает доктор Фишер?»
Хоть не актер он, но — артист!
Пусть там — в Нью-Йорке иль Париже —
На нас льют реки грязных слов:
Эммануил Григорьич Фишер
Отбреет так, что будь здоров!
Бывает, что дают и шишек
(кто, братцы, шишкам этим рад?),
Но закаленный в битвах Фишер
Покрепче даже, чем Сократ.
Вы помните, товарищ Фишер,
Великий Демосфен сказал:
Кто лекций Фишера не слышал —
Ниче тот в жизни не слышал!
Пусть человечество услышит
Всех континентов, разных стран,
Что уж давно товарищ Фишер
Готов читать для марсиан.
...Эммануил Григорьич Фишер,
Примите дружеский привет!
Счастливо жить Вам сотню лет!*

До сотни лет мой отец, к сожалению, не дожил. Он скончался от острой сердечной недостаточности утром восьмого марта 1975 года, не успев вручить моей матери и мне приготовленных к Женскому дню подарков.

На похоронах его коллеги рассказали, что накануне праздника отец поздравил женщин совершенно необычно. Со сцены актового зала прозвучал не традиционный «восьмомартовский» доклад и не просто поздравление, а специально для этого случая подготовленная лекция на тему «Женщина в мировых революциях».

Через несколько дней после похорон мне позвонила сотрудница краевой научной библиотеки и с извинениями попросила принести взятую Эммануилом Григорьевичем для подготовки последней в своей жизни лекции литературу о мировых революциях. Я с трудом дотащила до библиотеки стопку из восьми объемистых книг...



«По характеру я юморист и сарказмист»

Слово прощания

Второго июля 2015 года скончался Виктор Иванович Ремизовский, редактор Отдела очерка и публицистики журнала «Дальний Восток», член Союза писателей России.

Это большое горе для нас, его коллег, и огромная потеря.

Он был абсолютно уникальным человеком — единственный экземпляр у Господа Бога. Хотя в Бога не верил.

Зато верил в себя, науку, творчество, хороших людей, в дороги, которые выбирал...

Он очень любил жизнь, и жизнь отвечала ему взаимностью.

Дай Бог, в которого он не верил, каждому прожить восемьдесят два года так же полноценно и насыщенно, как он.

Если мы сейчас начнем перечислять все профессии и звания, которые Виктор Иванович получил за годы, отпущенные ему на земле, нам не хватит страницы: геолог, кандидат геолого-минералогических наук, краевед, историк, редактор, преподаватель, автор многих книг — как научных, так и художественных, знаток и исследователь древнегреческой мифологии, ученый-зоотехник, младший научный сотрудник Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН, журналист, заведующий редакционно-издательским отделом Дальневосточной научной библиотеки, доцент кафедры Издательского дела и журналистики Дальневосточного гуманитарного университета, редактор отдела очерка и публицистики литературного журнала «Дальний Восток», академик Дальневосточной народной академии наук, Почетный член Приамурского географического общества, член Профессорского клуба ЮНЕСКО (Владивосток), член редколлегии журнала «Печатный двор», диктор радио, и так далее, и так далее.

В каждом деле он, что характерно, преуспел.

Мы несколько не сомневаемся, что даже диктором радио он был замечательным, ибо судьба наградила его вдобавок ко всем талантам прекрасным, совершенно оперным баритоном.

А сам о себе в последнем интервью, данном журналу «Лучшее в Хабаровске» он сказал так: «Более всего горжусь тем, что я Почетный донор СССР, причем два года был штатным донором Магаданской детской инфекционной больницы. На втором месте в этом параде — действительный член Профессорского клуба ЮНЕСКО (Владивосток). Остальное — по мелочи».

«По характеру я юморист и сарказмист, люблю поёрничать. Иногда получается. Пишу лет с двенадцати, но стать членом Союза писателей России догадался только после семидесяти пяти», — добавил он в том же интервью.

Поэтому для прощальной публикации мы выбрали небольшой отрывок из одной его последней книги «И тут меня осенило».

Она состоит из маленьких рассказиков, построенных по единому сюжету: Виктор Иванович в некой сложной ситуации принимает спонтанное решение (его «осеняет»!) и попадает впросак.

Природа наделила его редким чувством юмора.

И еще более редким качеством — самоиронией.

Это прекрасно.

Но самой определяющей чертой характера Виктора Ивановича был, конечно, исключительный трудоголизм.

Он приходил на работу раньше всех.

На душе становилось тепло, когда, открыв дверь, человек не бежал сломя голову под вой сигнализации по темному коридору к выключателю, а заходил в освещенное помещение, где Виктор Иванович уже сидел за компьютером, однако отрывался от него и бодрым голосом говорил: «Доброе утро!»

Когда его не стало, первое, что мы спросили друг у друга растерянно: «Кто же теперь откроет редакцию, радостно поздоровается и пожелает всем доброго дня?..»

Ах, если бы только это!

Кто найдет таких авторов, как Сорокин, Заводинский, Мисюк, чья публицистика никого не оставляет равнодушным?

Кто сам напишет такой пронзительный текст, как «Воспоминания моей мамы»?

На наш взгляд, это была одна из лучших публикаций в журнале «Дальний Восток» за последние годы.

Кто будет ездить в командировки? Виктор Иванович любил путешествия. Поездки в самолетах, поездах, автобусах и неуют гостиничных номеров его несколько не напрягали. Новые впечатления и встречи с новыми людьми были для него гораздо важнее.

Кто, наконец, споет на редакционном корпоративе про «Дніпр широкий» и про бога Гименея?

А кто поможет в трудную минуту участием, дельным мужским советом, а если нужно, то и денежкой?

Милый Виктор Иванович!

Никто не сможет вас заменить.

Нам будет очень вас не хватать.

Мы вас любили и будем помнить всегда.

**Коллектив журнала
«Дальний Восток»**



Виктор РЕМИЗОВСКИЙ

И тут меня осенило...

Эпизоды моей непростой биографии

КАК Я НЕ СТАЛ ПРОЛЕТАРИЕМ



Мне не было и тринадцати лет, когда мама устроила меня учеником токаря на завод по ремонту танков. Завод располагался на территории Крымских казарм в городе Днепрпетровске. Это был 1944 год, и маме легко удалось убедить отдел кадров завода, что мне уже четырнадцать, просто мои метрики потеряны во время оккупации.

Я был рослым мальчиком (до сих пор не пойму, почему же я не стал рослым мужчиной), но ума у меня было даже меньше, чем положено двенадцатилетнему. Видимо, не дано было, что уж тут поделаешь.

Учитель мой, пожилой дядька, понимая, с кем он имеет дело, ничего не позволял мне трогать, только смотреть и беречь глаза от металлической стружки. Поэтому уже на второй день я стал откровенно скучать. Особенно скучали мои руки — я просто не знал, куда их деть.

Станок был старой конструкции и приводился в движение от общего вала, который проходил немного перед станком. Я стоял прямо перед ним. Я стоял, а он вертелся. И тут меня осенило: а что если его остановить? Я попробовал осуществить эту гениальную идею голыми руками. Не получилось: вал продолжал вертеться в моих руках.

Ага, догадался я, он жирный! Тогда я одел верхонки и продолжил свои попытки остановить вал. Одна из них удалась: верхонка прочно обхватила вал и стала наматываться на него... вместе с моей левой рукой. Я заорал. Мой учитель успел вовремя отключить станок и тем самым спас мне руку. На лбу у него выступила испарина, но он не стал меня ругать, а пошел к мастеру с требованием немедленно убрать меня из цеха. И убрали — так я и не овладел профессией токаря.

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Когда маму сослали на Колыму, а младшего брата тетка увезла к родителям отца, я остался совсем один и, естественно, забросил школу и откровенно лоботрясничал с вполне понятным удовольствием пятнадцатилетнего пацана. Но городской

отдел народного образования не дремал: меня вычислили и велели либо получать среднее образование, либо отправляться в ремеслуху. В советское время среднее образование почему-то считалось обязательным. Странные были времена.

В школе я появился в конце учебного года и «поимел» двойку по химии. Чтобы не остаться на второй год в восьмом классе, мне предстояла переаттестация по химии. Все лето я усиленно готовился и, проявив незаурядные знания, перешел в девятый класс.

В процессе подготовки к переаттестации я перечитал много популярной литературы по химии. Тогда я впервые узнал о флогистоне и многое другое весьма любопытное. Но особенно меня увлекли алхимики и их поиски философского камня. В одной из книг я вычитал, что философский камень можно добыть путем выпаривания мочи.

Чего проще, осенило меня! В три приема я собрал полкастрюли собственной мочи, поставил ее на плиту и разжег огонь.

Следует отметить три момента. Первый: плита была не совсем обычная — спереди, так сказать, это была кухонная плита для приготовления пищи, а с другой стороны ее дымоход обогревал комнату. Второе: стояло теплое украинское лето. Третье: коль надо выпаривать, то кастрюля стояла без крышки.

Когда моя моча приблизилась к точке кипения, по квартире стал распространяться неприятный запах. Но ради философского камня стоило потерпеть. Однако, когда моча закипела, терпеть не стало никакой мочи. Я ведь тогда и понятия не имел о вытяжных шкафах.

Я выскочил на улицу — благо, дом был одноэтажным. Но кастрюля-то продолжала кипеть! Задержав дыхание, я заскочил в квартиру и пооткрывал все окна. Но это мало помогло. Более того, стало разъедать глаза.

До меня наконец дошло, что философского камня мне не видать. Заскочив в очередной раз в квартиру, я накрыл зловонную кастрюлю крышкой и вынес ее во двор. А квартиру до позднего вечера проветривал, но запах кипяченой мочи преследовал меня еще не один день.

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

Поток первого курса зоотехнического факультета Днепропетровского сельскохозяйственного института был разбит на три группы, а каждая группа — на две подгруппы. Нашей подгруппе, состоявшей только из парней, предстояло изучать английский язык. Зазвенел звонок, и в аудиторию вошла высокая, стройная, почти нашего возраста «англичанка». Красивое лицо, гордо поднятая голова, толстая русая коса переброшена через плечо на грудь.

— Good day! Здравствуйте! Seat down, please. Садитесь, пожалуйста! Я буду вести у вас английский язык. May naim is Renata Petrovna. Меня зовут Рената Петровна.

Парни застыли в изумлении. Это был 1951 год, и последствия войны еще сказывались: в нашей подгруппе было несколько переростков и даже один участник войны, Степан Степанович Сердюк. И естественно, что все мы мгновенно влюблись в это прекрасное «английское» создание.

Я тоже не избежал чар Ренаты Петровны. Да и само имя завораживало своей необычностью. До этого никто из нас даже и не слышал ничего подобного. Это значительно позже появились Рената Литвинова и ее персональный пародист Максим Галкин.

Обратить на себя внимание Ренаты Петровны у меня не было никаких шансов, ибо я не отличался ни ростом, как Степан Сердюк, ни какой-то особой мужской

красотой, как мой друг Леня Плинер. И тогда меня осенило! Прозвенел звонок, Рената Петровна вошла в аудиторию и замерла на пороге. Вся подгруппа чинно сидела на своих местах, автор же этих строк стоял на преподавательском столе. В полный рост! Но на руках! Демонстрируя свою физическую подготовку.

Рената Петровна молча развернулась в дверях и побежала в деканат. Досталось мне тогда по полной программе. Но главная беда была впереди. Бдительные «органы» обратили на меня внимание. Они ознакомились с моим личным делом и выяснили, что моя мать «мотает срок» в одном из лагерей ГУЛАГа на Колыме, причем по политической статье — 58, пункт 10 УК РСФСР.

Меня стали регулярно вызывать. В полуподвале огромного мрачного серого здания со мной по-доброму «беседовали»: спрашивали о настроении в нашей подгруппе, не выкрикивает ли кто во время лекций по истории партии антисоветских лозунгов и тому подобное. Расспрашивали о каждом студенте нашей подгруппы, очевидно, готовя меня в сексоты. Но понял я это только после знаменитого выступления Никиты Сергеевича на закрытом заседании XX партсъезда.

А Ренату Петровну я и сейчас вижу, как живую, входящей в нашу аудиторию: — Good morning! — приветствует она нас. — Seat down please! Let us go on learning English language.

А ВЕДЬ МОГЛИ И ПОВИТЬ

Лет, наверное, до тридцати четырех я не пил ни водки, ни вина, ни пива. Я занимался спортом, художественной самодеятельностью, писал работы по теории чисел, сочинял стихи и даже пытался написать роман. В общем, не до того мне было.

Однажды в этот благословенный период мне чуть было не накостыляли за это. Собралась довольно приличная (по количеству персон) компания по случаю Нового года, все расселись за длинным столом и стали накачиваться водкой. Тут же кто-то обратил внимание на то, что я не выпил самую важную первую рюмку, а, почокавшись со всеми, поставил ее на стол. Это был явный непорядок. Все, как один, стали уговаривать меня вылить содержимое рюмки в себя. Как я ни отговаривался, сколько ни объяснял, что не пью — ничего не помогало. Выпей! Ты что, нас, твоих друзей, не уважаешь?!

Как же мне избавиться от этой проклятой рюмки? И тут меня осенило: ах так? Нате вам! Я схватил свою рюмку и выплеснул содержимое через плечо прямо на стену.

Что тут началось! Слава богу, что хоть не побили. А ведь могли...

Я — КОВЕРНЫЙ КЛОУН

Последний раз меня осенило, когда я, уже будучи кандидатом геолого-минералогических наук, решил закосить под больного. Это было в Охе на Северном Сахалине. Как-то мне все так надоело, что я взял перчину и, не щадя самого себя, натер под левой мышкой до боли. Сунул термометр — годится! Вызвал «скорую».

Назавтра пришел в поликлинику делать внутривенный укол. Почему-то в процедурной было сразу три медсестры. Молоденькие, хорошенькие. Я возьми и ляпни:

— У вас в Охе скоро Хабаровский цирк будет выступать.

— А вы откуда знаете?

В это время закачка хлористого кальция в мою вену близилась к концу. Сестра, делавшая укол, оторвала взгляд от иглы и посмотрела на меня.

— Так я же приехал в Оху специально организовать выступление нашего цирка.

— Вы артист цирка?!

Три пары девичьих глаз раскрылись до предела и уставились на меня.

— Да, я коверный клоун.

— Вот это да!

Девушки засмеялись. Та, что делала мне укол, забыла про шприц и закатилась в хохоте. Шприц выпал, и по руке побежала алая струйка крови. Я испугался и закричал:

— Девушки! Я пошутил! Я — геолог, я — кандидат наук.

Но было поздно: девушки схватились за животы, а я пальцем зажимал вену. Неожиданно дверь распахнулась и буквально влетела дородная дама в халате.

— Что у вас тут происходит, черт подери?!

Это была главврач районной больницы.

— Он — ха-ха-ха! Он — клоун, ха-ха-ха!..

— Как клоун? — не поняла главврач поликлиники.

— Ну, из цирка. Он привез цирк из Хабаровска.

— Да? — сказала главврач. — Дайте ему ватку и пойдемте-ка со мной. У меня мальчишки страшно любят цирк.

Главврач повела меня в свой кабинет и стала просить обеспечить ее сыновей билетами. Мне понадобилось не меньше часа, чтобы убедить ее, что я — действительно геолог, а не коверный клоун.

Наконец, главврач поверила, сильно разочаровалась и скучным голосом велела мне возвращаться в процедурный кабинет.

Но «больничный» я все же заимел! Аж на две недели.

ГРЕХОПАДЕНИЕ

Когда я впервые стал большим начальником, аж бригадиром молочно-товарной фермы, то мне пришлось обильно вращаться среди женщин: молоканщицы, телятницы, доярки и даже возчики. К тому же главным зоотехником Ольского совхоза была женщина, главным агрономом — женщина, главным ветеринарным врачом — женщина. И все, как у Гашека, словно на подбор, грудастые и задастые. И фамилии как на подбор — Журбенко, Першенко, Шинкаренко, Криворучко. Вот только фамилию главного зоотехника подзабыл, но тоже на «ко».

А мне-то всего двадцать шесть и, несмотря на наличие жены, меня чрезвычайно интересовали и грудастость, и задастость женщин.

Возраст свой я назвал не для того, чтобы вы подумали, будто я кошу под несмышлениша. Просто жена в то время была на сносях, а во мне бурлили ненасытные тестостероны. Трудно мне с ними, большую часть жизни они мне испоганили, эти ненасытные тестостероны.

В общем, споткнулся я и упал на одну «ко». Ненадолго, но последствия были значительными. А много лет спустя я прочитал у Игоря Губермана «гарик», который мне все и объяснил:

*Ах, юность, юность!
Ради юбки неожиданно и вдруг
Душа кидается в поступки,
Руководимая из брюк.*



Николай СЕМЧЕНКО

Таинственный друг по имени Гертайн

Художник Александр Потоцкий несколько лет назад прислал мне стихотворение — на французском языке плюс подстрочник перевода: «Прочитай! Лучше, конечно, вслух, но не громко, а как бы шепотом — этот текст обладает какой-то странной магией, хотя в нем, на первый взгляд, нет ничего особенного».

*Ты вошел без стука —
в свою жизнь только я
вхожу так.
Без одежд и без слов,
нужных кому-то, только не мне,
— но и тебе они не нужны.
Ты не просил принять
и понять тебя —
это не нужно,
еслиходишь как мятежник в столицу.
Ни богатство,
ни слава,
ни даже любовь
тебе не нужны —
я знаю;
и если за чем ты гнался,
так это за собственной тенью,
и однажды в полдень
наступил на нее,
как на трофей —
удачливый охотник,
ты хотел чего-то еще...
Но я так и не узнал — чего:
ты в дверь постучал — телеграммой:
тебя больше нет.
И дверь осталась открытой,
но в нее никто не смеет входить.*

Это стихотворение написал Гертайн Симплисо, и называется оно «Единственный друг».

С подачи Александра Потоцкого он вошел в мою жизнь — стремительно, ошеломляюще. Вошел стихами — простыми и даже наивными (так мне сначала показалось), и мне показалось: он — друг, который знает обо мне абсолютно все.

Корнея Ивановича Чуковского поразили «Листья травы» Уолта Уитмена. Пораженный, он перевел их на русский язык.

Я не Чуковский. Но тоже пораженный. Тексты Гертайна Симплисо произвели невероятное впечатление. Такое ощущение, будто этот человек знает, о чем думаю, чего хочу, что происходит...

Свободное стихотворение — это всегда и просто, и сложно. Порой мне хочется назвать такие тексты ритмической прозой. В китайской литературе, к примеру, существует такой особый вид ритмических текстов. Или тургеневские стихи в прозе. Или того же «буревестника революции» Максима Горького. Или... Список можно продолжить.

Но вот есть Ксения Некрасова. Поэт. Некоторые ее стихи — тоже свободные. Но не проза. Скорее всего, Гертайн Симплисо ближе к ней, чем к Тургеневу.

О Гертayne Симплисо почти ничего неизвестно. Он предпочитает оставаться в литературном мире эдаким поэтом-невидимкой. И этим чем-то напоминает нашего Виктора Пелевина, о котором тоже мало что известно, и даже нормальных фотографий, считай, нет, а книги, которые он пишет, есть, и их еще как читают! Я знаю, что Гертайн Симплисо родился в 1953 году. Живет он в Париже. Работает в одной из крупных корпораций, связанных с производством продуктов питания. Вероятно, Симплисо — это псевдоним. Его жена Мишель, которая иногда присылает новые тексты мужа, ограничивается краткими сообщениями и, по просьбе Симплисо, избегает каких-либо конкретных личных подробностей. Иногда мне кажется: он, как граф Калиостро, гораздо младше или старше, чем написано в свидетельстве о рождении. В его текстах — отзвуки бесед с Лао Цзы, Катуллом, Платоном, Мих. Кузминым, «Серапионовыми братьями», Готье и другими давно жившими людьми.

То, что пишет Гертайн Симплисо, он сам называет «l'empreinte» (или по-английски: the imprint of the soul!) — «отпечаток души». Правда, в одном из писем Мишель сделала уточнение: «Импринтизм — это сор нашей жизни, составляющий, однако, всю ее прелесть и уникальность».

Вероятно, мелочи нашей жизни — те самые отпечатки, которые порой остаются в душе шепотом, криком, слезами, счастливой улыбкой... Отразить это состояние и действие живой души и есть сущность творческого метода импринтизма.

В этом Гертайн Симплисо, на мой взгляд, перекликается с Константином Батюшковым, поэтом и философом XIX века, не до конца еще нами прочитанного и оцененного

Он, в частности, писал: «Поэзия — сей пламень небесный, который менее или более входит в состав души человеческой, сие сочетание воображения, чувствительности, мечтательности, — поэзия нередко составляет и муку, и услаждение людей, единственно для нее созданных. «Вдохновением гения тревожится Поэт», сказал известный Стихотворец. Это совершенно справедливо. Есть минуты деятельной чувствительности: их испытали люди с истинным дарованием; их-то должно ловить на лету Живописцу, Музыканту и более всех Поэту: ибо они редки, преходящи и зависят часто от здоровья, от времени, от влияния внешних предметов, которыми по произволу мы управлять не в силах. Но, в минуту вдохновения, в сладостную минуту очарования поэтического, я никогда не взял бы пера моего, если бы нашел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если бы мог передать ему все тайные помышления, всю свежесть моего мечтания и заставить в нем трепетать те же струны, которые издали голос в моем сердце. Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами — и мы

прибегаем к искусству выражать мысли свои, в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы суть сокровища истинные... «Они не могут читать в моем сердце, но прочитают книгу мою» — говорил Монтень; и в самые бурные времена Франции, при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием, писал «Опыты» свои и, беседуя с добрыми сердцами всех веков, забывал недостойных современников».

Импринтизм — это монолог. Голос одинокого человека. И это надежда, что твои ощущения и впечатления будут интересны еще кому-то, другой живой душе...

У Андрея Вознесенского есть перевод «Парижской толкучки древностей» Марше О Пюс. Прочитую часть:

*Продай меня, Марше О Пюс,
упьюсь этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
восток зоопарк вещей
по умчавшимся векам —
как слоники по лесам!..
перстни, красные от ржави,
чьи вы перси отражали?
как скорлупка, сброшен панцирь.
чей картуш?
вещи — отпечатки пальцев,
вещи — отпечатки душ,
черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!*

Наверно, это можно назвать гимном импринтизму. Не знаю. Но лучшей из муз для Гертайна Симплисо, похоже, становится, образно выражаясь, «Парижская толкучка древностей» — смотрите перечисление того, что врывается вольно-невольно в тексты и Марше О Пюс, и той же Анны Ахматовой, и Игоря Северянина, и великого Бодлера, и многих-многих других Поэтов. Мусор жизни, ставший поэзией, — это и есть сам Гертайн Симплисо.

В Москве вышла электронная книга переводов «Розовый жираф небесный» — из раннего творчества Симплисо, все желающие могут посмотреть ее на сайте ЛитРеса. Готова к печати еще одна его книга «Слова, всего лишь слова», в печатной и электронной версиях.

Когда-то стихи Симплисо казались мне несколько странными, «экспериментальными» в технике свободного стихосложения. Некоторые тексты я опубликовал, но под псевдонимом. Потому что мне казалось: эти свободные стихи никому не нужны, кроме меня и небольшого числа любителей такого же стихосложения. И вдруг пошли отзывы. Были, конечно, и отрицательные (однако чувствовалось: строки задела-таки!). Больше было доброжелательных отзывов. И я, честно, обрадовался! Значит, Гертайн Симплисо понятен и русскоязычному читателю, равнодушному к альтернативной поэзии. Впрочем, какая там альтернативная! Это просто свободные стихи...

Может быть, что-то из них будет интересно и вам?

Гертайн СИМПЛИСО

Тексты, написанные на салфетках, промокашках и даже на манжетах

Когда ты

Посвящается Мишель

Когда ты,
такая веселая и счастливая,
смеясь, проходишь мимо
и даже не видишь меня;
Когда ты,
такая невероятно легкая,
кружась, мотыльком вылетаешь
из моих снов;
Когда ты, чуть помедлив,
рассеянно бросаешь
в урну букет роз,
чтоб через минуту
вернуться и прижать его
к груди;
Когда ты обрываешь
лепестки ромашки
и что-то тихонько шепчешь, —
Я, задыхаясь от счастья,
собираю их в пыли —
и снова цветок оживает;
Когда ты, заметив меня,
чуть помедлишь и спросишь,
зачем мне этот сор,
Я ничего не смогу ответить, —
потому что
А что я могу сказать,
Когда ты,
такая веселая и счастливая,

смеясь, завтра снова
пройдешь сквозь меня...

Прощание навсегда

Ветер напал сзади
Туча водой окатила
А я не заметил
Вспоминая твои пальцы
измявшие платок.
Думаешь, я умираю в тоске?
Как бы не так!
Я дарю встречным
воздушные шарики,
покупаю детям мороженое
и даже миллион
самых желтых роз
просто так опустил
в реку.
Ну и что из того,
что она бежит к тебе?

Ожидание

Не было телефона —
мечтал о нем.
Есть телефон —
но не звонит.
А я и не сижу
возле него,
Я пью коньяк
и листаю альбом
Шагала:
кажется, он рисовал нас
давным-давно,
и все это уже неправда?
А может,
это вовсе не мы летали
Где-то там в лазури...
А телефон не звонит.
И пусть!
Я выпью коньяк,
заброшу Шагала на полку
и включу телевизор,
чтобы хоть кто-то
говорил.

Зеленая луна

Зеленая луна
над полями плывет.
Почему сверчок
ожил в моей груди
и поет?

Экспрессия

Рассыпал апельсины
по серому асфальту.
Одуванчики ими
залюбовались.
Не стал собирать —
пусть цветут!

Вспоминая Басё

Вчера лягушки кричали
сегодня молчок
изморозь на ирисе

Улитка

Гора над хижинкой
нависла
улитка на крыше

Полетели!

Обнаженным тексты свои сажусь писать —
и воспаряюсь над этим миром,
и даже Эйфелевой башне не удастся меня зацепить,
тем более Вандомской колонне,
но за Елисейские поля сам хватаюсь,
чуть-чуть, самую малость, потому что боюсь:
не разожму пальцы и уже не увижу весь мир,
самый прекрасный на свете, в любой его части,
даже в пустыне Атакама,
не знающей ливней и шелеста листьев.
Мне надо лететь, несмотря на усталость,
мне надо быть — как дети,
знающие: они бессмертны и все лучшее не впереди, а сейчас;
потом они забудут об этом —

в сладких яблоках соблазна есть страх и отчаянье —
не только счастье, увы;
и когда мужчина, единственно прекрасный в мире,
скажет «Я тебя не люблю» или вовсе ничего не ответит,
это не значит: все кончилось — нет, это только начало;
и когда женщина, одна-единственная из всех, улыбнется другому,
а вас не заметит совсем,
простая и ясная мысль озарит ваш путь:
пусть ей будет хорошо, и звенящие ручьи счастья омывают дорогу, —
вы ведь хотели этого, правда?
Выше парижской «колонны Побед» —
поражение ваше, друг,
знайте об этом.
Я улыбнусь вам и, может, даже что-то скажу,
хотя любые слова бесполезны,
а обнять вас не смею,
иначе нахмурюсь сам:
знаете ли, мне печалиться есть о чем тоже,
серебряный пульс холодка бьется под кожей,
и лишь душа безмятежно в полет зовет...
Полетели?!
А впрочем, если бы ты стояла на Эйфелевой башне
и с пестрого сарафана бросила ниточку мне,
я не воспарил бы над миром,
и не узнал бы миллионы других мужчин и женщин,
и не увидел тысячи восходов и закатов,
и не познал бы мощь цунами,
и ураганный ветер не забросил бы меня на Масленичную гору,
и яблоко не выпало б из рук.
А вместе лететь не можем:
тебе крылья даст другой —
тот, которого люблю,
потому что его любишь ты!

Одуванчик цветет

рыжий парик
на трубочке
для коктейля
такой кукольный
но настоящий

Овод

стремительно овод летит
златоглазый
увы не Зевс

Ты и я

до самого горизонта
розовое марево иван-чая
каждый отдельно

Облака

будто тени
огромных рыб проплывают
в моем окне

Одиночество

Солнце танцует
в стакане водки
Пить не хочу

Фиолетово!

Фиолетово,
абсолютно все —
фиолетово,
лишь барабан,
в который бью,
пока что
параллелен мне.
Но и его
вот-вот
уроню
в фиолетовое
настроение.

Не думай, что думаю о тебе!

М. Ш.

Не хочу думать о тебе —
И думаю,
Не хочу даже слышать о тебе —
Но слушаю все, что говорят,
И глупости тоже,
не потому, что верю им —
наплевать на слухи;
мне казалось:

из букв твоего имени
можно составить только
самые ужасные слова,
но почему-то не получается.
Выбросил все твои
Фото, письма — тоже,
И даже книги,
К которым ты прикасалась.
Но как выбросить
Тебя из головы?
Не думаю
О тебе вовсе.
Но ты — тут!

Вечность

Змеи песок замечает след
Орел меняет линию полета
А я не знаю почему снова
иду к тебе
И лишь вечная божья коровка
пытается стать драгоценностью
на твоём плече

Весна

Крапивница плавно на вербу села
Глупая сказала ты вечером обещали
снег
Но крапивница грелась на солнце
пила нектар и отражалась в твоём зеркальце
Ей было все равно
когда наступит холод
Впрочем так же как и тебе

Дождь и снег

Тем, кого любил

Шел дождь и снег,
Еще была зима,
Снежинок легкий смех,
Неровность льда
И я — почти что воробей:
Невзрачен, сер и неприметен,
Но азартно так свистящий,
Сказал бы «чик-чирик»,

Но — несолидно как-то,
Как несолидно и другое:
Держаться за руки,
Целоваться где хочешь,
Сказать «Ты моя киска» —
И чтоб это все услышали
И не засмеялись,
А они — засмеются,
Потому как...
Да ладно, чего уж так
Смущаться?
Ты — леди возраста
Элегантности, кхе-кхе,
Я — совсем-совсем взрослый
Солидный господин...
Но почему же, почему
Душа все еще — малыш?

Перевод Н. Семченко

культура и искусство

Арина РОДИОНОВА

Ирина Оркина — часть пейзажа

Штрихи к портрету

Вневесомости мастерской, с готической елкой на потолке, стремящейся вниз, но почему-то летящей вверх, плавают картины, скульптуры, люди. Стоят одуванчики в вазе, а ваза сама как цветок раскрылась навстречу солнцу. Рядом — с улыбкой теплой, одуванчиковой, хозяйка этого невероятного пространства — Ирина Оркина.

— А елка не готическая, а космическая, — смеется она. — Однажды Лена Дунская привела ко мне детей на мастер-класс. И они увидели эту удивительную елку, висящую вниз головой. А на елке-то конфеты! Правильно, космические! И я начала детей космическими конфетами угощать. И двух не хватило. А на столе точно такие же лежали. Но эти-то были столовые, обыкновенные. Пришлось детей уводить в другую комнату, а я быстро повесила на елку конфеты. Они прикоснулись к волшебному дереву и тоже стали космическими. И все закончилось благополучно!

(К слову, когда в мастерской меняли проводку, елку, которая не осыпалась годы, пришлось убрать, но Дух ее, несомненно, остался.)

Леонардо Да Винчи хорошо сказал: «Если дух не водит рукой художника, то там нет искусства».

И, когда смотришь на то, что сотворено Оркиной, понимаешь, что дух, несомненно, водил ее рукой.

Через линию и цвет передается энергия состояний, ощущений. Недаром одна из выставок Ирины так и называлась «На перекрестке ощущений». Энергию наша героиня часто черпает в пути, она всегда в движении. Сегодня Хабаровск слушает ее стихи и смотрит керамику и картины, проходит месяц-другой — и она в Москве, потом на родине — в Белоруссии, в Мюнхене, где живут сын и дочь.

— Есть такая китайская пословица, — говорит она: — «Настоящему путешественнику неважно, что смотреть — большой город или маленькое болото».

Оркина поистине настоящая путешественница. Ей все интересно, все будто расцветает под ее взглядом, все выплывает в творчество — становится поэзией, керамикой, графикой, живописью и даже философией.

Яркие сочные графические работы вызывают подлинный интерес искусствоведов. Так в Москве, на выставке «Иллюзии духа», искусствовед из Третьяковской галереи назвала работы Ирины этнофутуризмом. Видимо, возникли экзотические ассоциации, пахло свежестью и неповторимостью Дальнего Востока.

Ирина говорит: «Рисовать на природе не получается, потому что, попадая в лес, на берег реки, моря или просто в поле, я ощущаю такой восторг, такое блаженство, впадаю в такую тягучую дрему, что кисть валится из рук. Пробовала обойтись карандашом. Эффект тот же: рука не поднимается.

Становишься частью окружающего мира и в то же время губкой, которая вбирает, впитывает энергию пространства и растворяется в нем. В тайге, например, хочется говорить шепотом или молчать и слушать тишину: в ней так много звуков, музыки и смысла».

Картины-метафоры Оркиной абстрактны, но наполнены воздухом, цветом и светом.

Чувство искреннего, детского восхищения природой перетекает потом в творчество и насыщает его красками земли и воды, неба и травы. После общения с Ириной перечитывала я «Портрет» Гоголя и глаза остановились на строчках:

«Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя... Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью».

А ведь про «душевный родник» — это будто про нее, про Ирину.

Ирина Оркина всегда придумывает что-то новое. То у нее выставка в обувном магазине, то в полутьме Дальневосточного художественного музея инсталляция символизирует рождественскую ель, горят свечи, а керамика преобразается в рождественские игрушки (Ирина родилась в январе, и Рождество — ее время).

Работает художница в стиле «символизм» и сопровождает свои произведения поэтическими строчками. «Символизм, как и другие стили, рассчитан на определенное восприятие и не может нравиться всем без исключения», — говорит она.

Да, не для всех и не всегда открываются золотые ларчики Оркиной. Но уж если они открылись...

Смотрю на скульптурные работы и спрашиваю: не было ли желания сотворить большую скульптуру? Оказывается, один немецкий архитектор сказал Ирине: «Ваша керамика — эскизы больших композиций». Оркина трудится всегда и везде, работает даже в воздухе, в самолетах, правя до посинения тексты. На ее стихи сочиняют песни, с одной из них композитор Сергей Калита стал лауреатом песенного конкурса. А еще Ирина Оркина никогда не цеплялась за быт. Она смеется, что ей хорошо и в палатке, и во дворце. И выглядит, как королева, так что глаз радуется, глядя на нее.

Южная Бавария, где в последние годы часто выставляется Оркина, — знаковое место для художников. Здесь жил Кандинский, который подвел теорию под каждую свою работу. Ирина рассказывает про Германию, про Мюнхен, глаза у нее горят, а я все больше понимаю, что этому человеку везде будет интересно и хорошо, потому что ей интересно и хорошо с самой собой, она никогда и никому не завидует и живет в гармонии с миром.

В книгу «Стихографика» художница написала такое вступление:

«Я родилась на древней земле Полесья. Мои предки — белорусы и поляки.

Выросла в центральной России. Цветущие гречишные поля, аромат липовых аллей в старом помещичьем парке, голубые глаза васильков на ярко-желтых полях спеющей ржи, лесные опушки душистой земляники и соловьи утренних покосов — все это мое счастливое детство Подмосковья. Да, я счастливый человек. Мне дано видеть, слышать, ощущать красоту земли. Мой ум не склонен к сарказму. Я при-

нимаю мир таким, какой он есть. И еще я люблю путешествовать. Любознательность и дорога, любопытство в пути — мне ЭТО нравится».

Вот одно из стихотворений Ирины, которым хочется закончить, поставив не точку, а многоточие...

Будь

*Точка — остановка.
Мне ближе запятая.
И многоточие, зовущее в дорогу, ближе.
И слижет ветер встречный неспелые слова,
Дрова на перекрестке в костер подбросит.
Не спросит, зачем ищу я новый путь.
Лишь скажет, крикнет: «Будь!»*



критика и библиография

Александр УРМАНОВ

«На Амуре все возможно...»*Роман «Амурские волки» как литературный феномен*

Заслуживающая серьезного отношения художественная проза в Приамурье появилась лишь в начале 1900-х годов. Правда, как обычно, в центре читательского внимания оказались отнюдь не самые качественные произведения — не повести Федора Чудакова «Из детства Ивана Грязнова» и «Дочь шамана», например. Увы, самой большой популярностью у амурских читателей начала XX века пользовался «коллективный роман из жизни Приамурья» (так гласил подзаголовок) «Амурские волки», в создании которого ключевую роль сыграл скандально известный журналист и издатель А. И. Матюшенский — единоличный автор еще нескольких подобных произведений на местном материале.

Достоверных биографических сведений о начальном периоде его жизни немного. Александр Иванович Матюшенский родился девятнадцатого октября 1862 года в селе Александров-Гай Саратовской губернии в семье священника. Образование получил в Саратовской духовной семинарии. В середине 1880-х Матюшенский, по его словам, «пошел в народ», три года провел в странствиях по Оренбургской губернии и Западной Сибири, «работал как чернорабочий и на крестьянских полях, и в шахтах золотых приисков, и на полотне железной дороги, и на крупчатной мельнице, и на пристанях Волги при нагрузке судов, точил веретена, шил сапоги, строил глинобитные крестьянские избы, учил грамоте крестьянских ребятишек». В общем, довольно типичная история: в эпоху широкого распространения народных идей и идеалов на такие, в значительной степени мифологизированные, биографии существовал большой спрос.

В девятностые он с головой ушел в журналистику, в качестве репортера работал в газетах Самары, Екатеринбурга, Ирбита, Одессы, Кишинева, Владикавказа, Тифлиса, Баку, Москвы... Сами эти перемещения, напоминающие лихорадочные метания, свидетельствуют: отношения Матюшенского — и личные, и особенно профессиональные — с коллегами складывались непросто, нередко перерастая в острую неприязнь, что в конечном итоге приводило к необходимости менять газету или даже место жительства.

В ноябре 1904 года Александр Иванович перебрался в Петербург и почти сразу же стал сотрудником одной из самых известных столичных газет либерального направления «Сын Отечества». Невероятный взлет провинциального журналиста, имевшего весьма сомнительную репутацию в среде газетчиков!

Но вскоре произойдет нечто еще более удивительное — вчера еще безвестный репортер окажется в эпицентре потрясших страну событий. Накануне ставшего

детонатором первой русской революции «кровавого воскресенья» он познакомился и тесно сошелся со священником Георгием Гапоном, принял участие в деятельности гапоновского «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Как утверждал сам Матюшенский в «Исповеди» (напечатана в начале 1906 года за границей, а в 1917-м вышла отдельным изданием в Благовещенске под претенциозным названием «Гапон и мой Антихрист: История моего безумия»), именно он по просьбе Гапона составил петицию царю, с которой девятого января 1905 года десятки тысяч рабочих и членов их семей отправились к Зимнему дворцу и встречены были винтовочными залпами. В той же «Исповеди» он цинично признавался, что писал петицию «в полной уверенности, что она объединит полусознательную массу, поведет ее к царскому дворцу, — и тут, под штыками и пулями <...> эта масса прозреет <...>. Расчет мой оправдался в точности».

О. Ф. Федотова, опираясь на рассказ дочери Александра Ивановича, утверждает, что «кровь, пролившаяся на улицах столицы, потрясла Матюшенского», что «в расстреле мирного шествия он видел огромную долю своей вины, безумно мучился всю оставшуюся жизнь...»*

У людей, которые лично знали Матюшенского, слова про его «безумные мучения» вызвали бы, наверное, гомерический хохот. Вот, например, как отреагировал на «Исповедь» Матюшенского хорошо знавший его по совместной работе в Самаре в 1895–1896 годах М. Горький. В письме, адресованном А. В. Амфитеатрову, редактору выходившего в Париже журнала «Красное знамя», в котором и была напечатана «Исповедь», Алексей Максимович, в частности, писал: «Матюшенского я знаю, работал вместе с ним в «Самарской газете». Это — неудачный псаломщик, гнилая душа, длинный и жадный желудок. Такие люди воспринимают жизнь брюхом, и в мозгу у них — всегда есть какая-то вонючая, серая слизь. Эти люди органически чужды правде, и все для них — зеркало, в котором они видят свои зубы, постоянно голодные. <...> Вы гоните прочь Матюш[енского], а то он напакостит вам».

Упомянем еще один факт биографии, дающий представление об исповедуемых Александром Ивановичем «высоких» моральных принципах: выпускник духовной семинарии при живой жене с тремя детьми, младшему из которых не было и двух лет, вступил в гражданский брак с Ниной Васильевной Бурдиной — «акушеркой-массажисткой» из Петербурга. Это произошло в 1906-м.

А в мае 1910 года Матюшенский переехал в далекий Благовещенск, где, как он полагал, удастся отсидеться до поры в тени. Свою фамилию он первое время скрывал, жил по фальшивому паспорту, выписанному на Бурдина Александра Ивановича, — то есть укрывшись за фамилией своей гражданской жены. «Конспирация» понадобилась потому, что, несмотря на пять прошедших с «кровавого воскресенья» лет, подлинная его фамилия была слишком памятной для российской общественности, слишком густой шлейф скандальных разоблачений тянулся за ней.

В Благовещенске Матюшенский вначале сотрудничал с газетой «Амурский листок», подписывая свои материалы псевдонимами А. И. Седой, А. Иванович, Изгой. Позже он стал издавать собственные газеты «Амурский пионер» (1911–1912) и «Благовещенское утро» (1912–1917). Именно на их страницах в 1912 году увидел свет коллективный роман «Амурские волки», принесший Матюшенскому литературную известность и определенный доход. В том же году роман был выпущен отдельной книгой, а затем в течение короткого времени дважды переиздан — в 1913 и 1914 годах.

* Федотова, О. Ф. Бестселлер начала века... С. 7.

Роман «Амурские волки» весьма объемён: включает в себя сто пять глав! Совершенно очевидно, что авторов произведения следует искать среди сотрудников газет «Амурский пионер» и «Благовещенское утро», на страницах которых и печатались «Амурские волки».

Как предположил А. В. Лосев, помимо Матюшенского, написавшего львиную долю глав «коллективного романа», в создании произведения приняли участие Н. В. Колодезников и Е. А. Михайлова, сотрудничавшие с газетами, которые издавал А. Седой.

В советское время «коллективный роман» в полном объеме не переиздавался. Лишь в альманахе «Приамурье» в 1956 году были опубликованы несколько глав из него с кратким предисловием Г. С. Новикова-Даурского. Автор предисловия признает, что роман не отличается высоким художественным уровнем. Ценность «Амурских волков», по мнению Новикова-Даурского, состояла в другом — в том, что они «довольно правдиво показывают мораль и нравы дальневосточной буржуазии начала XX века, разоблачают звериную сущность известных амурских воротил <...>, наживших громадные капиталы путем обмана, воровства и кровавых преступлений».

Доподлинно неизвестно, чем руководствовался Новиков-Даурский, составляя предисловие, но результат очевиден: вольно или невольно краевед дал искажённую картину, представив авторов «коллективного романа» как принципиальных противников буржуазного строя, как бесстрашных обличителей язв капитализма, то есть чуть ли не как идейных союзников большевиков.

В «лихие девяностые» роман «Амурские волки» пробудил у части читателей ажиотажный интерес. Эту издательскую конъюнктуру почувствовала газета «Благовещенск», начавшая републикацию произведений Матюшенского, подаваемых как литературная сенсация. Тогда же редакция «Благовещенска» предприняла попытку перепечатать роман в газетном варианте, однако в городе не удалось отыскать ни одного экземпляра книги, вышедшей тремя изданиями. Ее нашли лишь в Российской государственной библиотеке (бывшая Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина). По запросу дирекции Амурского областного краеведческого музея оттуда была прислана копия-микрофильм романа. Перепечатка «Амурских волков» в «Благовещенске» началась в январе 1991 года и растянулась почти на весь год.

Читательский интерес к произведению был настолько велик, что появилась мысль выпустить «коллективный роман» отдельным изданием. Нашлись и спонсоры недешевого издательского проекта — благовещенские предприниматели Э. В. Лисогор и В. А. Золотарев.

«Амурские волки», иллюстрированные художником Юрием Наконечным, были переизданы в 1996 году десятитысячным тиражом*. «Коллективный роман» предваряла вступительная статья Ольги Федотовой. Подготовленная к печати в Благовещенске книга печаталась в Новосибирске, в типографии издательства «Советская Сибирь». С реализацией проблем не было: роман разошелся за три месяца, и сейчас он — библиографическая редкость.

Какая-то, и немалая, часть публики, действительно, нуждалась в таком «искусстве». Подтверждение тому — успех спектакля по роману «Амурские волки», поставленного в марте 1914 года на сцене Благовещенского театра антрепренером А. М. Долиным. Постановка эта стала главной сенсацией театрального сезона. Из-за беспрецедентного для Благовещенска наплыва зрителей, помимо двух премьерных спектаклей, пьесу показали еще трижды. Как свидетельствуют газеты того

* *Амурские волки: Коллективный роман из жизни Приамурья.* — Благовещенск, 1996. — 448 с.

времени, в театр валом валил народ — контрабандисты, сутенеры, проститутки и, что особенно удивительно, купцы-молокане.

Чем же может быть интересен пресловутый «коллективный роман» современному читателю, не являющемуся любителем «низкопробной бульварной беллетристики», тем более вековой давности? «Амурские волки» содержат полный набор свойств и штампов этого специфического жанра массовой литературы. Герои произведения, как и полагается в подобных случаях, — обитатели городского «дна»: контрабандисты, старатели, бандиты (в том числе, этнические — хунхузы), воры, блудницы, разбогатевшие на мошенничестве купцы, продажные чиновники. Места действия — соответствующие: тюремные камеры, притоны, «веселые» дома, игорные заведения, жилища новоявленных богатеев. Что касается сюжетных событий, то и здесь — соответствие канону: хроника городских криминальных происшествий, финансовые и имущественные аферы, грабежи, убийства, захватывающие погони, кипение любовных страстей, сводничество, коварные интриги.

Однако «Амурские волки» — больше, чем бульварный роман. На книгу можно посмотреть и как на зеркало, отразившее, пусть и в искривленном и утрированном виде, то, что реально происходило в начале XX столетия в Приамурье. Почти все ее сюжетные линии и ответвления основываются на подлинных событиях. Это и ограбление транспорта, перевозившего золото с Ниманских приисков, и громкие убийства, и обстрел Благовещенска, русско-китайский вооруженный конфликт 1900 года и последующее разграбление имущества изгнанных на правый берег Амура или утонувших при переправе китайцев, и массовые волнения периода первой русской революции, и скандальные истории поджога пароходов, магазинов и домов их же владельцами — ради получения страховых выплат, и многое другое. Подавляющее большинство этих историй освещалось в прессе, в том числе в газете «Амурский край» (1899–1910), представленной в романе под пародийным названием «Пропавший край».

Возглавляемый и направляемый Матюшенским авторский коллектив — это не писатели, не художники слова в привычном смысле, а газетные репортеры, журналисты-поденщики. То есть люди, профессиональные навыки которых состояли не в литературном творчестве как таковом, не в создании условного художественного мира и вымышленных персонажей, а в оперативном отражении вызывающих общественный интерес фактов и явлений повседневной действительности — того, что они видели собственными глазами, что слышали от очевидцев, узнавали от свидетелей или собственных информаторов. Эти люди по роду своей деятельности вырабатывали, вынуждены были вырабатывать профессиональное умение найти, обнаружить в потоке будничной жизни незаурядные явления и тенденции, даже если они еще слабо проявлены, ярко, броско подать их, по возможности превратить в сенсацию, то есть в товар, пользующийся повышенным спросом на провинциальном газетном рынке.

Взявшись за создание романа — то есть, по большому счету, не за свое дело, авторы «Амурских волков» избрали самый простой и естественный для них путь: по-дилетантски копируя, имитируя жанровые и языковые клише отчасти мелодрамы, отчасти детектива, отчасти уголовно-авантюрного романа, выстраивая разветвленную сюжетную интригу, в центре которой — ограбление транспорта с крупной партией приискового золота, они заполняли непривычную для них жанровую форму привычным содержанием — тем, что было под рукой, чем они профессионально владели. Используемый фактический материал был накоплен ими за годы работы в провинциальных редакциях — своеобразных информационных центрах, куда стекались все более или менее значимые сведения о жизни Благовещенска и в целом Приамурья.

В ту пору провинциальные газетчики были едва ли не самой информированной частью просвещенного сообщества. И репортеры, и редакторы такого рода изданий были в курсе всех местных новостей, особенно криминальных, досконально знали, что происходило в городе и крае, знали всех заметных представителей основных групп населения, всех публичных деятелей. Им были известны не только парадные стороны жизни, но и ее изнанка. Они были осведомлены о нравах, царивших на разных уровнях провинциального социума, включая «дно». Они и сами были частью мира, о котором рассказывали.

Большая часть описываемых в романе событий, персонажей, совершаемых ими поступков не является плодом чистого вымысла, проявлением буйной, ничем не ограниченной фантазии авторов. Материал для «Амурских волков» в основном черпался из того же самого информационного потока, который питал газетные публикации. Правда, у авторов романа были в большей степени развязаны руки: они могли основываться не только на достоверной информации, но и на слухах, предположениях, в том числе фантастических. Не было у них и необходимости строго выдерживать хронологию, воссоздавать события в их подлинной исторической последовательности. Заменяв настоящие имена прототипов вымышленными — либо легко узнаваемыми (так, купцы Алексеевы предстали в романе как Алехины, Косицыны — как Покосовы, Семеров — как Семеркин), либо откровенно фельетонными (Искарियोтова, Хулиганов, Подхалимов, Трутнев), авторы юридически обезопасили себя от обвинений в клевете, в покушении на честь и деловую репутацию известных в городе и крае людей. И в то же время сделали все возможное, чтобы по деталям современники легко догадывались, кто имеется в виду. Интерес к «Амурским волкам» во многом был вызван тем, что в романе искали (и находили) подтверждение слухам, в том числе самым невероятным, о реальных лицах и подоплеке реальных же событий. Произведение воспринималось частью читателей как «срывание всех и всяческих масок» с действительности, как обнажение подлинной, неприглядной и потому замалчиваемой, скрываемой властью правды жизни.

Однако «Амурские волки» дают представление не только о социальной жизни Приамурья начала двадцатого столетия, но и о сознании тогдашних людей. Произведение показывает, чем, какими интересами и заботами они жили, к чему стремились, что обсуждали, как воспринимали окружающий мир и своих современников.

Авторы коллективного романа, в своей основной работе ориентировавшиеся на вкусовые предпочтения, информационные и эстетические запросы провинциальной читающей публики, во многом походили на нее. Ведущий автор «Амурских волков» вполне мог стать и одним из прототипов романа, в котором действуют разного рода авантюристы. По крайней мере, для человека с таким жизненным багажом, как у него, вряд ли могла быть тайной за семью печатями психология подобных героев.

Соавторы А. Седого да и он сам выстраивали повороты сюжета, характеры и взаимоотношения героев, их внутренний мир, их речь в соответствии со своим жизненным и профессиональным опытом, со своими представлениями о том, как на самом деле устроены российская действительность и русский человек.

Прочтение романа под определенным углом зрения может помочь реконструировать сознание, систему ценностей весьма распространенной категории читателей предреволюционной эпохи. Речь не об интеллектуальной и культурной элите российского общества, не о той сравнительно узкой и замкнутой части социума, которая ментально ощущала себя в координатах культуры Серебряного века, которая впитывала идеи русской классики и религиозной философии начала столетия. И не о составляющем большинство населения тогдашней России крестьянстве, жившем заботами о хлебе насущном, тесно связанном с землей, с

естественным, природным течением бытия. В данном случае имеется в виду самый мощный, срединный слой городского, так называемого «просвещенного общества». В основном его составляли провинциальные чиновники, выборные и служащие органов и учреждений местного самоуправления, служащие частных компаний, провинциальные газетчики, часть имеющего весьма специфические культурные запросы мещанства, мелкая и средняя буржуазия.

Вопреки утвердившемуся еще в советское время мнению, идейный смысл романа не сводится к обличению «морали и нравов дальневосточной буржуазии», к выявлению «звериной сущности» «местных буржуазных воротил», наживающихся на спекуляции, грабежах и убийствах. Хотя и эти стороны действительности получили впечатляющее отражение в «Амурских волках». Однако мораль и нравы буржуазных дельцов в романе ничем не отличаются от морали и нравов представителей иных групп населения.

Инициатор ограбления транспорта с двадцатью пудами золота купец Василий Александрович Алехин, один из самых богатых людей города, не останавливается «перед любым преступлением, перед любым мошенничеством». Этот человек «с тупым лоснящимся лицом» двадцать лет назад, когда он еще был Алехой Тимохиным, из-за золота «товарищей своих прикончил и стал богат». Он и сейчас способен ради наживы погубить доверившегося ему человека, хотя нынешний статус вынуждает его осторожничать, совершать злодеяния преимущественно чужими руками.

Примерно так же, как Алехин, действуют и другие персонажи, представляющие разные сословные группы, но одинаково легко нарушающие заповедь «не убий».

Самые чудовищные зверства, жертвами которых становятся даже дети, совершает банда Антонины Искаритовой — известной в городе женщины, героини событий русско-китайской войны. Яркая, умная, хладнокровная Искаритова была центром кружка «жуирующих людей и царила в нем, распоряжаясь и сердцами, и кошельками». А темными ночами она тайно приходила к полицейскому чину Звонареву и подолгу беседовала с ним. О чем — становится понятно, когда однажды ранним утром Искаритова со спутниками, одетыми под кавказцев, подъехала к дому купца, у которого, по ее сведениям, должно было быть на руках двадцать тысяч рублей. После того, как она отравила собак, а спутники фомкой сняли дверь с петель, Антонина вошла в дом и стала хладнокровно расстреливать из браунинга всех, кто ей попадался: в прихожей хозяина, в спальне пожилую женщину, прячущегося за нее «хорошенького мальчика лет четырех», затем крепкого молодого человека, который выскочил с топором в руке, шестнадцатилетнюю девушку, далее девочку лет шести, юношу лет шестнадцати со столовым ножом в руке, здорового мужчину с поленом в руке, видимо, кучера... Вместо денег, правда, убийцы нашли расписку, в которой говорилось, что хозяин дома накануне внес в банк те самые двадцать тысяч, из-за которых была устроена страшная резня.

Зверские убийства взволновали город, но Звонарев так вел следствие, так умело направлял общественное мнение, что все стали думать на кавказцев. А вскоре произошло еще одно жестокое преступление: «Вырезана семья кассира городской управы. Разбойники и тут действовали дерзко и зверски жестоко. Вместе с другими зарезан был и ребенок лет пяти». И все это — ради контрабандного золота, хранившегося у хозяина.

Такая вот амурская «Кушевка» столетней давности... В то, что такое могло произойти, поверить трудно, почти невозможно. Однако сомневаться не приходится: авторы «Амурских волков» описывали не вымышленные, а подлинные случаи.

Двигатель всех совершаемых в «коллективном романе» преступлений — корысть, алчность, неутолимая жажда наживы. Золота, денег воделеют все: убий-

цы и грабители, тюремщики и тюремные сидельцы, «святые старцы» и рядовые члены молоканской общины, таможенники и контрабандисты, крупные купцы и мелкие торговцы, чиновники всех рангов, судьи, дознаватели, полицейские... Ради наживы многие из них готовы пойти на преступление. Хотя, наверное, называть их «преступниками» не вполне правильно. Они в большинстве случаев даже не осознают, что что-то преступают. Преступать — значит что-то преодолевать в себе, хотя бы страх перед законом или Богом, подавлять жалость к другому человеку или же безразличность, отвращение к собственному поступку, задуманному или уже совершенному. Здесь же нет никакого внутреннего преодоления, никакого осознаваемого преступающего норм морали, а после совершения мошенничества или кровавого злодеяния — никаких мук совести, ни даже тени раскаяния или хотя бы сожаления. Герои романа пребывают в полной уверенности: позволено все, что ведет к обогащению, к личному преуспеянию.

Купцы и промышленники Арносов, Августов, Алехины, Покосовы беспрестанно жульничают, но точно так же, а в некоторых случаях и более беззастенчиво и нагло, жульничают чиновные люди, государственные служащие: Балюшевич, Звонарев, не названный по имени «чиновник особых поручений при губернаторе», влиятельные городские чиновники одинаково безликие, алчные и продажные — Андрей Андреевич, Григорий Григорьевич, Петр Петрович, Федор Федорович... Если купцы — это преимущественно «волки», способные загрызть жертву, то чиновники в образной системе романа — трусливые «шакалы», стремящиеся урвать кусок пожирней с пиршественного стола первых. Так, например, когда слухи об очередном крупном мошенничестве Алехина с поддельным золотом (на сорок тысяч «нагрел» китайских перекупщиков) стали известными в городе, к нему тут же потянулись «шакалы» — городские чиновники, вымогающие взятки. Сначала появились люди «первого разряда», человек шесть (всем пришлось дать), потом чиновники «второго разряда» (давал меньше и выборочно), потом стала одолевать всякая мелкота (этих гнали в шею).

Но чаще всего «волки» и «шакалы» действуют сообща, сбиваясь в стаи. Все они — представители государственной и муниципальной власти, правоохранители, судьи, буржуазные дельцы, уголовники — тесно сплетены в один ядовитый клубок, в один гигантский «кооператив», подобие единой партии — партии тогдашних жуликов и воров. Главное, что всех их объединяет — жажда наживы и хищнические наклонности. Мир романа населен множеством зооподобных существ — персонажей, которых и они сами, и другие герои, и авторы бесчисленное число раз именуют волками и шакалами. Слово «волк» (вместе с производными) — самое частотное и концептуально значимое в книге. Помимо заглавия произведения, оно присутствует в названиях десяти глав. Слово «шакал» фигурирует в названиях трех глав.

Уподобление персонажей хищным животным, зверям имеет вполне объяснимую мотивацию, так как в литературной традиции зверь — это, прежде всего, инстинкт, торжество плоти, мир плоти, освобожденной от души. Сказанное справедливо по отношению к большинству персонажей «коллективного романа». Это не люди, а звероподобные существа, утратившие (или никогда не имевшие) представление о высшем смысле человеческого бытия, не знающие простых человеческих чувств и добродетелей — любви, нежности, верности, жалости, сострадания. В этой среде волчьими наклонностями принято не стыдиться, а гордиться, их не только не маскируют, но, напротив, демонстрируют. Волчья душа тянется к себе подобной. Потому-то купец Иван Арносов, сделавший состояние на воровстве и обмане, ничуть не расстраивается, узнав, что жена обманывала его, изменяла ему с другим отъявленным мошенником — Леонтием Балюшевичем. «Да ты, Софочка, не волнуйся, — успокаивает он ее. — Лишь бы душой ты от меня не ушла... А я

знаю, что не уйдешь. Душа-то твоя родная сестра моей душе. Одинаковые они у нас с тобой, Софочка, одинаковые. Волчьи, матушка, волчьи!» И обманутый муж предлагает жене для удобства встречаться с любовником не в гостинице, а у себя дома. И даже просит ее сильнее «приворожить» Леонтия — чтобы наладить с тем более тесные деловые отношения и на этом «заработать толику». Балношевича такой поворот тоже нисколько не смущает, ибо натура у него такая же волчья, как и у двуногих хищников Арносовых.

Широкое применение в «Амурских волках» зооморфных сравнений и уподоблений напрямую связано с отразившейся в романе духовно-нравственной деградацией и отдельных людей, и всего общества.

Вот один из случаев объединения волков и шакалов в преступные стаи, описанный в романе и имевший под собой реальную историческую основу, — разграбление китайских лавок, складов и жилых домов после событий июля 1900 года: «Образовалась целая шайка. Товары на глазах всего населения города вывозились <...> и бесследно исчезали». Шайку возглавляет Звонарев. Когда-то этот хорошо информированный господин служил на почте, а сейчас на нем мундир могущественного государственного ведомства. Вокруг Звонарева и его помощников по службе (и криминальному промыслу) Ломягина и Костеренко собирается весьма разношерстная публика: представители городских властей, бандиты, купцы, мелкие спекулянты, служители правопорядка. Среди них оказываются и такие колоритные фигуры, как Антонина Искаротова, Кузька Подхалимов, Трутнев. Шайка действует в открытую, но никто из власть предержащих не реагирует — все «в доле»: «Все это было известно городскому голове и сиротскому суду. Но голова и суд молчаливо покрывали этот грабеж. В сиротском суде в то время сидел секретарь, составивший отчеты опекунам, выводивший дутые цифры и прикрывавший всякий грабеж. При таких условиях все сходило с рук безнаказанно».

Авторы «коллективного романа» словно убеждают читателей: одолеть волков и шакалов невозможно, ибо они приспособляются к любым изменениям социально-политической конъюнктуры. Чтобы нагляднее продемонстрировать способность героев к мгновенной социальной мимикрии, авторы романа отступают от хронологии и переносят главарей шайки грабителей китайского имущества из 1900 года сразу в 1905-й, то есть в социально-исторический контекст первой русской революции.

В городе начинаются народные волнения: «Тысячные толпы ходили по улицам, собирались на площадях. В народе мигом приобрели права гражданства досель неслыханные слова: свобода, митинг, конституция, революция, оратор, лидер, платформа и т. д. И эти новые слова как будто электризовали публику. Все были возбуждены и все желали великих дел и героических поступков. В водоворот этого возбуждения и попал Звонарев со своими сподвижниками. От них потребовали отчета в их действиях. <...> Перепуганный насмерть Звонарев тотчас <...> принес покаяние и поклялся, что отныне будет верным слугой народа и, если потребуется, умрет за свободу».

Судя по саркастическому тону, с которым описывается энтузиазм участников революционных шествий и внезапное «прозрение» жуликов от власти, главу о 1905 годе, похоже, писал автор «Исповеди» Матюшенский. Видимо, никаких иллюзий по поводу того, что социальный переворот, смена формы правления могут изменить сущность человека и порядки в стране, в 1912 году он уже не питал.

В таком же ключе выдержан и финал романа, который не укладывается в привычную схему. Порок хотя и наказан, но очень избирательно. Из всех представших на страницах произведения многочисленных убийц, грабителей, мошенников пострадали лишь трое: на пять лет каторжных работ осуждены горе-поджигатель

Хулиганов и заказчик поджога Федор Покосов, десять лет каторги получила Искариотова. Про торжество добродетели говорить вообще не приходится. Финальный абзац таких надежд не обещает ни в настоящем, ни в будущем: «Кузька Подхалимов избран гласным Думы и с нетерпением ждет назначения почетным мировым судьей. Это его мечта. И, говорят, она исполнится. В наше время все может быть».

Те процессы в социальной жизни и общественной морали, которые отразились в романе, не были результатом мгновенной трансформации, они созревали и подготавливались не одно десятилетие, а ускорение получили в эпоху бурного развития капитализма. Процессы эти, разумеется, имели отнюдь не региональный характер, они действовали во всей России, но на Амуре — особенно быстро и агрессивно. И по причине удаленности амурских земель от центра государства, от основных институтов власти, и в силу геополитической необходимости создать здесь благоприятные условия для ускоренного освоения присоединенных к России обширных пространств. А еще потому, что сюда, на новые земли, прославившиеся «русской Калифорнией», краем, где можно сказочно быстро разбогатеть, слетались во множестве любители наживы, лихие, склонные к аферам дельцы, в том числе и уголовники.

На Амуре концентрация мошенничества была выше, чем в Центральной России. Один из братьев Покосовых, Федор, нанявший Володю Хулиганова поджечь ради страховки собственный пароход, груженный не пушниной, как значилось в документах, а битым стеклом и другим хламом, успокаивает родственника, опасавшегося каторги: «Тут не Россия. Тут и не такие дела сходят с рук». На реплику Хулиганова, что де в России законы везде одни, он уверенно отвечает: «Законы-то одни, да люди другие. В России, ежели ты поджег пароход, так шум поднимется на весь мир. А тут... посмеются немного, и все тут».

Если верить «коллективному роману» деградация затронула многие сферы жизни. Бурными темпами утверждающийся на Амуре «дикий капитализм» и сопровождающий его культ наживы и чистогана создают максимально благоприятные условия для развития и проявления худших человеческих качеств. Все возвышенное постепенно сходит на нет, вытесняясь низменным, порочным. Серьезным испытаниям подвергаются традиционные семейные ценности, институт семьи и брака: «В городе вообще на «свободную» любовь смотрели довольно легко, и всевозможные сожителства ни в ком не вызывали удивления». Процветает сводничество, не пустуют «веселые дома». Выведенные в романе женщины ощущают в себе не любовь, а «инстинкт самки», «половое возбуждение», «половой психоз», в лучшем случае «безумную страстность». И практически все они воспринимают себя как товар, который можно выгодно продать. В свою очередь, для мужчин женщина — «лакомое блюдо», «кушанье», которого хочется «отведать». Дети, подростки из бедных семей попадают в ловко расставленные сети богатых развратников (пивной заводчик Августов). Множатся наркоманы, которыми переполнена тюрьма. В общем, печальная картина, разительно похожая на ту, которую рисуют средства массовой информации периода современных «рыночных преобразований».

В отсутствие испарившейся неведомо куда подлинной веры, подлинного религиозного чувства у человека не находится внутренних сил для противостояния злу и пороку. Внешних сдерживающих факторов в обществе тоже практически не осталось: власть поражена тотальной коррупцией, а церковь все в большей степени становится местом отправления формального ритуала, почти не связанного с душевно-духовной жизнью человека. Посещение храма может чередоваться с совершением преступлений, с мошенничеством, и это не воспринимается как что-то несовместное. Так, об одном из самых отъявленных жуликов католике Балюшевиче говорится, что «он был человек религиозный» и церковь «посещал аккуратно каж-

дое воскресенье». В силу цензурных причин авторы «Амурских волков» не могли поставить под сомнение авторитет православной церкви, поэтому о ней вообще не упоминают. Зато целых три главы посвящают порядкам в молоканской общине Благовещенска. Суть этих порядков предельно проста: согрешил, смошенничал — отдай «десятину» Богу, точнее, «святым старцам», руководителям общины, а уж они «отмолят», «снимут грех». Не поделился — главари общины сделают все, чтобы человека постигла кара, причем не небесная, а земная. То есть и здесь царят те же самые волчьи законы и нравы, что и в мирской жизни.

Таким образом, можно заключить, что авторы «Амурских волков», преследуя прежде всего коммерческие цели, не ставя перед собой серьезных художественных задач, произвольно перемешивая правду с вымыслом, подлинные факты со сплетнями, отразили в своем бульварном романе многие язвы современного им общества.

Что зафиксировал их взгляд? Если сказать коротко, ситуацию, при которой главной, чуть ли не единственной настоящей ценностью для большинства жителей Приамурья является нажива, неважно какой ценой (убийствами, грабежами, воровством, мздоимством, жульничеством, сводничеством, торговлей телом) приобретенные деньги. Вопреки, быть может, собственным намерениям, авторы обнаружили повсеместную утрату людьми и религиозного, и государственного, и национального сознания, практически полное исчезновение нравственных и духовных идеалов в повседневной жизни российской глубинки, в непосредственной практике основных сословных групп населения. Иначе говоря, явные признаки разложения, серьезного духовно-нравственного недуга, поразившего значительные слои русского общества в канун больших исторических испытаний 1914–1917 годов.

***P.S.** Дальнейшая судьба А. И. Матюшенского сложилась так. В 1921 году за попытку переправить статью в Харбин власти ДВР приговорили его к смертной казни. Но кассационный суд отменил ее. Однако Александр Иванович решил не испытывать судьбу и в 1923 году бежал с семьей в Харбин, где и умер в 1931 году.*



общая тетрадь

Александра НИКОЛАШИНА
Юрий ШМАКОВ

Саша и Юра. С песней ПО ЖИЗНИ

ОТ ОДНОГО ИЗ АВТОРОВ

К сожалению, второго автора этой публикации журналиста Юрия Дмитриевича Шмакова уже нет в живых.

Но было время — начало и середина девяностых годов — когда мы работали с ним в газете «Молодой дальневосточник», сидели в одном тесном прокуренном кабинете, буквально как пираты из песни: «Спина к спине у мачты против тысячи вдвоем», во время отпусков сплавливались по горным рекам, дружили домами и были вполне счастливы.

Странная все-таки штука — жизнь.

Для кого-то «лихие девяностые» обернулись кошмаром, многие люди их без содрогания даже вспоминать не могут, а мы с Юрой, смешные, радовались. Между тем, получали, как и все, гроши, а то и вовсе без зарплаты сидели, зато писали, о чем хотели, и ощущали себя гражданами свободной — наконец-то! — страны...

Ах, наивные, — замечу я в скобках.

Однако не в этом дело.

Иногда нас посещали замечательные идеи.

Например, во время встречи нового, 1996, года.

...Давно уже спали дети, и Маша, Юрина жена, сказав: «Вас не переслушаешь!», тоже ушла спать, а мы с Ю. Д. все сидели под елочкой, терзали гитару и тихонько, чтоб никого не будить, напевали любимые песни нашей юности. А также зрелости.

И вдруг меня осенило:

— Юра, — сказала я. — А что мы с тобой просто так, безо всякого смысла поем? Давай со смыслом. Давай будем вспоминать по очереди каких-нибудь близких людей, короткие истории про них и песни, связанные с ними же? Ведь все песни ассоциируются у нас с друзьями. Или, по крайней мере, с какими-то реальными ситуациями.

— Давай! — с энтузиазмом согласился Шмаков.

И понеслась...

Угомонились мы только с рассветом.

Зато в первый рабочий день на редакционной летучке Юрий Дмитриевич сделал сенсационное заявление:

— Мы с Александрой Викторовной решили открыть новую рубрику. Она будет называться «Колонка Саши и Юры. С песней по жизни».

— Вот еще чего! — фыркнула я. — Мне это название не нравится. «Колонка Саши и Юры» — хорошо, а «С песней по жизни», по-моему, не очень. К тому же Юлий Ким этот слоган давно опошил: «Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда, и нигде, и ни за что!» Хочется добавить «и ни с кем», да в размер не укладывается. Я предлагаю такой вариант: «Колонка Саши и Юры. На два голоса спеть». Согласитесь, это звучит лучше и не так по-советски пафосно.

— Глупости, — отрезал Шмаков. — Я настаиваю на «С песней по жизни».

— Вы уж как-нибудь, господа песняры, определитесь с названием, — хмыкнул редактор, — а потом предлагайте.

После непродолжительного спора с разгромным счетом победил Шмаков.

— Конечно... — забормотала я. — Пусть будет «С песней по жизни»... Это точнее определяет суть рубрики. И вообще, когда джигиты говорят, женщины молчат. Я понимаю. Я согласна.

Хотя, разумеется, была несогласна, и «ой-люли песня по жизни» мне не нравится до сих пор. Придурковатым каким-то оптимизмом от нее веет.

Да что уж теперь...

Без Юрия Дмитриевича я ничего менять не могу и не буду.

Одним словом, «Колонка Саши и Юры» обозначилась на страницах газеты, и ровно два года, до конца 1997-го, радовала читателей. У нас даже появились свои фанаты.

...Во время очередного сплава в далеком лесном поселке мы зашли в местную библиотеку. Девчонки-библиотекарши ахнули, притащили альбом с вырезками нашей колонки, аккуратно подклеенными на отдельные листочки, и сказали:

— Мы ни одной вашей публикации не пропускаем.

Авторы слегка зарделись от удовольствия и приосанились.

В общем, это было славное время. Жаль, что быстро закончилось.

Незадолго до смерти Юрия Дмитриевича мы вспоминали с ним ностальгически минувшие дни и пришли к выводу, что случайно, развлекая себя, а заодно и читателей, написали неплохую книжку. И не худо было бы ее издать — с фотографиями и рисунками, со справочным аппаратом — кто автор песен, где можно найти ноты...

Но уж такие мы с ним оба оказались «пробивные» коммерсанты, что, конечно, никаких денег ни у каких спонсоров не нашли. Впрочем, не сильно-то и искали.

Двадцать лет эти тексты желтели и пылились в личном архиве Юрия Дмитриевича — он был аккуратным человеком, и, не хуже, чем у библиотечных девочек, все вырезки из газеты у него тоже были подклеены на отдельные листочки. Спасибо дочке Ю. Д. Гале Шмаковой — архивы отца она сохранила в целости и сохранности.

Я выбрала из ста наших публикаций (а их было именно сто — на этой красивой цифре «Шахерезада» прекратила дозволенные речи) самые, на мой взгляд, интересные.

Все же это не книжка, а ее журнальный вариант.

Допускаю, что Юрий Дмитриевич выбрал бы другие тексты. Не все, безусловно, но кое-что выкинул бы из моей подборки и на первое место поставил бы то, что я убрала.

Я знала его вкус.

Прости, Юра!

Так уж сложилось, что ни на два голоса уже не споешь, ни песен, чтоб идти с ними дальше по жизни, не осталось.

И вот вам фрагменты нашей неизданной книжки.

Александра: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА

Я расскажу про любимую песню моей матери.

Во-первых, девушка скромная, кроткая и пр. и должна начинать с маменьки, а не с себя, а во-вторых, меня всегда удивляло — почему песни ее юности (а это — «угар НЭПа», я — поздний ребенок, рожденный на пятом десятке) оказались так живучи, что пережили не только своих создателей, но, видимо, и нас переживут?

Я просто обалдела, когда мой подросток сын, научившись брэнчать на гитаре, завыл вдруг на всю квартиру трагическим голосом: «Есть в Батавии маленький дом...» Надо же, и мы эту песню пели, когда нам было по пятнадцать лет.

Только маленький дом находился тогда в Боливии (или в Италии — у кого как), ну а вся остальная бредятина с неграми-слугами, засовами, братьями, не узнавшими друг друга, и морем крови из-за каких-то там кос повторялась слово в слово. Что-то, выходит, есть привлекательное в наивных «ужастиках» доверенной поры...

Но любимой песней моей матери была, конечно, не эта. Она, вообще-то, часто напевала Вертинского, они так прекрасно гармонировали друг с другом: в мамочке до старости оставалось нечто декадентское, она была худенькая, с серебряными волосами и яркими голубыми глазами, в белой блузке, и я не помню более трогательного зрелища, чем Гутя (так ее звали), укачивающая внука. Она лежала на диване и пела ребенку: «Грустит в углу Ваш попугай Флобер, он все твердит: «Жамэ, жамэ, жамэ!» и плачет по-французски».

Чудо!

Я даже знаю, почему я не боюсь старости. Потому что мне все время рисуется идиллическая картинка: я, седенькая и сухонькая, как мать, лежу на диване, держу в руке розовую ручку младенца и тихонько пою ему — не «Попугая Флобера», конечно, это не моя песня — а, скажем, Геннадия Шпаликова: «Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, и лишь осенние леса на белом свете остаются...» Но я, кажется, отвлеклась от темы.

Когда у матери было хорошее настроение, она всегда мурлыкала нечто, не имеющее ни начала, ни конца, так что невозможно было понять — о чем, собственно, песня, всего две строки: «У нее голубые глаза и дорожная серая юбка», а дальше — ту-ру-ру, ту-ру-ру, ля-ля-ля... Что-то светлое, наверное, навевала ей эта простенькая мелодия, далекое, забытое. Хотя отчего ж забытое? Память у мамочки была хорошая, и тайн из своего прошлого она не делала.

Песня напоминала ей путешествие морем из Владивостока в Анадырь через Японию, с заходом в Хакодате. Она ехала к жениху на Чукотку, и «дорожная серая юбка» обошлась ей в месячную зарплату. Правда, был еще и жакетик, и серая велюровая шляпка с тремя узкими полосками на тулье: синей, желтой и черной. Ах, эта потрясающая женская черта: и в семьдесят лет помнить в мельчайших подробностях свои наряды сорокапятилетней давности!

Итак, шел тридцать третий год, мамочке было всего двадцать пять, она ехала к жениху, погоды стояли прекрасные, попутчики были любезные (кто-то из них сказал, что в этой шляпке она похожа на юную Мэри Грант, отважно отправившуюся на поиск своего отца), мамочка хмыкнула, но комплимент тщеславно запомнила на всю жизнь. Одним словом, все было хорошо. Просто замечательно.

Но среди матушкиного багажа стоял маленький кожаный чемоданчик, называемый в те времена почему-то «балеткой». И принадлежал этот чемоданчик жениху, а что было в нем — мать не ведала, просто везла по просьбе любимого человека, и все.

Правильно, девушки, похожие на Мэри Грант, по чужим чемоданам и не должны шариться, к тому же я — не следователь НКВД, и подозревать матушку мне резону нет. Думаю, она действительно ничего не знала.

В Анадыре вместо жениха Сережи ее встретили хмурые люди в штатском. Их интересовал чемоданчик: там лежали труды Троцкого, какие-то брошюры и журналы из-за бугра... Жених Сережа, выпускник института Красной профессуры, был, оказывается, матерым вражиной. Органы аттестовали его даже как организатора троцкизма на Дальнем Востоке.

Ничего себе!

Арестовывать мать чекисты не стали (времена еще стояли относительно мягкие), посадили на тот же пароход и отправили обратно. Путь назад был, конечно, печален.

Примечательно, однако, что мать никогда не поминала Сережу недобрым словом за то, что он ее подставил: чемоданчик знаменитый аукнулся в тридцать восьмом, когда арестовали уже ее, а Сергей к тому времени давно был расстрелян. Но это — совсем другая история.

И вот прошло много-много лет, плохое забылось, хорошее, впрочем, тоже, но кое-что осталось: рецепт блюда сукияки, например, которым мать угощали в Хакодате, классная вещь — мясо, порезанное лапшой, как для бефстроганов, лук и помидоры в равных пропорциях, а сверху много зелени. Ну и паста мисо, конечно. Мы с мамочкой очень рекомендуем. Еще имя осталось — Сережа, настроение, с которым ехала, и две строчки из песенки: «У нее голубые глаза и дорожная серая юбка...»

Остальное — уплыло.

Жаль, матери уже нет в живых, ей было бы забавно прочитать полный текст песни. Там, оказывается, речь шла о пикантном приключении. Но потому, наверное, и выпали слова из памяти, что приключение было не ее. Ее, вы уже знаете, было покруче. Но закончилось все примерно одинаково: наша девушка тоже облилась слезами...

СЕРАЯ ЮБКА

Когда в море горит бирюза,
Опасайся дурного поступка.
У нее голубые глаза
И дорожная серая юбка.

Припев:
Брось, моряк, не грусти,
Не зови ты на помощь норд-веста.
Эта мисс из богатой семьи,
Эта мисс ведь чужая невеста.

Увидавши ее на борту,
Капитан вылезает из рубки
И становится с трубкой во рту
Перед девушкой в серенькой юбке.

И наружно владея собой,
Капитан к незнакомке подходит,

О поэзии грустной морской
Разговор оживленный заводит.

Говорит про оставшийся путь.
Мисс любит море и шлюпкой,
А он смотрит на девичью грудь
И на ножки под серенькой юбкой.

А наутро в каюте видна
Позабывшая верная трубка,
И при матовом свете окна
Вся измятая серая юбка.

А как кончится рейс, наконец,
Мисс уедет на берег на шлюпке,
И другой поведет под венец
Эту девушку в серенькой юбке.

И опять он стоит на борту.
Только нету в зубах верной трубки.
А в далеком британском порту
Плачет девушка в серенькой юбке.

Юрий: НАШ МАЛЕНЬКИЙ БРОДВЕЙ

«Жили три друга-товарища в маленьком городе N...»

Были три друга-товарища взяты фашистами в плен и погибли геройской смертью.

Песня про войну, а первая строчка — прямо про нас.

Было нас три товарища, называли мы друг друга на американский манер: Женька — «Джо-Банджо» (потому что классно играл на гитаре), Мишка — «Майкл-Бетон» (боксом занимался), а я — просто Smok, оттого что зачитывался Джеком Лондоном, шлялся в одиночные турпоходы и первым в компании курить начал.

И жили мы в натуральном городе N, у которого имени не было, «почтовый ящик N такой-то» он назывался, и на карте вы его до сих пор не найдете, хотя на поверхности город мой родной вполне приличные квадраты занимает, одна главная улица длиной в час ходьбы. На ней я и вырос.

Строить город начали после войны, самые первые дома были двухэтажные деревянные, благо, стройматериалы прямо на месте будущей улицы росли, и называли ее «имени Победы». Потом, значит, в пятьдесят втором году за ночь таблички с домов снимали, и утром жильцы обнаружили, что живут на улице Берии. Был, кто не знает, такой сталинский министр внутренних дел, который курировал атомную промышленность и концлагеря, а в моем родном городе и то, и другое присутствовало — как вы думаете, кто его строил? И этот нехороший куратор с инспекцией к нам приехал — вот название улицы и поменяли. Сюрприз, так сказать. Ну а потом «Берия, Берия вышел из доверия, и товарищ Маленков надавал ему пинков», да не просто пинков, а расстреляли Лаврентия Павловича в бункере, как шпиона всех империалистических держав, и улицу срочно переименовали в память недавно

ушедшего в ад товарища Сталина. Однако и это название просуществовало всего три года, и после XX съезда к домам уже намертво приколотили «имени Ленина». Так она и сейчас называется.

...Когда тесен стал нам родной двор, и перестали быть тайной чердаки и подвалы, мы открыли для себя вечернюю улицу, ее центровую часть — от Театральной площади (да, представьте, у нас в городе и театр был) с двумя скверами и фонтанами до площади имени (конечно же) Ленина, где были стадион, парк, ДК и танцплощадка. И называлась эта «наша улица» так же, как во многих больших и маленьких городах того времени — «Бродвей». Или просто «Брод».

Вот идем мы три друга-товарища по Броду, заглядываемся на девочек, еще боясь знакомиться, но уже мечтая... У Джошки за плечом гитара, как винтовка, висит. Майкл по сторонам смотрит: вдруг где «толковище» и знакомым помочь надо? А знакомых-то — полгорода, и пока до сквера дойдем, раз пять в разборки вяжемся. Но не драки это были, не мордобой до крови — так, ритуальное махание кулаками.

В сквере сядем на скамейку, Джошка — гитару в руки, ударяет по струнам: «Мы идем по Уругваю, ночь хоть выколи глаза, слышны крики попугаев и мартышек голоса!» — и вот уже толпа вокруг нас — подпевают, завывают, Майкл отбивает на спинке скамейки ритм, а Женька на тот же мотив: «Раз стилягу хоронили, строй подруг за гробом шел, все стиляги на могиле танцевали рок-н-ролл...»

Может быть, на другом конце Земли Джон или Пол со своими друзьями вот так же сидели в каком-нибудь ливерпульском скверике и орали под гитару что-то «американское»...

Мы еще не знали жизни, любви, предательства, смерти — оттого так легко пели об этом.

Все еще впереди.

ПЕСНЯ О НЕГРЕ ДЖОНЕ

На Бродвее шумном
чистил Джон ботинки,
И блестят у негра
лишь белки у глаз.
Джон влюбился в ножки
маленькой блондинки —
Машинистки Полли
фирмы «Джемс Дуглас».
И в четыре ровно
выйдя из конторы,
Проходила мимо
Полли каждый день,
И лаская взглядом
маленькие ножки,
Чистил Джон ботинки,
позабыв про лень.
Но однажды Полли
вышла из конторы
Не в четыре ровно,
а поздней на час.
И за нею следом
медленно и томно

Шел владелец фирмы
мистер Джемс Дуглас.
Заблестели слезы
на глазах у негра,
Улица в тумане
словно поплыла.
Желтые ботинки
мистера Дугласа
Джон почистил черной
ваксой, как смола.
На Бродвее шумном
негра линчевали,
Дико заливался
ресторанный джаз.
Джон погиб за ножки
маленькой блондинки —
Машинистки Полли
фирмы «Джемс Дуглас».

В марте девяносто четвертого мне пришло письмо от Мишкиной мамы. Перед Новым годом Майкл ехал на машине, столкнулся с автобусом. Мою традиционную «новогоднюю открытку» мама положила на могилу, ее занесло снегом, и мама не могла мне обо всем написать — адреса не знала. В марте открытка оттаяла...

Александра: УЛИЦА ЮНОСТИ

Когда я была такой юной, что даже улица, на которой я жила, называлась улицей Юности, я была любимой девушкой одного, тоже очень юного, художника. Звали его Сережа. Мы снимали маленькую комнатку в двухкомнатной «хрущевке» у тети Гали, женщины симпатичной и либеральной: свидетельство о браке она у нас не спрашивала.

Большую часть конуры занимала огромная, едва ли не дореволюционная кровать, а оставшееся пространство загромождал монументальный резной шкаф, навсегда запертый на ключ, поэтому юбки свои и платья я развешивала по стенам вперемежку с этюдами — моими и Сережиными. Выглядело это все живописно. Столом нам служил чемодан: мы ставили его на кровать, накрывали скатертью и ужинали, поджав ноги по-турецки. А ужин иногда заключался в краюшке хлеба, тайком отрезанной мною от хозяйской булки, и воде из-под крана.

Мы были такие счастливые нищие, что даже странно: только в самой ранней юности можно так не печалиться о деньгах. Стипендию я не получала — у меня были проблемы с начертательной геометрией.

Сережа изредка совершал набеги на родительский холодильник, приносил из дома то банку тушенки, то кусок рыбы. Мои старики нам тоже кое-что подбрасывали, но они жили далеко, а Сережины — близко, поэтому страдали чаще.

Вначале мы даже обедали у них по воскресеньям, но потом перестали, потому что мама Сережина однажды не выдержала нашей музыки (я тогда переживала

увлечение негритянским джазом и готова была часами слушать Эллу Фицджеральд и Сару Воан, а Сережа все мои увлечения разделял), и вот мама, стало быть, в гневе распахнула дверь и велела немедленно выключить это безобразие, и вообще сказала все, что обо мне думает.

Я ее понимаю: очаровательный хриплый мям моих любимых певиц для непривычного уха действительно диковат, и девушка сына (я то есть) должна была казаться нормальной маме подозрительной: ну что это такое, ей-богу, — целыми днями если не картинку рисует, то с книжечкой на диване валяется. Еще и курит. И одевается, как эти — как их? — хиппи. И слушает черт-те что. И без штампа в паспорте уволокла мальчика в какой-то вертеп...

Поэтому ездить к его родителям мы перестали и часто ложились спать голодными.

Зато окно в нашей комнатухе закрывали желтые шторы, сквозь них всю ночь светил яркий фонарь и качалась черная тень от тополя, как на японской гравюре. А мы целовались и танцевали. На маленьком пятачке между кроватью и шкафом.

Еще Сережа воровал для меня цветы в городских скверах и чужих дворах: сирень, ирисы и даже розы. Однажды его чуть не застукали: с букетом роз под мышкой он кое-как переулками ушел от дружинников.

Поссорились мы только один раз, перед экзаменом. Мне предстояло сдавать начерталку, я обреченно сохла над учебником, а Сережа пытался меня просветить. Он бился две недели, завалил свою сессию, однако толку от его усилий было немного. «Объясняю популярно, — в десятый, наверное, раз говорил Сережа, — поняла?» «Поняла», — с готовностью кивала я. «Повтори». Я открывала рот и смотрела на него жалобно: «Забыла...» «Ну вот что, — хлопнул он в конце концов учебником по чемодану. — С меня хватит. Я на тебе, Александра, не женюсь — от тебя дети тупые родятся».

Повернулся и в самом деле ушел куда-то, на ночь глядя.

Я осталась плакать.

Через час Сережа вернулся. «Ты зачем пришел? — сварливо спросила я. — От меня же дети тупые родятся?» «Ничего, — сказал Сережа. — Они будут усидчивыми в меня и закончат школу для дебилов с золотой медалью».

Начертательную геометрию я сдала на «три» — это был большой успех.

А через месяц Сережа утонул на пленэре в Новокуровке.

И вот, можно сказать, целая жизнь прошла. Были потом другие города, другие мужья и другие любви, и дети родились не тупые, и могилу Сережину на кладбище я однажды попыталась найти, но не нашла. Забыла.

Дети мои нашли: в следующий раз я пошла с мальчиками, и младшенький, востроглазый, мгновенно ее высмотрел.

А улица Юности по-прежнему осталась улицей Юности. И дом тот до сих пор стоит, и даже окошко наше по вечерам светится: какая-то дура повесила там шторы с красными птичками. Иногда, очень редко, я проезжаю мимо на двадцать девятом, и мне кажется, что Сережа до сих пор живет в этой комнате, а шторы выбирала его глупая жена. Могла ведь человеку достаться глупая жена? Еще глупее меня.

Песню же, Юра, в тот год пели такую:

ВОТ СНОВА ЭТОТ ДВОР

Вот снова этот двор,
Мой добрый старый дом.
Я с тех счастливых пор
Три года не был в нем.

На милом этаже
Квадратики огня,
Теперь они горят
Уже не для меня.

Здесь все иное вдруг —
И дождь иной, и снег,
Другой пластинки звук.
Другой девчонки смех.

Стучат давным-давно
Другие каблучки,
И лишь за домино
Все те же старики.

Вот переулочек мой,
Но нет ответных глаз.
Вернулся я домой,
А ты не дождалась.

У этих вот ворот
Шаги твои стерег...
Где он теперь мелькнет.
Твой тонкий свитерок?

Юрий: «ЛЮБОВЬ НЕ КУПИШЬ»

...В ту зиму все у меня сошлось: кончил техникум и стал «рабочим классом», встретил свою первую любовь и записался в альпинистскую секцию. Горных вершин там, где я жил, не было, хотя сама страна была горная — Урал, но зато были скалы, и на выходные мы уезжали в лес и «ходили» по гранитным стенам, и, конечно, песни у костра — такие новые для меня: «Мне не забыть той долины, сложенный тур из камней, и ледоруб в середине воткнут руками друзей...», «Я помню тот край окрыленный, где горы веселой гурьбой склонились у речки зеленой, как будто бы на водопой...», мы грели о кружки с горячим чаем озябшие пальцы и мечтали о лете — будет Кавказ, лагерь «Джайлык»...

А вечером, едва войдя в дом и сбросив пуховик, к телефону: «Привет! Пойдем в кино? ...Я тебя тоже!»

В понедельник вставать в шесть утра, спал ли я вообще? Бегом на автобус, потому что на «режимном» заводе с дисциплиной не шутят, и вот огромный пустой цех, внизу трубы, по которым еще ничего не течет, наверху — эстакада со «шкафами», набитыми приборами, вот эти приборы мы и налаживали, потому что специальность моя была «КИПиА». Друзья мои — все один выпуск — после выходных были такими же сонными мухами, и чтоб разогреться, мы орали песни.

Какие? Конечно, «битловские», от которых вся моя компания сходила с ума, их мы и пели, слабо понимая смысл и перевирая английские тексты... Я очень любил тогда «Can't Buy Me Love»...

А потом, через много лет, когда все это давно кончилось, я приехал в гости к сестре, и племянка Ленка, сев за фоно, вдруг заиграла знакомую мелодию и, слегка дурачась, запела: «В Ливерпуле, в темном зале...» Вот этот неизвестно кем сочиненный текст я и дарю всем, кто шел по жизни с «The Beatles».

В Ливерпуле, в темном зале,
В длинных пиджаках
Стоят четыре битла
С гитарами в руках.
Прически «битлз»,
Брюки клеш,
И снова ты поешь:
«Любовь не купишь!
И где ее найдешь?»

У меня всего богатства —
только ты одна!
Да еще моя гитара —
Звонкая струна.
Не дарил тебе я денег,
Не дарил цветов,
Но зато мы битлы!
И дарим свою любовь!

В Ливерпуле, в том же зале,
В длинных пиджаках
Все те же битлы
Шейк ломают
С гитарами в руках.
А чтоб про битлов не забыли,
Мы песню вам поем:
«Любовь не купишь!
И где ее найдем?»

То-то и оно, ребята. Любовь не купишь...

Александра: «КОЖАНЫЕ КУРТКИ, БРОШЕННЫЕ В УГОЛ»

В одном далеком феврале я летела с севера Камчатки, из поселка Паланы, где жила полгода, в Петропавловск-Камчатский, а потом дальше, на материк, в родной Хабаровск. На рейсовый самолет я, разумеется, опоздала (в молодости такие конфузы случались со мной через раз). Но, к счастью, подвернулся самолет транспортный — старенький Ли-2 чуть не военного образца, где в холодном салоне вдоль бортов тянулись две длинные скамейки (для парашютистов), а в середине кучей были навалены какие-то тюки. Пилоты, а их было два, молодой и старый (лет сорока пяти, для девушки девятнадцати лет, конечно, глубокий старик), меня пожалели и взяли на борт единственной пассажиркой.

Лететь до Петропавловска нужно было часов пять, я бы обморозилась в неотапливаемом салоне, поэтому летчики обо мне трогательно заботились: время от времени кто-нибудь из них (чаще молодой) выходил из кабины, поил горячим кофе из термоса, снимал сапоги, растирал ноги и кутал в тулуп. Звали его Алешей.

И вот он в очередной раз покинул кабину. «Мне не холодно», — сказала я. «Очень хорошо, — кивнул Алеша. — Сейчас вообще жарко будет. Мы, видишь ли, падаем». Я подумала, что он шутит. Ну, юмор такой летный, специфический: волнения на его лице не наблюдалось. Однако Алеша спокойно объяснил: никакого юмора, что-то не то с мотором, идем на вынужденную посадку, будем садиться в тундре, на брюхо.

«Так мы, что ли, разобьемся?» — обомлела я.

«Скорей всего, нет, — пожал плечами Алеша. — Бог даст, сядем». Он подложил под меня какой-то тюк — чтобы не отбила себе ничего при ударе, сам пристегнул ремнями, велел крепче держаться за какой-то железный поручень и вернулся на место. И такой невозмутимостью веяло от этого парня, что я даже несильно испугалась, во всяком случае, никакого панического ужаса не испытала. Просто с некоторой тревогой ждала момента, когда мы хряснемся на землю, и минут через пять дождалась.

Тряхнуло здорово.

«Теперь пойдем», — сказал Алеша, когда мотор окончательно заглох и люк отворился. «Куда?» — вылупила я глаза, поскольку аэродрома за окном было не видно, а простиралась ночная (на севере темнеет рано) заснеженная тундра. «В Соболево. Километров двадцать. К утру дойдем». Действительно, на горизонте светились далекие огоньки, ветер тянул поземку, крепкий наст держал хорошо, и мы резко зашагали к поселку. Насчет двадцати километров Алеша загнул. Во-первых, расстояние было меньше, а во-вторых, нас вскоре подобрал снегоход: мужики еще в воздухе успели предупредить Соболевский аэропорт о вынужденной посадке.

Нас разместили в пилотской — маленькой квартирке из двух комнат и кухни с печкой. Старший пилот, жаль, забыла, как его звали, развел огонь, мы с Алешей накрыли на стол: сыскалась, откуда ни возьмись, и бутылка водки, и какая-то снедь. И, Господи, как стало хорошо! Тогда я в первый раз услышала песню Городничьего «Кожаные куртки, брошенные в угол». Потому что гитара в пилотской тоже нашлась, треснувшая и расстроенная, но Алеша быстро привел ее в порядок и спел:

Кожаные куртки, брошенные в угол,
Снегом запорошенное низкое окно.
Бродит за ангарами северная вьюга,
В маленькой гостинице пусто и темно.

Командир со штурманом мотив припомнят старый,
Голову рукою подопрет второй пилот,
Подтянувши струны старенькой гитары
Следом бортмеханик им тихо подпоет.

Эту песню грустную позабыть пора нам,
Наглухо моторы и сердца зачехлены,
Снова тянет с берега снегом и туманом,
Снова ночь нелетная даже для луны.

Лысые романтики, воздушные бродяги,
Наша жизнь — мальчишеские вечные года.

Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги,
Ты, метеослужба, нам счастье нагадай.

Солнце незакатное и теплый ветер с веста,
И штурвал послушный в стосковавшихся руках.
Ждите нас не встреченные школьницы-невесты
В маленьких асфальтовых южных городках.

Командир вскоре уснул, а мы еще долго сидели у печки, пели, болтали, целовались, конечно.

Утром на вертолете меня отправили в Петропавловск, мы торопливо простились с Алешей и больше я его никогда не видела.

Но вот уже сколько лет прошло — а помню.

Юрий: МАЛЕНЬКИЕ НЕУДАЧИ НА ФОНЕ СЛОЖНЫХ ПОБЕД

...На четвертом курсе мы потеряли вкус к грызению гранита науки и почти перестали посещать лекции. Впрочем, у каждого из компании были свои причины.

Моя любимая девушка, например, собралась замуж, что не мешало ей ходить со мной в кино и кафе, а на кино, кафе, мороженое и прочую мелочь вроде стакана семечек, уличных пирожков с капустой или букетика осенних цветочков нужны были деньги, поэтому я с двумя друзьями-матмеховцами подрядился крыть крышу пятиэтажки в пригородном поселке Рудном.

Родная моя журфаковская компания смотрела на все это косо: девушке, если уж собралась замуж, нечего мне голову морочить (если б морочила!), а мне, значит, нечего с чужаками-матмеховцами связываться: что, своей, спаянной-сработавшейся за три года на погрузках-разгрузках команды нет?

Но мне тогда было почти на все наплевать, и ранним утром мы ехали на автовокзал, а потом — в Рудный, разжигали котел, Славян внизу черпает ведром кипящую смолу, тянем ведро наверх, Толик мажет, я раскатываю рулон, все так здорово... Пока однажды котел не взорвался, и пламя, поднявшись почти до крыши, опало, растеклось-разбрызгалось окрест, спалив штабель досок, сторожку и весь запас рубероида.

Рудничное начальство пожалело нас и свело расчет «по полям» — мы не получили ни копейки (а крыша была почти закончена!), но и не остались должны за нанесенный ущерб. А в универе, о котором я, закопченный, почти забыл, меня ждал сюрприз — ученый совет, где декан по прозвищу Чича сказал примерно следующее:

«Мы собрались, товарищи, по делу для нас неприятному, но мы, как воспитатели и педагоги, должны его решить. А суть дела в том, что студент N. (я, то есть) решил устроить обструкцию преподавателям, в том числе и таким предметам, как основы научного коммунизма и история советской печати, причем мало того, что он сам пропустил практически две недели занятий, но, глядя на него, половина курса демонстративно не посещает лекции, в том числе и мои...», и тэ дэ, и тэ пэ, а Анна-Иванна с кафедры этой самой истории печати дострелила меня криком: «Дай им волю, они завтра с красным флагом на улицу выйдут!» Вот уж.

Впрочем, кончилось все вполне благополучно.

Ученый совет исключил меня «за пропуски занятий и вредное влияние на курс», курс мой родной, забыв обиды, толпой пошел к ректору, и тот оставил меня «до первого предупреждения», девушка вышла замуж, а когда лет через пять после окончания универа мы с ней встретились на каком-то Всесоюзном совещании журналистов молодежной прессы, то очень мило повспоминали то смешное и счастливое время, в кино сходили и в кафе посидели...

А для родных моих и любимых братьев-сестер — однокурсников я эту песенку спою-напишу. Примерно такими мы тогда и были...

ИВАН ИВАНЫЧ

Пальтишко мое
На рыбьем пуху,
Ботинки мои
На курином меху,
Иду по проспекту
В дырявых калошах,
Усталый, как волк,
И голодный, как лошадь.

Пузом раздвинув
Угрюмый народ,
Иван Иванович
Навстречу идет.
Иван Иванович —
Мой будущий тесть.
Уж он-то, конечно,
Устроит поесть.

Иван Иванович
Живет в коммунизме,
Все у него есть —
От «Волги» до клизмы,
Иван Иванович шампунью
поит,
Иван Иванович мне говорит:

«Женись ты, Алешка,
На нашей Фае.
Она тебя любит —
Я точно знаю.
Куплю тебе хату,
Куплю «Бирюсу»,
Пальтишко на вате —
зима ж на носу!»

Не надо мне «Волги»,
Не надо мне хаты,
Плевать, что Иван тот
Иваныч богатый,

Поеду домой —
В общежитие наше,
Пойдем мы в кино
С Соколовой Наташей,

Посмотрим «Старичков
На уборке хмеля»,
Одну эскимошку
По-братски поделим,
Но только кина
Не увижу я, братцы, —
Опять весь сеанс
Будем с ней целоваться!

Кто не знает, был такой чешский фильм «Старики на уборке хмеля», в котором трое парней играли классный биг-бит и пели: «Когда девчонке восемнадцать, а парню двадцать минус два, то очень трудно догадаться, чем их забита голова...»

***Александра:* КОТ СТЕПАН, КОТОРЫЙ УМЕЛ ГОВОРИТЬ «МАМА»**

Русский язык, Юра, как давно замечено классиками, богат, звучен и многовариантен. И понятие, допустим, «халтура», воспетое тобой в прошлой колонке, может означать не только маленький побочный, а главное — приятный заработок, но и основную работу, которую делают левой пяткой, чтоб начальник не вякал и не привязывался.

Мне, покаюсь, ближе второе значение. Во всяком случае, раньше было.

Ты, наверное, помнишь так называемые «отклики», которые нас заставляли писать в газету по разным поводам: очередных зверств израильской военщины, двадцать какого-то там съезда КПСС, выхода в свет гениальной книги «Малая земля» и пр.

Якобы слесарь или швея-мотористка из бригады коммунистического труда прочитали сей бессмертный труд, прониклись и гордо заявляют на весь край, что теперь они будут точить свои болванки и шить семейные трусы с утроенным вдохновением. Причем сочинить текст самому и подписаться каким-нибудь Васей Пупкиным было нельзя. Под откликом должна была непременно стоять фамилия реального человека. За этим следили.

И вот, стало быть, однажды наша разведка прохлопала ушами, американцы создали нейтронную бомбу, поднялся ужасный хай, прораб духа Евгений Евтушенко написал целую поэму «Мама и нейтронная бомба» — так возбудился, бедняга, а нам в газете велели провести кампанию: молодежь края, дескать, гневно протестует. Чтоб проклятые империалисты прочитали, задрожали от страха и засунули свою бомбу кой-куда подальше.

Идиотизм входил в профессию журналиста.

Все вздохнули обреченно и сели за телефоны, а я так замечательно схалтурила, что до сих пор с удовольствием эту историю вспоминаю.

Приближался день рождения моей любимой подруги, которая работала проводником в поезде, и, когда не мыла горшки и не разносила чай по вагону, то целыми

днями валялась дома с книжкой на диванчике и целовалась со своим котом Степушкой — рыжим помойным созданием, но ума тем не менее, как она уверяла, нешуточного. Он якобы даже «мама» умел говорить. Друзья прочили ему участь катаевского кота, который умер на репетиции, пытаясь произнести простое русское слово «неоколониализм». Подруга протестовала и говорила, что Степушка у нее — эстет, на политику ему начхать, и такие слова ему не то, что заучивать, слышать противно.

И все-таки бедный кот был втянут в политические игры.

Я написала замечательный отклик, поменьше, чем у Евтушенко, но с тем же названием: его в стихах и под гитару можно было исполнять.

За столом на дне рождения толпа просто рыдала.

Там было сказано примерно следующее: «Я работаю проводником в поезде дальнего следования и часто вожу детишек, этих вот невинных крошек, которым империалисты угрожают нейтронной бомбой. Да что там, я сама — мать, у меня растет сын Степан, ему пока год от роду, он умеет говорить только одно слово: «Мама», но как подумаешь о кровавых замыслах Пентагона, кровь в жилах леденеет, и ежели что, я за своего Степушку на буржуинов в штыковую атаку с голой грудью пойду».

Подпись стояла реальная — Алла Вайханская. Хотя сама Алла, конечно, была ни сном, ни духом.

Редактор долго крутил башкой и откашливался с характерным звуком — будто лось на заре протрубил. Что-то ведь почуял, гад, редакторов не зря редакторами назначают: какой-то не свойственный мне пафос — с повизгиванием и подвыванием. «А что, — спросил он, — такой проводник действительно есть? Ты не сама это придумала?» «Ну вот, — как бы обиделась я, — позвони в пассажирское депо, если не веришь».

Газета вышла. Кто знал, тот сильно смеялся, а кто не знал, тот ничего не понял: ну говорит какой-то Степушка «мама», и дай ему Бог здоровьица. Проводники только очень удивились: разве у тебя есть ребенок? — приставали они к моей подруге. «Есть!» — с достоинством отвечала она.

Сгубили Степана, к слову, отнюдь не империалисты, а любовь, которая увлекла его однажды в подвал, где он и сгинул. Подруга была безутешна. Она, кстати, до сих пор по Степушке слезами обливается. Чтоб ее немного утешить, я сегодня напечатаю ее любимую песню, тоже, между прочим, про войну. Видимо, я не так далека была от истины, когда писала о ее пацифизме.

За Охтою, за Охтою,
На Выборгской стране
Вчерашние солдаты
Пели о войне.
Мотался дым над трубами,
Закат пылал в окне:
«Трансвааль, Трансвааль,
Страна моя,
Ты вся горишь в огне».

Со смены шли рабочие,
Над Охтой дождик лил.
И ручку шарманки ворочая,
Безногий на водку просил.
Убитых фотографии
Желтели на стене...

«Трансвааль, Трансвааль,
Страна моя,
Ты вся горишь в огне.

Вагоны, бараки, землянки,
Марлевый вдовый уют.
Еще утрами ранними
По карточкам хлеб дают.
Сквозь годы, расстояния
Шумит, болит во мне:
«Трансвааль, Трансвааль,
Страна моя,
Ты вся горишь в огне».

Юрий: «ОТЛИЧНАЯ ПОГОДА ДЛЯ ЛОВЛИ МАМОНТОВ»

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я, как полноправный отныне гражданин своей Великой Родины — Урала, получил паспорт и сразу, даже не заходя домой, где ждали меня по такому случаю друзья Майкл и Джошка с портвейном «Три семерки», твердым шагом направился исполнять свою заветную мечту — вступать в Общество охотников и рыболовов.

Ну, или на следующий день.

Потому что рыболовом-то я был с младых ногтей — город наш стоял на берегу большого озера, и каждое лето мы только и делали, что сидели с удочками на лодочном причале и ловили окуней на червяков, да чебаков на хлебные катыши. А над всеми этими наивными детскими забавами возвышался Главный Уральский хребет, и его дремучие леса и гранитные скалы обещали приключения и неудержимо влекли нас. Говорили, что в лесах наших водятся медведи (и якобы именно здесь художник Шишкин написал свою знаменитую на весь мир картину «Мишки в уральском бору»), что в глухомани можно наткнуться на старинные кержацкие скиты, а в ручьях тайные старатели до сих пор моют золото. Я уж не говорю про самоцветы в горных пещерах, охраняемые Хозяйкой Медной Горы или там козлом Серебряное Копытце. И лет с четырнадцати я с друзьями и в одиночку начал шляться по этим лесам и мечтать о ружье, потому что ночью в лесу одному было страшно, да и днем порой не по себе — вдруг медведь наскочит?!

Надо ли говорить, Александра, как счастлив я был, став обладателем охотничьего билета № 036478 и одностволки-«ижевки» шестнадцатого калибра. И еле-еле дотерпел до начала охотничьего сезона.

И вот наша первая охота!

У подножия Главного Уральского хребта на веселой полянке мы поставили палатку и отправились в березовую рощицу, где свистели какие-то птички — по нашему охотничьему убеждению, рябчики. Без промаха настреляв штук пять этих действительно рябеньких птичек, мы вернулись к палатке, развели костер, ошипали дичь и поджарили ее на палочках наподобие шашлыков, а потом с аппетитом съели (хотя, надо признаться, мясо этих птичек для рябчика было слегка жестковатое и отнюдь не белое), запивая портвейном «Три семерки». Над нами сияло нежаркое уральское солнце, пели в роще недобитые рябчики, и...

— Отличная погода для ловли мамонтов! — воскликнул Джо, и эта фраза стала одним из моих словесных талисманов на все случаи жизни.

...А когда стали постарше и развели все добычливые уголья, то брали с собой на охоту и девчонок: я — свою первую любовь, а друзья мои — просто подружек, ибо их первые любви еще не встретились им на таежных тропах или городском асфальте.

Было у нас одно заветное место — заброшенная деревушка, где холодную осеннюю ночь можно было скоротать у растопленной печки, теща душу охотничьими рассказами и любимыми песнями... Да и девушек наших мы угощали уж, конечно, не дроздами, а полноценными рябчиками, тетеревами, а то и глухарем — возле полуразрушенных избушек росли рябины, ягодами которых лакомилась эта боровая дичь... Девушки выпрашивали у нас «дать хоть разок стрелнуть», мы выставляли на какой-нибудь замшелой колоде ряд пустых консервных банок и бутылок из-под портвейна «Три семерки», и надо ли говорить, как я гордился, когда моя первая любовь вдребезги разносила эти естественные мишени из моей верной «ижевки»!

В общем, отличная была погода для ловли мамонтов.

Правда, медведей я в нашем уральском бору так и не встретил, но зато много лет спустя уже в Хабаровске мой друг Корней позвал меня на медвежью охоту, и мы поехали в Вяземский район к егерю Виктору Анатольичу, про которого Корней написал книгу «Жизнь в лесу» — самую из его книг лучшую (во всяком случае, я так считаю). Или, может, он ее про себя написал. Но, как бы там ни было, с Анатольичем он сдружился и устроил мне и еще одному нашему другу Стасу такой сюрприз.

И вот мы в заснеженной тайге. Анатольич объяснил, что один медведь в его охотхозяйстве плохо залег в берлогу. Не уснул, то есть, как положено. И превращается в шатуна, что недопустимо — в деревни будет ходить, скот драть. И у него, Анатольича, выписана лицензия на отстрел. Так что — вперед!

Было что-то дикое, первобытное в этой Сихотэ-Алиньской тайге: вековые деревья, с которых свисали бороды лишайников, голые стволы, обвитые толстенными лианами, и чувство — «мы идем на медведя».

«Вон там», — указал Анатольич на вывернутые корни какого-то дерева, расставил нас дугой...

Корней длинным шестом начал шуровать в берлоге, раздался рык, появилась темная морда... Корней отбежал к нам, приложил приклад к плечу... Медведь вылез весь — огромный (так показалось), черный на белом снегу. На секунду все замерли — и этого мгновения мне никогда не забыть! Потом мы дружно грянули из ружей, медведь повернул в распадок, где и встречен был карабином Анатольича.

Когда мы снимали с него шкуру, то нашли свои заряды в слое жира — они не причинили медведю никакого вреда, он их даже не почувствовал, что несколько утешает меня. И еще — освежеванный, он был очень похож на человека, и этого было достаточно, чтобы я поклялся себе: никогда больше ружья в руки не брать. Как бы ни была хороша погода для ловли мамонтов.

Так что, Александра, настоящего охотника из меня так и не получилось, и ружья у меня сейчас нет, зато есть охотничья собака коккерша Долли, с которой мы ищем грибы в дендрарии.

Ну а песню я «спую» как бы охотничью, но отчасти и про любовь, мы ее с Майклом и Джошкой в те далекие охотничьи времена в уральском бору распевали.

Помнишь мезозойскую культуру?
У костра сидели мы с тобой.

Ты мою разодранную шкуру
Зашивала каменной иглой.
Я сидел немытый и небритый,
Нечленораздельно бормотал.
В этот день топор из неолита
Я на хобот мамонта сменял.
Ты иглой орудовала рьяно,
Не сводя с меня косматых век.
Ты была уже не обезьяна,
Но, увы, еще не человек.

Жрать захочешь — пойдешь
И пещеру найдешь,
Хобот мамонта вместе сжуем.
Наши зубы острые,
Не погаснут костры,
До утра просидим мы вдвоем.

Помнишь питекантропа-соседа?
Как тебя он от меня сманил,
Тем, что каждый день тебе к обеду
Тушу динозавра приносил.
Что потом случилось, я не знаю,
Только помню будто бы вчера,
Как того соседа доедая,
Мы сидели молча у костра.
И ночами снятся мне не даром
Холодок базальтовой скамьи,
Тронутые ласковым загаром
Ножки волосатые твои.

Да, хорошая была тогда погода для ловли мамонтов...

Александра: НА ДВА ГОЛОСА СПЕТЬ

Сергей Павлович Заровный в конце шестидесятих годов преподавал на хабаровском худграфе живопись, а я была его студенткой.

И вот одна «ужасная» обида запомнилась мне с тех, почти былинных, времен.

На пленэре в Новокуровке я чуть не до ночи писала акварелью какой-то невероятный закат, а утром был просмотр. Сергей Павлович бросил беглый взгляд на мой, казалось, потрясающий этюд и сказал: «Вот этот уголок вырежи, тут интересно. Остальное можешь выбросить». А к тому уголку, на который он указал, я кистью вовсе не прикасалась: краски сами стекали.

И еще запомнилось, как он пел с нами у костра. У него был совершенно потрясающий шалопинский бас, и спел он песню, которой я тогда не знала: «Всю ночь кричали петухи». Вероятно, она что-то ему говорила...

Потом прошло много лет. Я жила на Соловках, и приехала ко мне в гости из Москвы подруга Лиза, а с нею Сергей Павлович Заровный и его жена Наташа, тоже художница — об их безумной любви и побеге из семей рассказывали легенды. Лиза тоже когда-то была студенткой Заровного, но в Москве они стали просто друзьями. И вот вся эта замечательная компания поселилась у меня. Было очень весело.

Никогда не забуду, как мы на лодке по каналам поплыли на один маленький живописный островок посреди большого озера. По дороге нарвали грибов — они росли вдоль каналов, их можно было косой косить, даже не выходя на берег. Сережа развел костер (к этому времени, естественно, все мы были уже на «ты») и сел с этюдником что-то рисовать. А Лиза, Наташа и я занялись грибами, картошкой и прочей закусью. Можете себе представить, какой гвалт способны поднять три бабы, суетящиеся вокруг костра?

Сережа поднял голову от рисунка и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь: «Знаете, я недавно понял, что женщины очень умные существа». «Да ну?» — изумились мы. «Точно, — кивнул головою Сергей Павлович, — ум одной женщины равен уму примерно сорока куриц». Мы, конечно, совсем раскудахтались, а Сережа сказал, что ощущает себя директором небольшой птицефабрики, поскольку каждая из нас потянет, пожалуй, на сто двадцать несушек. Мы почувствовали себя польщенными.

Тут из кустов высунул голову мой пятилетний сынок Илюша, не выговаривавший в те времена, по крайней мере, десяти букв алфавита, и спросил: «Тетя Виза, где наша водка?» «В рюкзаке, Илюша», — флегматично ответила Лиза. «Да не водка, а водка!» — завопил ребенок... Он, бедняжка, всего-то хотел достать из лодки свою удочку.

Потом Сережа с Наташей пели на два голоса — он вел своим густым басом, а она подпевала ему чистым сопрано. Я в жизни не слышала более красивого любительского пения. И, пожалуй, это была единственная семейная пара, к которой подходили любимые мной стихи Вознесенского: «Пошли мне, Господь, второго, чтоб не был так одинок! Чтоб было с кем пасоваться, аукаться через степь, для сердца, не для оваций на два голоса спеть...» Они и внешне дополняли друг друга: Сергей Павлович был невысок, плотен и молчалив, из тех, про кого говорят — некрасивый, но обаятельный. Наталья же, легкая блондинка, красotka хоть куда, все время болтала, язвила, хохотала...

Пел Сережа и вечером, когда мы вернулись в поселок. Стояли белые ночи, я потащила гостей в кремль — показать им совершенно фантастический вид с колокольни, но по пути мы завернули в темный полуразрушенный собор, и там Сергей спел «Ныне отпускаеши» и «Господи, храм твой весь осквернен». На голос его, усиленный акустикой, сбежались все соловецкие полуночники. Народ просто оупел: подумали, что мы магнитофон врубили на полную громкость.

И вот когда я села писать эту историю, то глубоко задумалась, какая же песня ассоциируется у меня с Сергеем Павловичем? Репертуар его был обширен — от литургических песнопений до Окуджавы. Потом вспомнила одну, совсем простенькую, как бы мещанскую песенку — у самовара, условно говоря, я и моя Маша:

Чайник новый,
Чай бордовый,
Кипяченая вода.
Лимон свежий
Ваня резал:
«Кушай, кушай,
Милая моя!»

Лимон свежий,
Сахар белый,
Кипяченая вода.
Пей внакладку,
Будет сладко,
Кушай, кушай
Милая моя!

Это они с Натальей пели вообще бесподобно. Но, кажется, тут был еще один куплет, который я забыла, а ни в одном сборнике, и даже в интернете, к сожалению, не нашла. Поэтому если кто-нибудь пришлет мне полный текст песни, я буду навек благодарна. Ведь это — память. Сергей Павлович умер несколько лет назад от инфаркта.

Ему было всего сорок два.

Юрий: «ЛЮБВИ, ГОВОРIT, ХОЧУ, ГОВОРIT, ВЫСТАВИВ КОЛЕНКИ»

Сегодня, Александра, я расскажу историю о том, как однажды встретились в моей душе две песни. Что-то вроде твоего «на два голоса спеть». Случилось это в те золотые времена, когда я был молод, и друзья называли меня «Смок», и вот представь себе, Александра, зал ДК, битком набитый местным бомондом во главе с представителями администрации всех уровней — от директора завода до секретаря горкома, потому что идет главный праздник моего городка — заключительный концерт Смотра Художественной Самодеятельности! Перед этим самым заключительным концертом заводских певиц и певцов даже от основной работы освобождали, чтобы они в цеховых красных уголках тренировались. А конкурентами Заводу были техникум (который я к этому времени уже закончил и стал рабочим классом) и торговое училище, где училась моя Первая Любовь.

И вот, значит, Александра, зал. На сцене Катька Рыжая — известная в городке оторва, которую Бог наделил голосом типа Фроси Бурлаковой. И первое место ей как бы уже пожизненно обеспечено — ну, кто еще споет густым баритоном: «Урал, Урал, опорный край державы!»? Какой-нибудь Людмиле Зыкиной на месте Катьки всяких дипломов и подарков, а главное — всенародного городского признания вполне бы для счастья хватило. Но Катька — это Катька! И прежде чем спеть официальный гимн Урала, а потом неформальный (любимый всеми уральцами вплоть до Президента России) — «Уральскую рябинушку», Катька исполнила куплеты собственного сочинения:

Стихло все в огромном зале,
Молча замерло жюри,
А девчонки в микрофоны
Тихо шепчут о любви...

— Й-ей! — взвопила Катька, как бы пародируя «девчонок», и завизжала своим действительно уникальным по широте диапазона голосищем:

наоборот, осенью, когда ей исполнится восемнадцать, мы поженимся, сразу же заведем собаку и начнем копить на машину... Или вообще уедем из нашего городка в Большой Город и будем жить, как люди, — на концерты и в рестораны ходить. Или в Сибирь — на комсомольскую стройку. Или...

А летом я уехал на Кавказ в альплагерь Джайлык. Что такое для новичка горы, восхождение и вершина — точнее Высоцкого не скажешь: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем...» А еще — новые друзья и новые песни, грустные и мужественные, пели их бородатые мастера и разрядники, а мы — значкисты-первогодки — переписывали слова в тетрадки, на ходу разучивали, чтобы уж потом, дома... И вот тут, у лагерного костра, я услышал знакомый мотив, тот самый: «Ты слышишь звуки сердца моего?...» Только слова другие:

Где снега тропинки заматают,
Где лавины грозные шумят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам давно родными стали
горы,
Не страшны бураны и пурга.
Дан приказ, недолги были
сборы
На разведку в логово врага.
Помнишь, товарищ,
Белые снега,
Стройный лес Баксана,
Блиндажи врага?
Помнишь гранату
И записку в ней
На скалистом гребне
Для грядущих дней?

На костре в дыму трещали
ветки,
В котелке дымился крепкий чай,
Ты пришел усталый
из разведки,
Час курил и столько же
молчал.
Синими, озябшими руками
Протирал вспотевший
автомат,
Тяжело вздыхая временами,
Головой откинувшись назад.
Так вспомни, товарищ,
Вой ночной пурги,
Вспомни, как бежали
В панике враги,
Как загрохотал
Твой грозный автомат,
Вспомни, как вернулись
Мы с тобой в отряд...

Во время войны здесь шли бои, и наши альпинисты держали перевалы против знаменитой немецкой дивизии «Эдельвейс», и песню эту, по легенде, тогда и сочинили, на мотив про «звуки сердца моего» из популярной довоенной оперетты...

...Жизнь, Александра, забавная штука, люди и песни варятся в ее котле, соприкасаясь и разбегаясь, как броуновские частицы, и какой бы изысканный жюльен или наваристый борщ ни планировал ты приготовить, все равно получается ирландское рагу из книжки Джерома.

Александра: ОТЦЫ И ДЕТИ

На первом курсе университета мы с подружкой Риточкой, маленькой и хорошенькой куколкой, снимали однокомнатную квартиру на Второй речке во Владивостоке. И вот как-то после экзамена чуть не весь курс собрался у нас, чтобы это дело отметить. Погуляли от души. А утром часть компании, в том числе Рита со своим мальчиком, поехала на рыбалку — с ночевой.

Звали и меня, но я не захотела — мальчика у меня тогда не было, а саму по себе рыбалку я не люблю. Короче, проводив толпу и напевая пионерскую песню: «Встану рано поутру, поутру, все я в доме приберу, приберу», я принялась вывозить бардак: помыла полы и посуду, вынесла горы бутылок и окурков, проветрила квартиру, даже окно, кажется, в трудовом запале протерла. Потом сама умылась, переделалась и с книжкой — не детективом, заметьте, а с «Мифами Древней Греции» Куна — легла на диванчик, как порядочная девушка, готовиться к следующему экзамену.

Но не успела я двух мифов одолеть, как раздался звонок и на пороге явил себя не кто-нибудь, а Ритин папа — моряк-подводник, который жил вообще-то в Мурманске, но сейчас вот летел в Южно-Сахалинск к Ритиной маме, однако по пути завернул во Владивосток, чтобы провести любимую дочку Риточку. Так сложно эта семья, с позволения сказать, дислоцировалась.

Папа страшно огорчился, не застав Риточку: в двенадцать ночи он уже улетал.

Я, разумеется, на ходу сплела ему кружева. Сочинила историю о том, что у Риты не хватает заметок для газетной практики, и она уехала на два дня на какой-то слет передовиков. При этом я отчетливо представляла себе Риточку с хахалем в палатке, а также все остальное «кодрло» (не стая передовиков слеталась), и очень старалась не хихикать.

Папа поверил.

Я напоила его чаем и развлекла светской беседой об экзаменах, папа похвалил порядок у нас в комнате (зашел бы ты, родной, час назад!), и устроил мне допрос с пристрастием: не курит ли Риточка? не пропускает ли лекции? не выпивает ли? не шляется ли по вечерам, упаси Бог, где попало?

Ни-ни, отвечала я. Как можно?

До двенадцати ночи была еще бездна времени и — делать нечего, закрывать амбразуру так закрывать — я повела папу по городу. Я показала ему и университет, и парк, и порт, и свое любимое место на причале, и картинную галерею, и даже новый фильм в кинотеатре «Океан». Вышли мы оттуда часов в шесть вечера. Очень хотелось кушать.

И тут уже папа повел меня в ресторан по моей, правда, наводке: тогда лучше всего кормили в «Золотом Роге». Но дабы он не понял, что наша компания про-

саживает тут все деньги, я сказала, мол, люди очень это заведение хвалят, а мы с Риточкой здесь только один раз были — поступление всем курсом отмечали.

Одним словом, сели. Заказали, как сейчас помню, «скобянку из трепангов».

«Что вы будете пить, Сашенька?» — спросил Ритин папа. «Бокал шампанского», — скромно потупилась я. «Может быть, что-нибудь покрепче?» «Я не пью покрепче», — холодно сказала я. (В кино такие диалоги снимать нужно!)

Папа, конечно, не стал настаивать, заказал себе граммов триста коньячку, и мы с ним очень славно провели вечер. Болтали, танцевали. А в разгар застолья он потащился к музыкантам, пошушукался с ними, что-то заплатил и поднялся на сцену. Гитарист объявил: «А сейчас наш гость из Мурманска для замечательной девушки Сашеньки споет песню про усталую подлодку».

И папа милым таким козлетончиком действительно ее спел. А гитарист с пианистом ему слегка подыграли.

Я была очень польщена, хоть не очень понимала — какую такую «глубину моей чистой любви» он имеет в виду, ибо во время эстрадного выступления он неотрывно смотрел на меня и даже послал в конце воздушный поцелуй.

Но папа Ритин мне в принципе понравился: он был далеко не стар и принадлежал к любимому мною типу невысоких блондинов с нахальными голубыми глазами. А уж сколько комплиментов он наговорил мне, прощаясь! И что он счастлив, поскольку у его дочери есть такая прекрасная, умная и хорошо воспитанная подруга, поэтому за Риточку он теперь совершенно спокоен. И что лучшего дня в его жизни вообще не было. И что он никогда не забудет...

Риточка, вернувшись, позеленела, когда узнала, кто ее навещал, пока она развлекалась «на слете передовиков». Но, услышав, что папа пришел, когда в квартире было уже убрано и что я весь день с успехом изображала выпускницу Смольного института (так и просидела три часа в ресторане с бокалом шампанского и даже ни разу не закурила), успокоилась и развеселилась. «А мне понравился твой отец, — сказала я, — он у тебя, оказывается, еще и поет хорошо». «Классный мужик, — кивнула Риточка. — Бабник только. Мать с ним больше года не выдерживает». То-то меня все время смущали его взгляды. Но, поскольку я была подругой дочери, папочка, конечно, ничего лишнего позволить себе не мог. Равно как и я.

И какая же мораль из всего этого следует, возможно, спросите вы? А очень простая: у мальчиков наших (и у нас, увы!) уже подросли собственные дети, поэтому не обольщайтесь, молодые отцы взрослых дочерей, когда ваша девочка (или ее подруга) на вопрос, что вы, мадмуазель, будете пить, невинно отвечает: «Бокал шампанского...»

И вот вам песенка, которую спел тогда в «Золотом Роге» Риточкин папа.

УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА

Лодка диким давлением сжата.
Дан приказ — «дифферент на корму».
Это значит, что скоро ребята
В перископы увидят волну.
В перископы увидят волну.

Привет:

На пирсе тихо в час ночной.
Тебе известно лишь одной —
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.

Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.

Хорошо из далекого моря
Возвращаться к родным берегам.
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам.
К нашим вечным полярным снегам.

Не прошу за разлуку прощенья,
Хоть пришлось мне от дома в дали
Испытать с глубиной погруженья,
Глубину твоей чистой любви.
Глубину твоей чистой любви.

Юрий: «УРАЛЬСКИЙ СКВОЗНЯЧОК»

«Что-то дождичек удач падает нечасто, все же жизнью и такой стоит дорожить...» — пел Булат, и действительно, дорогая Саша, что-то у нас колонка «в грусть» заваливается, надо слегка развеяться. Поэтому расскажу о двух своих университетских товарищах — Юре Борисихине и Володе Зюскине. Сам себя повеселю.

Учились они на два курса старше меня, а по возрасту — ровесники, поэтому я как-то нормально контактил с ними, хотя куда мне до них — оба были поэты и авантюристы. А также — в то далекое время — большие любители выпить, причем делали это со вкусом и фантазией.

Прозвище Юры было Князь, хотя сам он из простой крестьянской семьи, уроженец уральской деревушки Коптелово, — но манеры и изысканная речь... Князь мог войти в нашу обшарпанную общагскую комнату, небрежно выставить на стол бутылку дешевого «Вермута», бросить на чью-то койку перчатки и изречь: «Перчатка лежала на кровати как рукопожатие». Или — «Надо писать талантливо все, даже любовные записки!» Вот такой он был человек!

И вот однажды Князь с Зюскиным решили устроить «уральский сквознячок». Это значило — «просквозить» все центральные свердловские кабаки и нигде не расплатиться. Что, конечно, нехорошо, но дело-то прошлое. Начали они со знаменитого «Большого Урала» — «Буша».

Если ты, Александра, помнишь такой старый фильм — «Неотправленное письмо», то в нем герои-геологи чего-то там открыли и обсуждали, где им памятники поставят, так персонаж в исполнении Евгения Урбанского сказал: «Мне — возле «Большого Урала».

Заказав в «Буше» выпить-закусить, друзья все это употребили и попросили кофе на десерт, а пока официант ходил за кофе, они вышли как бы покурить и благополучно смылись.

Потом трюк был последовательно повторен в «Центральном», «Востоке», «Свердловске», «Малахите», и под занавес кривая занесла поэтов снова в «Буш» — они забыли, что с него и начали. Причем сесть они умудрились за тот же столик — и можешь себе, Саша, представить мстительную радость официанта, через четыре часа узревшего сбежавших клиентов! Дальнейшее опускаю...

А вторая ситуация, видимо, настолько типична, что я о ней слышал из уст как минимум трех рассказчиков, включая тебя, — только происходила она в других городах и с иными людьми. Тем не менее, расскажу и я. Однажды жена заперла Князя (жившего на третьем этаже) и ушла на службу, а к Князю традиционно перся Зюскин с бутылочкой.

И вот что они сделали: Князь спустил на шнурке баночку из-под майонеза, Володя туда налил дозу... В общем, когда супруга вернулась с работы, то была в шоке: как муж умудрился надраться, находясь в закрытой квартире? Правда, соседки тайну открыли.

...Прошло много лет, я полагал, что уже никогда не увижу-не услышу Князя и Зюскина, но — пути Господни неисповедимы, и когда мы с Корнеем совершали свое путешествие к «Челюскину» и пришли в гости к метеорологам ГМС «Ванкарем», то на висящей во всю стену карте Чукотского побережья обнаружили размашистый автограф Князя. Он буквально за два месяца до нас был здесь — в составе научно-спортивной экспедиции, шедшей на собачьих упряжках вдоль северного побережья, о чем потом книгу написал.

И еще прошли годы, и вдруг ко мне явился Вова Зюскин, попросившись переночевать, потому что жил он, оказывается, по соседству — в сахалинском городке Поронайске, совершенно оставил вредные привычки (о чем сразу предупредил меня, чтобы я пулей не помчался в ближайший магазин), женился на молоденькой, издал за свой счет книжку стихов под энергичным названием «Гон», которую тут же мне подписал: «Юре в память о сумбурных днях нашей молодости на ниве обучения методам «красной» прессы, которые, слава Богу, не прижились».

И книжка эта была просто замечательная! В предисловии сам Володя (от третьего лица, естественно) пишет: «Непросто сложилась судьба у Владимира Зюскина — и как у поэта, и как у гражданина. Впрочем, у какого лирика она складывалась ровно?... Большинство стихов, оценивающих наше прошлое с позиций ума, чести и совести, написаны Владимиром Зюскиным в то время, когда те, кто говорил правду, назывались врагами народа или же больными психически... Какова будет судьба «Гона»? Достоверно ответить на этот вопрос сможет только время».

«Спасибо тебе, судьба, за то, что лицом ряба, за то, что в ручище кнут, что бит я тобой и гнут... Паскудно тонуть в вине, да лучше, чем во вранье. Пусть сумрачен был мой вид, но душу очистил спирт, карьеру мою сломав, неправый, тут был он прав...»

Или — «Злобу в веру обратив, насаждая то, что подло, собиралось быдло в кодро, называлось «коллектив»...

Но это еще не конец моей истории. С Сахалина Володю снова в Свердловск (уже Екатеринбург) унесло, и моя родная сестрица прислала мне замечательное письмо.

Стоит, значит, ее дочка, а моя, соответственно, любимая племянница, на остановке, ждет автобуса, и завязывает с ней, значит, знакомство некий потрепанный, но с манерами, пожилой господин — я-де поэт и журналист, только что с Дальнего Востока. А племяншка моя и брякни: «У меня вот тоже дядя-журналист в Хабаровске живет, может, слышали — такой-то». «Да это ж мой лучший друг!» — воскликнул потрясенный «свежий кавалер». Володя, естественно, Зюскин.

Песенку же я тут «спою», может, не совсем по теме, но — из тех наших студенческих-общагских — о «сумбурных днях нашей молодости».

Накрывают на стол девчонки,
А ребята стоят руки в боки,

Представляю я очень четко,
Чем закончится эта попойка.

Уговаривать девочек будут
Выпить лишнюю рюмку парни,
А потом станет плохо Любе,
А ребята станут нахальнее.

Зашуршит в углу радиола,
И Наташу с маленькой Любой
Перепутает пьяный Никола,
Перепутает руки и губы.

А потом и ночник погаснет,
Захрапит перепитая братия,
И все в жизни просто и ясно,
А с меня и гитары хватит.

В полуночной лунной бессоннице
Я бренчу на разбитой гитаре,
А ко мне, как к любимой,
клонится
Пыльный фикус, пьяный
и старый...

Александра: МОЙ ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

Я уже как-то рассказывала о том, что в ранней молодости мне с полгода пришлось пожить на Камчатке и поработать редактором детских передач на окружном радио. Журнал мой назывался «Каюю» — то есть «Олененок». И вот однажды от имени того самого белолобого Каюю я пришла в школу, где учитель Степан Тынагергин, чукча, создал со своими детьми фольклорный ансамбль и что-то такое пел с ними и сочинял. Спустя некоторое время я, сюсюкая, как дура (образ олененка обязывал), рассказала о них по радио всей тундре.

На этом незамысловатая история могла бы и закончиться, но она получила продолжение — совершенно неожиданное. Учитель Степан Тынагергин в меня влюбился. И это была такая светлая, трогательная и беззаветная любовь, какой я ни до, ни после того в жизни уже не встречала.

Он не назначал мне свиданий, не звонил по вечерам и уж, конечно, не приставал с нежностями, но с того дня каждое утро, когда я бежала к речке с ведрами за водой, выходил на дорогу, улыбался, говорил: «Здравствуйте, разрешите вам помочь?» и нес полные ведра до самого моего порога. Там он церемонно кланялся, говорил «до свидания» и уходил. Никаких других слов за несколько месяцев знакомства им произнесено не было. Вначале, по дороге с водопоя, я еще пыталась болтать и задавать вопросы, но Степан смущался, отвечал односложно «да» или «нет», и я тоже замолчала, чтобы не травмировать своего неразговорчивого поклонника.

Если днем на улице зорким глазом сына тундры он замечал вдалеке мое синее пальтишко, то останавливался, ждал, когда я поравняюсь, еще раз говорил: «Здравствуйте!», улыбался, кланялся и смотрел вслед, пока я не скрывалась из виду.

Только однажды, на Новый год, когда мы с сестрой после двенадцати ночи пришли в клуб потусоваться, он пригласил меня на танец, и такое счастливое у него было лицо, что я даже пожалела: ну отчего я так испорчена цивилизацией, отчего не могу оценить дар, который мне щедро преподнесла судьба? Среди чукотских лиц попадаются иногда очень колоритные, бронзовые, с чеканными профилями, с царской посадкой головы — истинные вожди древних племен. Но Степан был на редкость некрасив, бедняга...

И чем больше проходит времени, тем отчетливее я представляю: это и была настоящая любовь, о которой можно только мечтать, — мой камчатский «Гранатовый браслет».

Я вот что думаю, Юра: мы уже, можно сказать, прожили жизнь, а ничего в любви так и не поняли. Ты, конечно, начнешь возражать, но посуди сам — вкладывая душу в какие-то отношения, мы ждем обычно ответных чувств, обижаемся, если к нам не приходят на свидания или забывают поздравить с праздником, мы требуем, чтобы наше хорошее отношение ценили, и еще называем этот агрессивный напор любовью. А любовь на самом деле тиха. Ей хватает того, что любимый человек живет на свете. Этого достаточно. Больше ничего от него не требуется: только чтоб жил.

И песня про это есть замечательная. Ее пела когда-то Новелла Матвеева, правда, от лица девушки, но, по-моему, это неважно. Тут главное — все-таки любовь.

ДЕВУШКА ИЗ ТАВЕРНЫ

Любви моей ты боялся зря:
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть
тебя,
Встречать улыбку твою.
А если ты уходил к другой
Иль просто был неизвестно
где,
Мне было довольно того,
что твой
плащ висел на гвозде.
Когда же, наш мимолетный
гость,
Ты умчался, новой судьбы
ища,
Мне было довольно того, что
гвоздь
Остался после плаща.
Течение дней, шелестенье лет,
Туман, и ветер, и дождь...
А в мире событие — страшнее нет:
Из стенки вынули гвоздь.
Когда же и след от гвоздя
Исчез
Под кистью старого маляра,

Мне было довольно того, что след
Гвоздя был виден вчера.
Любви моей ты боялся зря —
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть
тебя,
Встречать улыбку твою.
И в тихом ветре ловить
опять
То скрипок плач,
то литавров медь!
А что я с этого буду иметь —
Того тебе не понять.

Юрий: «НЕ ПИВОМ ЗЕМЛЯ ПОЛИТА»

Лето в разгаре, и мы с тобой, дорогая Александра, позволяем себе маленькие излишества типа баночки «Холстен» или «Супер Скол», хотя лично я с подростково-беседочного тинейджерства предпочитаю чешские и отечественные сорта этого замечательного летнего напитка. И вот сейчас я расскажу историю о том, как я чуть не стал недавно хабаровским резидентом ПЛП.

Дело было так. К нам в гости приехала из Владика наша добрая знакомая, задушевная однокурсница моей супруги Валентина К. Меня, естественно, тут же погнали в ближайшую «точку», но Валя при этом сказала примечательную фразу: «Бери, как обычно, шампанское и сухое, но обязательно — хоть одно пиво».

«А зачем пиво-то?» — удивился я, пулей слетав за заказанным и запивая вполне приличным «сухарем» различные салатики, на скорую руку приготовленные супругой.

«А затем, — ответила Валя, — что мы с моим мужем Александром Ивановичем являемся региональными представителями Партии Любителей Пива и, во-первых, обязаны, где бы ни сидели, иметь на столе это пойло, а во-вторых, я тут тебе привезла от Саши агитматериал и анкету, и если ты согласен с идеологией ПЛП и заполнишь анкету, то будешь здесь нашим резидентом».

Надо ли говорить, дорогая Александра, как польщен и даже горд был я этим неожиданным предложением. И даже мысленно уже сформировал первичную ячейку из своих друзей и знакомых, в свое время вышедших из КПСС, но как бы сегодня слегка тоскующих по партсобраниям, сдаче членских взносов и тэ дэ, и тэ пэ. И пиво, кроме других напитков, тоже употребляющих.

Но, с другой стороны, подумал я, что это вообще за ПЛП, и не вляпаюсь ли я в какую-нибудь новую КПСС? И я попросил Валю прояснить ситуацию. И вот что она рассказала.

Приехали они, значит, с мужем Александром Ивановичем в столицу нашей родины Москву и пошли покушать в Домжур. И там им на столик положили газетку «Правда любителей пива». А в этой газетке, среди выходных данных, был телефон ЦК ПЛП и ее генсека — Кости Калачева, можно сказать, земляка из Находки. И Валя, будучи настоящей журналисткой, после рюмки выпитого

позвонила по этому телефону и договорилась с Костей об интервью для «Радио Владивосток».

И вот они с Сашей поехали брать интервью. И пока Костя рассказывал Вале, что: ПЛП — это партия умеренных, интеллигентных людей, чей девиз: «Мы не «против», а «за» — за то, чтобы у каждого нормального человека было что пить, чем закусить, где и на что жить, за частную собственность и права человека, за защищенность личности», Александр Иванович (между прочим, профессор уголовного права, доктор юридических наук, завкафедрой уголовного права ДВГУ) за эти полчаса распробовал предложенную ему наглядную агитацию, вступил в ПЛП, получил удостоверения членов партии не только на себя, но и на Валентину, и был назначен региональным представителем ПЛП на Дальнем Востоке. С резиденцией во Владике.

Но ведь еще со времен Муравьева-Амурского известно, что истинной столицей ДВ является никакой не Владик, а наша Хабаровка. Вот почему Валентина и была откомандирована Александром Ивановичем к нам. Ну а к кому же еще?

И вот я, узнав эту полезную информацию, буквально через два дня, проводив товарища по партии на вокзал, развернул бурную агитационную деятельность, которая заключалась в том, что я раздал своим друзьям, знакомым и коллегам всякие плакаты типа «Пива любитель, крепи единство, долой нищету, издевательство, свинство! и призвал их голосовать на выборах в Госдуму за ПЛП, что все они, включая мою семью и соседей, и сделали.

И если бы ПЛП преодолела пресловутый пятипроцентный барьер, то Александр Иванович, например, или Костя Калачев были бы сегодня госдепами, а я бы не всякие дурацкие песенки печатал, а сидел бы в партийном штабе с длинноногой секретаршей и наглядной агитацией.

Но, как говорится, Бог не дал. Видимо, Косте надо было чего-нибудь покрепче в качестве идеологии закрутить. Поближе к народу. Он, наверное, в силу своей умеренности и интеллигентности, на производстве, в отличие от меня, не работал и даже мою любимую песню Галича вряд ли пел. А песня эта, написанная еще в шестидесятые, называется «Баллада о его величестве рабочем классе». Ну и — вот она, потому что про пиво я песен не знаю. Я его, как и песни Галича, просто люблю.

Не пивом земля полита —
В каких ни пытай краях
Пол-литра везде пол-литра
И стоит везде трояк.
Поменьше иль чуть побольше —
Копейки, какой резон?!
А вот разделить по-божьи —
Тут очень расчет нужен.
Иной разливает тонко,
Другой на глазок берет,
А ежели кто без толку —
Всегда норовит «Вперед!».
Оплаченный процент отпит,
И плачь, и гуляй, беда!
Но тот, кто имеет опыт, —
Он с краю стоит всегда.
Он знает свою отметку,
Не прячет зазря лицо,

И выпьет он под конфетку,
А чаще — под сукнецо,
Но выпьет зато со вкусом,
Издаст подходящий стон
И даже покажет знаком,
Что выпил со вкусом он.
И третьему по затылку
Отвесит шутя пинка,
А после он сдаст бутылку
И примет еще пивка.
И где-нибудь среди досок
Блаженный, приляжет он,
Поскольку культурный досуг
Включает здоровый сон.
Он спит, а над ним ракеты —
Космический звездный тир.
Он спит, а его полпреды
Варганят войну и мир.
Во всех уголках планеты,
Над миром, что сном объят,
Выходят его газеты,
Где славу ему трубят.
И громкую славу эту
Признали вполне в ООН!
Он всех призовет к ответу —
Вот только проснется он.
Куются ему награды,
Готовит харчи нарпит...
Не троньте его, не надо —
Пускай человек поспит!

...А когда я уже собрался Валентину на вокзал провожать, то так умеренно-интеллигентно спросил: «А чо ж у нас бутылка пива-то так и осталась стоять нераскрытой?»

«Да я вообще пиво не люблю, — ответила супруга регионального представителя ПЛП. — Я с него пухну».

Александра: ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ

Короткий период жизни на Камчатке подарил мне столько сюжетов, что я, видимо, до смерти буду их вспоминать, как ты, Юра, свое студенчество. Во-первых, на радио, где я работала, была немыслимая, я бы даже сказала, утопически-коммунистическая атмосфера братства и нестяжательства. С зарплаты, например, все сбрасывались, покупали ящик сигарет и ставили его на окошко. А потом брали, кому сколько нужно. Если кто-то получал посылку с материка, вечером притаскивались гости и съедали все подчистую. Обедать ходили к тем, кто меньше денег на водку тратил — к нам с сестрой, например. Или к другим относительно малопьющим

девушкам. Зато при деньгах этих девушек только что в шампанском не купали. И даже квартирный вопрос там почему-то никого не портит.

Однажды среди зимы приехал новый сотрудник, Саша Шагинян, южный человек — из Еревана, и, по слухам, племянник знаменитой Мариэтты. Поселили его в так называемом «имении Кочкарей» — убогой комнате в жутком бараке, куда с улицы через щели в стене свободно залезали бродячие кошки, а вода в умывальнике утром превращалась в лед.

Комнату эту занимали двое наших парней — Юра Трейстер и Володя Кочкаренко. Кочкарь был молодым уральским поэтом, у него даже книжка стихов в Свердловске вышла, а Юра приехал из Ленинграда. Он любил цитировать свою маму, которая говорила: «Юра, ты позоришь нацию. Ты рискуешь стать первым в мире спившимся евреем». Он тоже писал стихи и говорил, что приехал на Север стать толстым, мудрым и знаменитым. Первую часть программы-максимум ему уже удалось выполнить: он был кругленький, веселый и очень симпатичный. Кочкарь зато был худой, долговязый, со вселенской печалью во взоре, и стихи писал, как сейчас помню, такие: «Речка Палана перцовкой шумит внизу», «...И лишь с похмелья поймешь, что мир — не вечен», а также пронзительно, с надрывом — «В пулеметные ленты белья армию белых дворов замотали. Что, коль любить тебя не велят, а дозволяется только скандалить?» Скандалист он действительно был отменный. Есенин такой уральско-камчатский.

И вот исключительно цивилизный Саша Шагинян, проведя ночь в означенном имени, вышел оттуда уже не такой цивилизный: с красными от дыма глазами (мальчики первый раз за зиму попытались протопить печку), тяжелой головой (уговорили бутылки четыре водки) и в помятом пальто (уснули, в конце концов, не раздеваясь).

Одна редакционная девушка его пожалела, отдала ключи от своей комнаты в коммуналке, а сама ушла жить к подруге.

Дальше было смешно.

В той коммуналке жила какая-то семья, муж был на дежурстве, а баба встала в двери грудью: не пушу, говорит, вдруг вы меня изнасилуете? «Я сначала высплюсь», — хмуро пообещал Саша.

Баба заверещала и побежала звонить в милицию. Участковый, что характерно, примчался быстро, но то ли тоже был с глубокого недосыпу, то ли еще что, только он раз пятнадцать переспросил: «Как фамилия?» «Байрон!!!» — заорал наконец Саша не своим голосом. А баба закудаhtала: «Не верьте ему, он не Байрон, он — Шагинян».

Потом, конечно, разобрались и помирились, и зажили по-соседски.

Так легко решались там квартирные вопросы.

А у нас соседом снизу тоже был поэт — Коля Шумаков. Причем, надо сказать, что мы с сестрой — классические сова и жаворонок. Она вставала всегда в шесть утра и засыпала в десять, а я ложилась не раньше двух ночи и просыпалась, соответственно, поздно, поэтому промежуток абсолютной тишины в нашей квартире был относительно небольшой. Не то чтобы мы с грохотом что-то роняли на пол или каждый день мебель двигали, но все же как-то передвигались по комнатам. Не летали.

И вот однажды ночью, часа в три, когда я уже уснула, а сестра еще не проснулась, нас разбудил престранный стук в пол. Размеренные удары начинались в детской, шли через гостиную в коридор на кухню, потом возвращались в детскую и снова тем же путем — на кухню. Мы с сестрой в ночных рубашках, прикинув ухом к полу, недоумевали: что происходит у Шумаковых?

Утром пришла Колина жена Лида — извиняться. Простите, говорит, Шумаков вчера пьяный приперся, взял швабру и начал маршировать по квартире, бия той

шваброй в потолок: сейчас, говорит, я им покажу, как они топают. Мы, оказывается, травмировали нежную поэтическую душу своими бесконечными хождениями: у него создалось впечатление, что мы не спим никогда. А у него поэтому стихи не писались.

Еще в редакцию и в знаменитое имение Кочкарей захаживал национальный поэт Владимир Косыгин.

Один раз, когда мы там что-то праздновали, он меня потряс. Он зашел, поздоровался, сел к столу, выпил три рюмки, не закусывая, отключился и уснул. А когда проснулся, все уже было выпито и съедено, мы просто болтали, пели песни и танцевали. «Дайте выпить», — сказал Владимир. «Нету», — сказали мы. «Врете», — обиделся поэт, подошел к кухонному столу, схватил бутылку подсолнечного масла, налил стопарь и хлопнул. «А вы говорили — нету», — укорил он нас, повернулся и вышел.

«Так жили поэты, читатель и друг, ты думаешь, может быть, хуже твоих ежедневных бессильных потуг, твоей обывательской лужи. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта — всемирный запой, и мало ему конституций!» — писал сто лет назад Блок, а как будто про сейчас. Что значит — гений.

И спились, между прочим, не все. Александр Шагинян стал известным драматургом, Николай Шумаков — не менее известным поэтом-песенником, а вот Юра Трейстер, бедняга, знаменитым не стал. Он оправдал пророчества своей матушки. Я его как-то встретила в Питере — страшного, оборванного... Кочкарь тоже где-то сгинул. А национальный поэт Владимир Косыгин занесен во все хрестоматии.

Ему принадлежат следующие бессмертные строки: «Что стоишь, Кавав, унылый? Поезжай-ка ты в Манилы. Чем ля-ля (не помню) и тосковать, там научишься плясать норгали!» Под Манилами подразумевалась отнюдь не столица Филиппин, а стойбище в камчатской тундре. Я бы, Юра, туда с удовольствием съездила. Молодость бы вспомнила, может, и норгали танцевать бы научилась...

А песни мы тогда любили петь хулиганские. Про ботик, например, визборовскую. Там есть одно неприличное слово, я заменяю его многоточием, да простит мне Юрий Иосифович.

Один рефрижератор,
Представитель капстраны,
Попался раз
в нешуточную вьюгу.
А в миле от гиганта
Поперек морской волны
Шел ботик но фамилии
«Калуга».

Прпнев:

Х... ботик потопили?
Был в нем новый патефон,
И портрет Эдиты Пьехи,
И курительный салон.

А тот рефрижератор,
Что вез рыбу для капстран,
Вдруг протаранил ботик молчаливо.
На таре из-под «Двина»
только выплыл капитан
Хорошего армянского разлива.

Припев.

«Ду ю спик инглиш, падлы?» —
капитан кричит седой.
«Француженка,
быть может, мать твоя?
А может, вы совсем,
пардон, шпрехен зи дойч?»
А с судна отвечают: «Я, я, я!»

Припев.

Советское правительство
Послало документ
И навело ракеты на балбесов.
А ботику отгрохали
огромный монумент,
Которым и гордится
Вся Одесса.

Там написали:
«Х... ботик потопили?..»

И т. д.

Юрий: «Я ОТ ШУРОЧКИ»

А недавно мне, Александра, один наш бывший земляк-эмпдэшник из столицы нашей родины Москвы позвонил: как, мол, там жизнь у вас? Я ему: ты что, с лавки упал? А он говорит: да так что-то по Хабаровке соскучился... Что это на них на всех, уехавших, такая грусть по Хабаровке напала — то Слава Сукачев из Германии прилетел амурским воздухом подышать, то вот этот наш товарищ Леонид Г. на межгород тратится. Ну и нечего уезжать было. А мне вспомнился забавный случай из жизни Леонида Г., о котором я сейчас с удовольствием расскажу. Правда, двух великих персонажей этой смешной истории уже нет на нашей грешной земле, но, думаю я, они не обиделись бы, потому что с чувством юмора у них было все в порядке.

...Однажды Леонид Г. решил стать театральным критиком и предложил свои услуги главному режиссеру театра КЕМТ (не «Кент», как мы его в шутку называли, а именно КЕМТ — камерный еврейский музыкальный театр, рожденный как бы в Биробиджане, а проживающий в Москве, — но зато все премьеры мы раньше москвичей смотрели). И этот режиссер по фамилии Шерлинг сказал Леониду Г., что нет проблем ему стать театральным критиком — надо только написать гениальную статью о том, как гениальный режиссер Шерлинг поставил гениальный спектакль. Режиссер дал Леониду Г. месяц срока, проездные до Москвы и отбыл в столицу.

И вот позади бессонные ночи, литры выпитого кофе, штудирование Лакшина, мучительные раздумья о верности выбранного пути театрального критика — и статья готова. Семь часов лету — час езды на электричке, и вот Леонид Г. вручает режиссеру заветную статью.

— Гениально! — воскликнул режиссер. — Гениальная статья о гениальном режиссере! Дадим ее в «ЛГ». Только нужна подпись.

— Там стоит, — скромно сказал Леонид Г.

— Это у тебя «стоит», — пошутил мэтр, — а нам нужен как минимум Райкин.

— Но ведь это я написал!

— Слушай, иди ты к маме! Она тебе все объяснит.

И Леонид Г. пошел к маме мэтра, которую, несмотря на преклонный возраст, все звали просто Шурочкой. И Шурочка объяснила неوفиту, что «выкрест Чаковский» (кто не знает — тогдашний главный редактор «Литературной газеты») статью провинциального мальчика, будь она трижды гениальной, ни в жисть не опубликует. Так что подпись нужна как минимум Аркадия Райкина. Будем искать Райкина.

Шурочка позвонила в Ленинград (хоть в Питер съезжу, горько подумал Леонид Г.). Дома Райкина не оказалось. Шурочка позвонила московскому сыну Райкина Косте. Костя сказал, что папа в Риге (в Ригу съезжу, порадовался Леонид Г.). Шурочка позвонила в Ригу.

— Алле, это Аркадий Исаакович? Это Шурочка Шерлинг вас беспокоит. У нас проблема! Можно, я подошлю к вам своего мальчика? Хороший мальчик, интеллигентный.

И Леонид Г. полетел в Ригу. А прилетев, твердым шагом, не обращая внимания на ратуши и соборы с органной музыкой, пришел в отель, где застал дремлющего в кресле Великого Артиста.

— Ну, так что там стряслось у Шурочки Ширвиндта? — слабым голосом спросил Великий Артист.

С большим трудом объяснил Леонид Г., в чем и у кого проблема.

— Спектакля я не видел, — сказал Великий Артист, — поэтому покажите его моему сыну Косте и, если ему понравится, ставьте мою подпись.

Конечно, Леониду Г. хотелось побродить по тихим улочкам Риги, поваляться на взморье, завязать, быть может, какие-то легкомысленные знакомства и отношения, но дело прежде всего. И вот Леонид Г. снова в Москве. Находит Костю. Тот дает ему десять контрамарок. И в антракте Леонид подходит к Косте, окруженному девицами, с одним вопросом: «Можно ставить подпись вашего папы?»

— Знаете, — сказал Костя, — что-то не то. Пиво в буфете теплое, язык незнакомый (а спектакль, о котором идет речь, «Черная уздечка для белой кобылицы», шел действительно на «незнакомом» языке, что не мешало нам, хабаровчанам, восхищаться им), папе все это не понравилось бы.

Упав духом, Леонид Г. пришел к режиссеру.

— Гэ этот Костя, — сказал режиссер. — Но ничего, найдем другого.

Он полистал записную книжку.

— Во! Марис Лиепа! Пойдет!

— Но... ведь он...

— Иди ты к маме!

И Леонид Г. снова пошел к Шурочке. Шурочка снова села за телефон, вызвала Мариса, и Марис сказал:

— Пусть ваш интеллигентный мальчик подъедет между двумя и тремя ночи, я уже приеду, но еще не уеду.

И «мальчик» подъехал, и подписал статью прямо на лестничной площадке, и, счастливый, отнес ее в «ЛГ», где она, увы, так и не увидела света. Вот если б Райкин подписал! Впрочем, могли быть в то смешное время проблемы и с Райкиным.

А Леонид Г. с тех пор бросил заниматься театральной критикой, уехал из Хабаровска в Ивано-Франковск, а оттуда в Москву, и теперь вот то письма пишет, то звонит — по своей дальневосточной родине скучает.

Что же касается песен, то по жизни Леонид Г. не шел с ними, а слушал — поскольку был известным в городе филофонистом и вечно тратил последние рублишки на всякие диски типа «Дип Перпл» или Вивальди. Хотя к тогдашним популярным бардам относился с уважением. И вот тебе, Леонид, песенка Юлия Кима.

ДОН КИХОТ

Песня спета, кончен путь,
Что же дальше делать?
Дальше должен кто-нибудь
По дороге ехать.

Спета песенка давно,
Вручена награда,
Но кому-то все равно
Дальше ехать надо.

Ехать надо далеко,
Все на свете бросив,
Хоть не просит вас никто,
А скорей напротив.

И не просит вас никто,
И семья не рада.
А что делать? Все равно
Дальше ехать надо.

Дальше — больше, ты учти,
Вдруг чего случится?
Ой, подумай-погоди
На коня садиться!

Впереди — темным-темно,
Впереди — засада.
Впереди... А все равно
Дальше ехать надо.

***Александра:* НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НЕМНОЖКО ТЕАТРАЛЬНО**

Да, Юра, история про Райкина и Леонида Г. — классика нашей жизни, а фраза «Что там стряслось у Шурочки Ширвиндта?» давно стала в «МД» крылатой. Мне, увы, ответить нечем. Я с Великими Артистами никогда не общалась.

Я могла бы рассказать очередную историю о любви (запас еще не иссяк), но что-то не хочется. Настроение не то. Зима, холод, лес обнажился и поля опустели. Какая уж тут любовь?

Однако про театр у меня тоже есть маленькая байка.

Каждое утро я бегу на работу мимо бывшего кинотеатра «Молодежный», на котором висит уже вывеска «Театр кукол», и вспоминаю, как нечаянно отбила у своих детей любовь к зрелищам.

Они, маленькие, были у меня большими театрами. Подозреваю, правда, что храмы искусства привлекали их в основном буфетами: мальчики всегда разоряли меня на бутерброды с черной икрой, пирожные и лимонад. Ладно, детки, ешьте шестое «безе», кто вам считает? — говорила я, скучно исполняя материнский долг. Потому что я театра не люблю. Даже в московских спектаклях, у самых лучших режиссеров на сцену непременно выскочит какой-нибудь идиот на деревянных ногах, заорет дурным голосом что-нибудь вроде: «Красные идут!» и все испортит. Волшебная картинка сразу рассыплется, увидишь старые декорации, усталых актеров, которым до смерти надоело в сто восемнадцатый раз изображать поручика Мышлаевского и Золотую Елену, и как-то грустно станет... Впрочем, это мои проблемы. Бог с ними. Дети же до поры до времени театр любили.

И вот однажды осенью в Хабаровск приехал Московский театр кукол и чуть ли не сам Сергей Образцов. Разумеется, дети потребовали праздника: кукольные представления двенадцать лет назад здесь были в диковинку. Я купила билеты и, обреченно вздыхая, повела мальчиков во Дворец профсоюзов. «Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра...» М-да.

Погоды при этом, должна заметить, стояли самые что ни на есть поганые: с дождем и очень холодным ветром. Раздевалка в означенном Дворце не работала, буфет тоже был закрыт, и дети мои несколько приуныли. Какую показывали сказку, я не помню, но старшему, видимо, было скучно: он все время ерзал, ронял на пол свои вещи — то шапку, то куртку, нырял под кресло, болтал и безмерно меня утомил. К концу спектакля я была уже хорошо заведена. Маленький зато смотрел с удовольствием.

Наконец представление закончилось, зажегся свет, и тут выяснилось, что у старшего куда-то пропала шапка. Раз десять он ее ронял и поднимал, и в конце концов утратил безвозвратно. Мы, наверное, минут двадцать ползали под сиденьями, уже все зрители разошлись, и билетерши стали на нас поглядывать нетерпеливо.

Что делать? Выводить ребенка на улицу с непокрытой головой в такую непогоду было немыслимо, поэтому я сняла с себя вязаную шапку и сказала: черт, мол, с тобой, надевай мою, уж лучше я простужусь, чем ты. «Ну да, — ответил десятилетний франт. — Стану я бабские шапки носить!» «Хорошо, — закипая, я сняла шапку с маленького. — Ты пойдешь в этой, а он наденет мою». «Ну да, — захныкал четырехлетний попугай, — я тоже не буду бабскую шапку носить».

Ах, скажите, пожалуйста, он тоже не будет!

Я вообще-то не склонна к рукоприкладству, но тут терпение мое лопнуло, я отлупила обоих при всем честном народе и насильно напялила шапки — на маленького свою, а на старшего нечто сугубо детское, с помпончиками. Он потемнел лицом и, всем своим видом изображая поруганное достоинство, побежал на улицу, младший завыл, как пожарная сирена, а люди посмотрели на нас с неодобрением. «Экая скверная мать», — наверное, подумали они.

Да уж. Получили дети удовольствие по полной программе, удался праздник для души, ничего не скажешь.

И с тех пор как отрезало. В театр мы больше не ходили: даже если я предлагала, ребята отказывались. Более того, маленький потом и в школе избегал коллективных выходов в ТЮЗ. Учителя не понимали и обижались.

Печальная эта история убедила меня в одной простой истине: механическое исполнение долга (материнского ли, супружеского или служебного — все равно) непременно заканчивается безобразием. Лучше вовсе его не исполнять, верно, Юра?

Ну а песню про театр мы с тобой любили и пели много раз.

На Театральной площади
Немножко театрально
Стоял я, опершись рукой
На Оперный театр,
А каменные кони,
Оскалившись нахально,
Из каменных ноздрей
Выбрасывали пар.
Профессор Римский-Корсаков,
Вертясь на пьедестале,
Никак не мог подняться,
Чтоб руку мне пожать.
А я стоял и бредил,
То славой, то стихами,
Стихами или славой —
Ну как их не смешать?
Роились в небе звезды,
Катились мне на плечи.
Ах, только б не прожгли они
Мой импортный пиджак!..
Качаясь, плыли лица
Голубоватых женщин,
Стекались мне в ладони,
А я сжимал кулак.
А я держал полнеба,
А я держал полмира,
Гигант я или карлик,
Герой или пигмей?
Носы приплюснув к окнам,
Уставились квартиры,
Я окна гладил пальцами,
Я был их всех добрей!
Я прыгнул на подножку,
Пропел звонок трамвая.
Я три копейки бросил,
Как бросил золотой..
Качаются вагоны,
Кондукторша зевает.
Вожатый смотрит мимо —
Домой, домой, домой...

Юрий: «КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ»

Вот я, Александра, посеял перед Новым годом открыточки дальним друзьям, а теперь с несколько грустной радостью плоды пожинаю — в виде звонков и писем из родного Свердловска-Екатеринбурга, Омска, столицы нашей родины Москвы и даже из ближнего зарубежья — города Киева — от душевной однокурсницы Томки, которая пишет: «Синхронно мыслим (впрочем, это неудивительно): я тоже ношу в себе идею «заочной встречи», но меня сомнения гложут насчет того, что многие в сегодняшней морально-депрессивной и материально-убыточной суете захотят плакать в жилетку своим бывшим однокашникам, а хвалиться чем-то, думаю, могут единицы, вроде Вовочки, вошедшего в «уральский манускрипт». Кстати, в качестве какого героя? И чем теперь занимаются Витя и генерал в отставке?.. И все же — нельзя нам теряться!»

Конечно, нельзя. А насчет хвалиться — очень даже есть чем. Во-первых, тремя нашими «москвичами» — они и у Михаила Сергеевича в аппарате сидели, и до генерала один действительно дослужился, и у Бориса Николаевича в аппарате один сейчас работает, за что и вошел во второй том справочника «Кто есть кто на Среднем Урале» («Уральцы в Москве»). Так-то вот, знай наших! А во-вторых, и нам есть чем погордиться: что остались мы верны самой лучшей на свете профессии — журналистике, которую лично я, например, ни на какой «аппарат» не променяю!

А если на что и плакаться — так на невозможность для большинства из моих однокурсных братьев-сестер сесть в самолет или поезд, чтобы повидаться хотя бы раз в пять лет, как мы это делали раньше.

Но мне, вообще говоря, повезло в той прежней советской жизни — раз в год меня вызывали в столицу на соборовские совещания, и, соответственно, ежегодно я целую неделю по вечерам с теми самыми однокурсниками-аппаратчиками (а они, кстати, и самыми близкими мне друзьями в универе были) общался. И вот, чтобы несильно грустить оттого, что давно мы не виделись, я сейчас веселенькое расскажу (а заодно и другом лишний раз похвалюсь).

Был у меня задушевный друг Витя К., мы даже в Хабаровск с ним вместе после универа приехали, причем сами попросились, только меня здесь оставили, а Витю крайком КПСС, в чье, так сказать, распоряжение поступали выпускники журфаков, в город юности направил, откуда он при первой же возможности свалил на запад (нашей родины, естественно), а я вот так здесь и прижился.

И вот, значит, Витя, уехав на запад, закончил ВПШ, потом АОН (кто не знает — Академию общественных наук), а тут и перестройка наступила, и его взяли в аппарат ЦК КПСС, где он и встретился с Вовочкой, который попал туда без всяких АОН, но зато с низовой партийной работы в Свердловском то ли ГК, то ли ОК КПСС. Он там заводделом культуры работал — наверное, потому, что единственный с нашего курса был «битлом» и играл на соло-гитаре в ВИА (кто не знает — вокально-инструментальный ансамбль) «Биос», и все университетские девчонки по нему сохли. Или почти все.

И вот Витя встретился с Вовочкой, а оба они во время моего очередного соборовского прилета встретились со мной и провели меня в святая святых — здание ЦК КПСС.

Через большой вестибюль, в котором толпились кавказского вида беженцы (к этому времени уже случился Карабах), мимо часового, которому было сказано: «Этот товарищ со мной», и вот мы в просторном Витином кабинете, где на столе два телефона и даже вроде бы компьютер, бывший тогда редкостью.

Жаль только, курить тут было почему-то нельзя.

— Витюша, — спросил я, — а чем ты, вообще говоря, занимаешься тут, если не партийная тайна, конечно?

— Да какая тайна, — тепло улыбнулся мой друг. — Вот я сейчас тебе популярно объясню. Каждый из работников нашего отдела курирует какую-нибудь область или край. Я, например, В-скую. Каждое утро мне приносят ихние местные газеты, я делаю выборку наиболее важной, на мой взгляд, информации и передаю ее выше. А уже на том уровне из всех наших выборок делают одну, и она ложится на стол Михал Сергеевича. И он всегда в курсе — что ежедневно происходит в стране. А еще — письма. Те, что приходят из моей области, первым читаю я. И решаю, что с ними делать дальше. Вот, к примеру, уже достал меня один пенсионер: «Уважаемый Михаил Сергеевич! Считаю своим партийным долгом сообщить о безобразиях, которые творятся у нас в В-е...» Я это письмо — в корзину. Через месяц: «Уважаемая Раиса Максимовна! Я уже писал Михаилу Сергеевичу о том, что творится у нас в В-е, но, поскольку не получил ответа по причине его занятости государственными делами, пишу Вам...» Туда же письмо. Через месяц: «Уважаемый товарищ Пуго! Я уже писал...» И вот, Юрка, бросаю я это письмо в корзину и думаю: «Эх, дядя! Пишешь ты, пишешь, а того не знаешь, что и Михаил Сергеевич, и Раиса Максимовна, и товарищ Пуго — это я!»

Посмеялись мы тогда, и Витюша меня обратно через охрану вывел — уж больно мне курить хотелось, но зато вечером встретились мы все в неофициальной обстановке и оттянулись по полной: и повспоминали, и песни попели, в том числе и самую любимую нашу курсовую — «Москву златоглавую». Это сейчас ее даже по радио поют, а тогда она чуть ли не «подпольная» была, Вовочка ее с какой-то эмигрантской записи выучил, но зато уж исполнял — не сравнишь ни с каким радио.

И вот я в память о нашем замечательном курсе эту песенку и печатаю.

Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-пушка державная,
Аромат пирогов.
Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки,
Эй, вы, кони залетные,
Льется песнь с облучка,
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучка.

Помню тройку удалую,
Вспышки дальних зарниц,
Твою позу усталую,
Трепет длинных ресниц.
Все прошло, все умчалось
В невозвратную даль,
Ничего не осталось,
Лишь тоска да печаль.
Эх, конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки,
Эх, вы, кони залетные,
Льется песнь с облучка,

Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучка.

Так что, говорю я своей однокурснице Томке, чего-то, конечно, прошло и умчалось, но курс наш никуда не делся, и песенки наши курсовые в моей лично душе очень даже остались — и, отчасти, жить помогают в холодное время года.

***Александра:* КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ ГЕОЛОГА ДУБОВА**

Сегодня я хочу рассказать об одной очень старой песенке, которую любил мой сосед в Благовещенске геолог Володя Дубов.

Мы жили на одной лестничной клетке, бегали друг к другу за солью и спичками, вместе встречали Новый год — дружили домами, короче.

Но у Дубова была одна странная привычка: когда он возвращался поздней осенью из экспедиции, то шел почему-то сначала не к себе домой, к жене Нинке и сыну Юрке, а к нам с мужем. И каждый раз спектакль разыгрывался по одному и тому же сценарию.

Дело происходило обычно в субботу или воскресенье. Дубов вручал мне гостинец — мешок с сушеными грибами, я всплескивала руками, говорила: «Ах, спасибо!» и бежала на кухню — сооружать его любимое блюдо: рагу по-мушкетерски. Он же и научил меня его готовить: мясо, грибы и лук в равных пропорциях обжариваются до полуготовности с некоторым количеством муки, потом все кладется в жаровню со специями, заливается майонезом и около часа томится в духовке. Получается, Юра, просто что-то! Но я отвлеклась.

Потом Дубов одаривал хозяина. Он открывал свой огромный рюкзак и начинал метать оттуда бутылки: по одному экземпляру всего, что было выставлено на витрине гастронома города Зеи (там, в тайге, они искали золото). По старым временам ассортимент в означенном городе был богат: на столе выстраивалась батарея из двенадцати — пятнадцати штук — от питьевого спирта до пятилитровой «Гамзы» в плетеных бутылках.

Пока готовился ужин, Дубов отмокал в ванне, потом выходил — розовый, в моем махровом халате, и говорил: «Ну что, за встречу?»

И начиналось!..

Я только успевала мужикам на тарелки подкладывать да от проигрывателя не отходила, потому что Дубов любил старые пластинки, которые достались моему мужу от матери — бьющиеся, заезженные, на семьдесят восемь оборотов. Там было несколько песенок Ива Монтана, танго «Маленький цветок», что-то безумно трогательное про два сольдо, про два гроша...

Но самая любимая песня у Володи была «Бросьте монетку, месье, мадам, я подниму, мерси». Ее кто-то пел по-французски, русский текст я узнала много позже. А тогда все вместе это называлось «Концерт по заявкам геолога Дубова».

Жена Нинка за стеной прекрасно слышала про мадам-месье, понимала, что муженек пожаловал, и копила злобу.

В промежутках между песнями и рюмками Дубов рассказывал чудные истории — о том, например, как однажды его радиogramмой вызвали в Благовещенск,

и он сначала испугался, подумал, дома что-то нехорошее случилось. Успокаивало только, что велено было захватить с собой редкий прибор, который на металл в земле реагирует. У трапа его встретили гэбэшники, посадили в черную «Волгу» с зашторенными окнами и куда-то повезли. Дубов окончательно успокоился, тем более ему сразу объяснили, что нужно будет искать золото на пустыре, зарытое, по агентурным данным, в двадцатом году контрабандистами. И расписку взяли, что он никому об этой страшной тайне не проболтается. Приехали. Дубов включил свой «миноискатель», часа два шарахался с ним по пустырю и что-то нашел: стрелка в одном месте стала зашкаливать. Чекисты взялись за лопаты и через некоторое время раскопали старый, извиняюсь, сортир. Слежавшиеся фекалии дают, оказывается, тот же фон, что и золото. Хотя очень возможно, Дубов все наврал — он еще тот был трепач. Ну, за что купила, за то продаю.

Часам к одиннадцати вечера мне обычно удавалось его уговорить навестить родную семью. Дубов нетвердой рукой звонил в свою квартиру, Нинка открывала дверь, раздавались короткие крики и звуки пощечин, и через минуту Дубов, сконфуженно прикрывая рукой покаянную морду, возвращался к нам. «Эта скверная женщина опять меня не пустила домой, — говорил он. — Постели мне где-нибудь».

Я стелила. С облегчением вздыхала и шла мыть посуду.

Но один раз услышала, что растолканные по диванам мужики что-то уж очень бурно веселятся. Я встревожилась — с чего бы их так разобрало? Заглянула в детскую, где, по идее, уже должен был спать Дубов, и обомлела: эти два алкоголика, чужой и мой, с хохотом лили «Гамзу» из плетеной бутылки в открытый чемодан с чистым бельем — я только-только принесла его из прачечной. Ну, очень смешное зрелище!

А так, в целом, они были парни неплохие, и песенку про мадам-месье я до сих пор помню.

Детство мое
Промелькнуло — и нет!
Солнечным днем,
В школьном саду...
Детство мое
Не жалело монет
Нищему на углу.
Грустная доля
Не по годам —
Кланяйся и проси:
«Бросьте монетку,
Месье, мадам,
Я подниму, мерси».

В солнечный день,
В назначенный час
В церковь с Люсьен
Шел я пешком,
Шаг замедляя,
Как в детстве не раз
Рядом со стариком.
Все тебе, нищий,
Все я отдам,
Кроме своей Люси!

«Бросьте монетку,
Месье, мадам,
Я подниму, мерси».

Но счастье не вечно:
Люси ушла,
Нищий старик
Просит в раю.
Вместо него
На том же углу
Сам я теперь стою.
Кланяюсь дамам
И господам,
Вылезшим из такси:
«Бросьте монетку,
Месье, мадам,
Я подниму, мерси!»

Юрий: ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

Тут некоторые читательницы уже выразили свое недоумение: по какому, интересно, принципу вы, Юра, пишете свои заморочки, «растекаясь мыслью по дереву и перескакивая с пятого на десятого»? Честно отвечаю: «Да!» Именно по принципу ассоциативного мышления.

Скажем, на днях позвонил мне из Москвы наш бывший «эмдэшник» Леня Говзман и попросил все бросить и найти его статью в «Московской правде», а он мне потом перезвонит, чтобы «узнать мнение».

Статью я прочел, «мнение» сказал, а когда сел писать очередной «песенный опус» — трогательный какой-нибудь, про чистую любовь или верного друга, — то получилось вот что...

Я уже говорил, что вырос в «секретном» городе, и там у нас мечта каждого пацана была — поймать шпиона. Во-первых, потому, что даже мы своим детским умишком понимали: в таком городе шпионы обязательно должны быть! И за поимку будет какая-нибудь награда. А во-вторых, мы тогда зачитывались романами про шпионов из «Библиотеки военных приключений».

О, эти книжки моего детства!

Томики карманного формата, истрепанные, затертые до дыр, давно потерявшие владельца... Их давали читать «на ночь», и я с наслаждением глотал их под одеялом при свете карманного фонарика, чтобы наутро отдать очереднику и получить следующую — «Куклу госпожи Дарк» или «Медную пуговицу» — про майора Пронина. Пацаны пятидесятых, вы меня понимаете?

Но при чем тут Леня Говзман, спросите вы. А вот при чем.

Где-то в восьмидесятых «МД» закатил пресс-рейд по границе. И меня, тогдашнего собкора «Пионерки», позвали. И вот мы проехали на машине и катерах оба наших краевых «рубежа» — по Усури и Амуру, и с чистой совестью писали: «Граница на замке!» Там служили отличные ребята, и не было никакой дедовщи-

ны, «старик» уходил в наряд с «салагой», у которого автомат заряжен боевыми патронами, не боясь, что за спиной затаенная обида... Впрочем, там и словечек этих не было, ребята гордо говорили: «Мы не СА!» Не «Советская армия», то есть.

И вот мне и командору нашей экспедиции Игорю Коцу (ныне редактору «толстушки-КП») стало скучно. Ну, действительно, граница на замке! И мы решили приколоться. Ну, как бы с благородной целью: доказать, что жители наших приграничных сел бдительны и любого чужого сразу скрутят и доставят. А мы потом об этом поучительный материал напишем. И мы решили стать шпионами.

...Мы вышли из машины метров за сто до села, подняли воротники своих кожаных курток, надвинули кепки до бровей, перекурили... С удовольствием приведу цитату из нашего репортажа: «Село мирно дымит печными трубами. Немного не по себе. Но обратной дороги нет. «Пошли?»»

И вот входим в село. У нас подозрительный вид, нет абсолютно никаких документов (они у наших товарищей, которые сейчас уже на заставе, но о нас, естественно, ни слова). Первый абориген, идущий навстречу — пионер. «Ну, абзац, — сказал я Игорю. — Уж пионер-то...» Тем более я знал — в этой сельской школе есть отряд «Юные друзья пограничников» (ЮДП).

— Эй, пацан, — хриплым голосом сказал я. — Где тут граница?

— Тама, — показал рукой пионер.

Кстати, совершенно правильно показал.

Идем дальше. Игорь еще настроен на игру, а я-то уже и воротник куртки опустил — ясно же, что пионер сейчас мчит на заставу!

Ладно, думаю, минут десять, которые нам отпущены, используем. Заходим в магазинчик, где продается все — от макаронов до телевизоров.

— У вас есть надувные лодки?

— Нету.

— А надувные плоты? (Это уж совсем понт, какие плоты, их и в Хабаровске нет).

— Нету.

— А надувные спасательные круги?

— Нету.

Такое впечатление, что если бы мы спросили у продавщицы насчет межконтинентальных ракет, она бы также ответила — «нету». Но, может, позвонит на заставу. Не каждый же день в селе плавсредства хотят купить.

В общем, болтались мы по этому селу часа полтора, пять раз по периметру обошли, десять раз главную улицу из конца в конец протопали, и все встреченные жители честно отвечали на наши вопросы: застава вон там, лодок пока никто вроде не продает, вот к осени подъезжайте...

Мы по-черному завидовали нашим коллегам, которые сейчас на заставе, наверняка сытно и плотно пообедали, побеседовали с гостеприимными хозяевами и, скорее всего, в баньку налаживаются (тогда на всех заставах отличные баньки были). А нас никто не берет.

И мы пошли ва-банк!

Зашли на почту, еще сильнее подняв воротники своих курток и еще ниже надвинув кепки — до носа.

— Дайте бланк! — сипло сказал я милой старушке, которая и была «почта».

На телеграфном бланке я написал: «Ну и дела!», с хрустом смял его, засунул в карман, подошел к почтовому прилавку: «Дайте еще бланк!» Игорь написал на нем: «Это наш последний шанс. Дожимаем старушку». Я смял бланк, засунул в карман куртки, снова два шага до окошка: «Дайте еще бланк».

Полчаса мы с Игорем громко обсуждали проблему: кому послать телеграмму — резиденту или шефу? В конце концов, я, надвинув кепку до подбородка, отдал

старушке такой текст: «Хабаровск. До востребования. Говзману. Шеф Джона не нашли сообщки точные координаты ждем три дня начинаем операцию без него». Я, вообще-то, предложил вместо «операции» написать «взрываем водокачку», но Игорь резонно возразил, что водокачки (а также моста, тоннеля и райкома КПСС) в этом селе нет. Сдали бланк. Заплатили рубль. Вышли.

Цитата из тогдашней статьи в «МД»: «Выходим с почты. Закуриваем, чтобы выиграть время. Боковым зрением замечаем мелькнувшее в окне почты лицо. Быстрым шагом идем вглубь села...»

Взяли нас красиво! На полной скорости в улочку влетел «уазик» с включенными, хотя был белый день, фарами, выскочили ребята с автоматами, и офицер сказал два заветных слова: «Ваши документы?»

Слава работнице почты Вере Демьяновне Овчинниковой, позвонившей на заставу. Позор тому поганому пионеру, который пулей не полетел на заставу, увидев двух подозрительных незнакомцев.

И привет Лене Говзману, который долго хохотал, получив нашу телеграмму.

А что такое граница сейчас, и есть ли там «ЮДП» — я уже не знаю. Но дарю всем нам — приграничным, в общем-то, жителям — песню, которую мы в детстве пели, и ты, Александра, откуда-то тоже ее знаешь, и поем мы ее в компании уже много лет с огромным удовольствием без всякого «пограничного» повода.

КОРИЧНЕВАЯ ПУГОВКА

Коричневая пуговка
валялась на дороге,
Никто ее не видел
в коричневой пыли,
Но мимо по дороге
прошли босые ноги,
Босые, загорелые
протопали, прошли.
Ребята шли гурьбою
и северной тропой,
Последним шел Алешка
и больше всех пылил
Случайно иль нарочно,
того не знаю точно,
На пуговку Алешка
ногою наступил.
— А пуговка не наша, —
сказали все ребята. —
И буквы не по-русски
написаны на ней.
К начальнику заставы
бегом бегут ребята,
Бегом бегут ребята —
скорей, скорей, скорей!
Бойцы по всем дорогам,
Четыре дня скакали,
Четыре дня искали,
забыв еду и сон,

На пятый незнакомца
В деревне повстречали,
Сурово обыскали
его со всех сторон.
А пуговики-то нету
у заднего кармана,
И сшиты не по-русски
широкие штаны.
А в глубине кармана
патроны для нагана
И карта укреплений
советской стороны.
Вот так шпион был пойман
у самой у границы,
Никто на нашу землю
не ступит, не пройдет!
В Алешкиной коллекции
Та пуговка хранится,
За маленькую пуговку
ему большой почет!

Люди, говорю я, будьте бдительны.

Юрий

Александра: ОДНОРУКИЙ ФЛЕЙТИСТ

Продолжим, Юра, тему друзей. Это, возможно, никому, кроме нас, не было бы интересно, если б не были они так типичны. Я думаю, в каждой студенческой компании и на каждом курсе существовала своя Первая Красавица, свой Командир, свой Интеллектуал, свой Зануда (он же — мальчик для битья), свой Пижон и свой Рубаха-парень. А потом проходили годы, студенческая толпа разбредалась по свету, встречалась изредка, и не знаю, как тебе, а мне безумно грустно было наблюдать, как растолстевшая Первая Красавица все еще на что-то претендует, Командир спился, Интеллектуал превратился в ученого неудачника, Зануда стал важным государственным чиновником, Пижон, несмотря на лысину и трех покинутых (или, скорей, покинувших его) супружниц, жалко хорохорится, пиджачки какие-то молодежные носит, а у Рубахи-парня все те же шутки, те же приколы, непроходимая, несмотря на возраст, дурь в седой башке и представление о себе, как об очень милом, веселом и простом человеке.

Не люблю я, Юра, друзей молодости — за редким, конечно, исключением. Несколько человек мне остались близки так же, как и двадцать лет назад. А в целом — не люблю. Не потому, что так уж патологически неверна (я в компании исполняла роль Роковой, или, по определению Интеллектуала, Инфернальной Девушки), а просто все это — глупости. Инферальности во мне не больше, чем в любой другой матери семейства, и вообще я давно повзрослела и стала иным человеком, а они как будто остались прежними. Или стараются показать, что остались такими же. Что, в общем, ужасно скучно и совсем не смешно.

Вот история Федора Устинова, классического Рубахи-парня нашего курса. На первой же вечеринке на первом курсе, где, в общем, не случайно собрались типические персонажи — мы опознали друг друга по одежде, по случайным словечкам, по ироническим взглядам и замечаниям (это, наверное, было главное — отношение к жизни как бы невсерьез), он сразу продемонстрировал все свои немногочисленные, но яркие таланты. В частности, совершенно непристойно, но уморительно, поскольку — в первый раз — изобразил однорукого флейтиста. Мы в корчах увалились на пол и минут тридцать не могли прийти в себя, однако в последующие пять лет этот эстрадный номер напоминал мне уже чеховского «Ионыча»: «Пава, изобрази!..» И, разумеется, кличка к нему на всю оставшуюся жизнь приклеилась — «Однорукий флейтист».

Потом начались танцы — бешеный шейк, популярный в семидесятых годах. Три девушки (Первая Красавица, я и Декадентка-Леночка) одна за другой отлетали от Федора, изнемогая, падали, обессиленные, в кресла, а он все плясал, плясал и плясал...

Эту бы энергию да в мирных целях — средней величины город можно было бы снабдить электричеством, но Федор тратил силы безответственно.

Он убалтывал преподавателей натурально до обморока — старушка Вострикова, читавшая курс истории КПСС, томно говорила, входя после роковой встречи с Федором в новую аудиторию: «Если мне станет плохо, умоляю, не обливайте меня холодной водой, а то один студент вылил на меня полный графин, а я потом слегла с воспалением легких».

Жаль, я не присутствовала при их судьбоносной встрече и не знаю, что такого повергающего в кому сказал ей друг мой Федя, но забавно, что остальные преподаватели, заведя на экзамене Однорукого флейтиста, сразу без лишних дебатов ставили ему «тройки» в зачетку, несмотря на дремучее невежество — на месте старушки Востриковой не хотелось оказаться никому.

А кроме того, он охмурял всех встречаемых девушек — тут они с Пижоном соревновались: у кого донжуанский список окажется длиннее. Надо ли говорить, что Федя побивал Пижона напрочь — его интересовали все девушки без исключения, а Пижон пижонился и, я бы даже сказала, кочевряжился — та ему была глупа, та недостаточно красива...

У Феде же все были умны и прекрасны, лишь бы интерес проявили и согласились прийти на свидание.

Как-то мы над ним подшутили. Теплая компания сидела у нас с Александром, мы пили «Варну» и вдруг воодушевились — давайте Федора разыграем!

Я, закрыв мембрану носовым платком, набрала номер Феде и прочирикала в трубку: «Позовите, пожалуйста, Андрюшу!» Якобы номером ошиблась. Конечно, Федор встрепнулся: «Андрюши здесь нет, но, может быть, вас заинтересует Федор?» Я разыграла легкое смущение и замешательство, а незадачливый Флейтист резко перешел в наступление — при его монологах трубка освобождалась от носового платка и поворачивалась к умирающей от сдерживаемой ржачки аудитории. «У вас такой интеллигентный голос, — вдохновенно вещал Федя. — Вы, наверное, любите стихи?» «Люблю», — тихо пискнула я, затрясаясь от смеха и уткнувшись в Александрово плечо. «Спокойнее, мамочка, — осадил меня Александр, — держи лицо. Веди беседу».

А Федор тем временем открыл сборник Лорки и начал шарашить пописаному, завывая: «В полночь, на край долины, увел я жену чужую...» Народ только что, извиняюсь, не описался хором, а я, рыдая, нашла в себе силы сказать, что завтра у памятника подпольщикам я буду трепетно ждать его в одиннадцать утра, а узнать меня он сможет по скрипичному футляру (якобы

я — скрипачка). «А вы меня узнаете по журналу «Новый мир», — просвистел Федя.

Тут кто-то нажал на рычажок, компания предалась неудержимому веселью, и утром все продефилировали мимо памятника, где Федя, как идиот, топтался с «Новым миром» под мышкой.

Мнимая (о чем Федор никогда не узнал) скрипачка, разумеется, не пришла, но он унывал недолго.

Его невесты, жены и любовницы мелькали перед нашими глазами лет двадцать, так что все окончательно запутались и молчали, как рыбы в пирожке, когда очередная женщина появлялась на пороге и говорила — я, мол, от Федора, и чувырлы, надо сказать, они были, как на подбор, отменные, черт знает, где друг наш Федя дам своих подбирал, но мы всех привечали, кормили, поили и с песнями провожали — нельзя же друга обижать.

В последний раз я встретила Федора в Магадане.

Летела из Москвы в Хабаровск в старые времена с двумя пятаками в кармане (а зачем больше — в самолете деньги не нужны, на троллейбус же до дома с избытком хватает), и вдруг ни с того ни с сего радио объявило: «По причине метеоусловий Хабаровска наш самолет совершит посадку в Магадане».

Здравствуй, называется, Родина родная!

В махоньком магаданском аэропорту, кроме нашего, собрались уже пять московских рейсов, я в жизни своей такой толчеи не видела — на улицу из-за пятидесятиградусного мороза носа высунуть было нельзя, все сидячие места другие расторопные пассажиры заняли, к буфету — не протолкнешься, да с моими десятью копейками там и делать было нечего. Я разменяла один заветный пятак на две двушки и позвонила Федору: приезжай, мол, друг, с голоду умираю, и вообще — тоскливо.

Федя, к чести его, примчался, привез домашних пирожков, спросил: «От злой тоски не матерись?» «Нет, — сказала я, — не матерись, но впадай в некоторое уныние».

Федор был все тот же живчик, седой, потрепанный, полный дурацкого оптимизма, разве что Однорукого флейтиста не изобразил при всем честном народе, но соседку мою по отложенному рейсу тут же попытался склеить. Увы, безуспешно.

А песня с Федором у меня ассоциируется хорошая:

От злой тоски не матерись,
Сегодня ты без спирта пьян:
На материк, на материк
Ушел последний караван.

Здесь невеселые дела,
Здесь дышат сопки горячо,
И память давняя легла
Зеленой тушью на плечо.

Опять зима, опять пурга
Придут, метелями звеня...
Сойти сума, уйти в бега
Теперь уж поздно для меня.

От злой тоски не матерись,
Сегодня ты без спирта пьян:

На материк, на материк
Ушел последний караван...

Юрий: «ВПЕРЕД, ХРОМОНОГИЕ!»

С севером, Александра, у меня один героический эпизод связан, про который я обещал рассказать, — как мы с Корнеем «челюскинцами» были.

Случилось это в 1983 году, когда весь наш Советский Союз готовился торжественно отметить славную годовщину — пятидесятилетие со дня гибели знаменитого парохода «Челюскин» во льдах Чукотского моря, или, точнее, со дня спасения экипажа из этих самых льдов. И мы, значит, с другом Корнеем решили всех коллег-журналистов переплюнуть и добраться на собачьих упряжках к месту этой самой гибели. Или спасения. И даже как бы с «научной» целью: проверить, можно ли было челюскинцев вывезти на собаках?

А надо сказать, что идею эту подарил мой шапочный знакомый Петя из поселка Мыс Шмидта, когда я там однажды был в командировке. И даже вызвался быть радистом и завхозом экспедиции. Петя слал нам с Мыса Шмидта такие замечательные телеграммы: «Насчет собак договорился три упряжки есть высылайте деньги», «Договорился три ящика тушенки высылайте деньги». И тэ дэ. Ну, деньги мы не дураки высылать, но боевой дух в Пете поддерживали, а когда наступила весна, взяли в своих редакциях, где к нашей затее отнеслись с восторгом, командировочные, набили рюкзаки свежими огурцами, ибо огурец на Чукотке — лучший подарок, и полетели через Магадан на Мыс Шмидта.

Первым делом мы пошли в райком партии и рассказали о своей экспедиции секретарю по идеологии — прекрасной даме по имени Гантель Михайловна. И бумажки от редакций с просьбой оказать содействие вручили. Гантель Михайловна идеей нашей прониклась, созвонилась с соседним Иульгинским районом, на обширной территории которого затерялось прибрежное село Ванкарем, откуда и происходило пятьдесят лет назад спасение челюскинцев, и сказала: «Так, упряжки вам будут, каюры будут, меховая одежда будет, разрешение пограничников будет, а вот радиста Петю мы заменим на другого». «Почему?» — удивились мы. «Потому что он у нас тут местный диссидент, а если точнее, того...» — и Гантель Михайловна покрутила пальцем у виска. Жалко нам стало Петю, но — назад дороги нет! Мы угостили Гантель Михайловну свежими огурцами и вскоре с оказией — санитарным самолетом — улетели в Ванкарем.

Три дня ушло на знакомство с новыми друзьями — мэром Толей, радистом Валерой, каюрами Юрой Вукунентином, Кимом Росгытагином, Семеном Чайвуном, на освоение езды на упряжках, доедание огурцов, покупку тушенки, чая, «и еще там кой-чего. И — вперед!

Где найти мне слова и краски, чтобы описать фантастические голубые льдины, гигантские торосы, похожие на сказочные крепости и замки, и парящую над всем этим Белым Безмолвием огромную белую птицу — альбатроса или, может, буревестника?! И мы то мчались по льду, то прорубались сквозь торосы, то перетаскивали упряжки через трещины... А еще — лежали с карабинами в засаде у полыньи, ожидая нерпу, ночевали в палатке, подстелив оленьи шкуры...

А видела бы ты нас, Александра, когда мы в меховых кухлянках и торбазах сидели на нартах, бросали собачкам куски квашеного моржового мяса — «ко-

пальхен», потому что закон тундры гласит: «Сначала покорми собак, потом поешь сам!», а сами, значит, ели мелко накрошенное нерпичье мясо с жиром — «прзрэм», запивая обжигающе горячим чаем...

А дальше меня, конечно, подмывает слегка слукавить и сказать, что вот-де доехали мы до места гибели «Челюскина» и с песнями вернулись в Ванкарем. Но, увы! Сто пятьдесят километров по морю — это не прогулка по тундре. Мы уперлись в какой-то жуткой высоты снежный хребет, а когда взобрались на него, оставив собачек внизу, увидели впереди нагроможденья торосов и черные развodia до горизонта...

Было это в апреле, как и пятьдесят лет назад, когда людей спасали из ледового лагеря, и на собаках их оттуда вытащить было невозможно. Что мы как бы и доказали. А когда вернулись в Хабаровск, уже начался май, и северяне-попутчики по самолету, выйдя на площадь перед аэропортом, говорили: «Здравствуй, зеленая!» Это они с травой так здоровались.

А сейчас я открою тебе, Александра, маленький секрет: чего это меня потащило в чукотские льды и снега? А вот чего. Когда я был молодым и друзья называли меня Смоком, я безумно любил одну девушку и книжки Джека Лондона. И я составил себе такой смешной план: что бы я хотел сделать в жизни. Первым пунктом было, конечно, жениться на этой самой девушке, а каким-нибудь двадцатым — «ехать на собачьей упряжке и кричать: «Вперед, хромоногие!» Как у Джека в северных рассказах.

Так вот, кроме первого пункта, все остальные у меня, в общем-то, выполнились, поэтому мне совершенно не больно за бесцельно прожитые годы. А на твою «Девушку из таверны» (кстати, моя первая любовь обожала песню про девушку из таверны — только про другую, которую полюбил суровый капитан за глаза ее с испугом серны и улыбку, как ночной туман) я отвечу такой:

Бросьте, ребята, бросьте!
Наше ли это дело?
Мы в сердце у женщин гости.
Была любовь, да улетела.

Наше ли это дело —
Ревность, тревога, отчаянье?
Ветра бы нам, да снега,
Моря, да крика чаек.

Мы в сердце у женщин гости.
Не стоит толкаться рядом,
А если ласкать придется —
Ласкаем руками и взглядом.

Была любовь — да улетела.
Не надо искать причины.
Только бы радость звенела —
Ведь мы ж, черт возьми,
мужчины!

Так бросьте, ребята, бросьте!
Поутру взмахните шапкой,
И пусть по волнам понесется
Шхуна под черной тряпкой!

Жалко, Саша, что твой камчатский знакомый чукча Степа этой песни не знал. Такими циничными словами я и закончу свою историю про «челюскинскую» экспедицию.

Александра: «ЗА ТО, ЧТО УТРАМИ ТУМАННЫМИ Я СЛИШКОМ ЛЕГКО УХОДИЛ»

В минувшее воскресенье, в десять часов утра, меня разбудил звонок в дверь. «Кого бы это черти могли принести в такую рань?» — подумала я с неудовольствием (у каждого ведь свои представления о «рани») и, накинув халат, поплелась открывать.

На пороге стоял незнакомый молодой человек вида чрезвычайно живописного: в китайских тапочках на босу ногу, как бы не совсем уместных в октябрьские холода, рваном свитерке и детской вязаной шапочке. Он церемонно поклонился и сказал голосом интеллигентным и даже не слишком пропитым: «Простите за беспокойство. Мы с ребятами тут сидим в подвале, а закусить нечем. Не могли бы вы презентовать нам sandwich?» «Что презентовать?» — опупела я. Любой бы опупел, если б у него спросонья какой-то бич попросил что-то на хорошем английском... «Ну, кусочек хлеба и что-нибудь сверху», — улыбнулся молодой человек. «Ах, сэндвич!» — обрадовалась я неизвестно чему и понеслась на кухню за бутербродами. «Very well, — снова раскланялся незнакомец. — Премного благодарен, мэм». «Не стоит благодарности, сэр!» — величественно ответила я, ощущая себя некоторым образом королевой Елизаветой.

Весь день потом у меня было хорошее настроение, да и сейчас я вспоминаю этого молодого человека с добрым чувством.

Вообще, у меня двойственное отношение к бичам. С одной стороны, смотреть на них, конечно, тошно, а с другой — ужасно жалко. Всегда хочется помочь, но чем тут уже поможешь!..

Разве что дашь денежку (или бутерброд) да искренне пожелаешь добра.

Фрагментарное мое общение с бродягами позволяет сделать, быть может, поверхностный вывод: люди они скорее хорошие, чем плохие. Во всяком случае, мне они ничего дурного не сделали. Напротив: однажды в тайге, когда я чуть не обморозилась, бич подарил мне теплые носки, потом в городе какой-то сердобольный алкоголик помог донести тяжелую сумку с картошкой, и еще как-то раз зимой, когда коляска с маленьким ребенком застряла в сугробе, и я минут десять билась, чтобы ее оттуда извлечь, а мимо спешили прилично одетые люди, не обращая на нас никакого внимания, на помощь пришел опять-таки бич — он молча свернул с дороги, подхватил коляску, поставил ее на тротуар и так же молча, не слушая моих благодарностей, побрел дальше.

Я долго растроганно молилась ему вслед: «Господи, помоги этому человеку!»

Уж не знаю, услышал ли Бог мою молитву, но, по идее, должен был — все поданные «луковки» у него на строгом учете, а парень, безусловно, луковку подал.

И еще одну чудную сценку я видела на Хабаровском вокзале, когда зимней ночью ждала поезд. Я читала книжку и тайком наблюдала за парочкой, расположившейся неподалеку.

Бездомные мужчина и женщина, оба по виду лет за сорок, со следами бурной жизни на лице и соответственно одетые, сидели, обнявшись, и трогательно заботились друг

о друге. Время от времени кто-нибудь из них спрашивал: «Тебе удобно? Тебе не холодно?..» Они укрывались рваным полушубком — одним на двоих, и каждый пытался потеплее укутать другого. Потом мужчина куда-то ушел, а когда вернулся, в руках у него были гвоздики — три замурзанных цветочка, явно из мусорного бака. «Валя, это тебе!» — с нежнейшей улыбкой на беззубом лице сказал кавалер, а Валя рассиялась ему навстречу. Ах, нужно было видеть эту Валю: и глаз подбит, и ноги разные!..

Но умереть мне на месте, если не светилась она любовью, достойной, быть может, самой высокой поэзии и уж, конечно, не моего пера.

Наверное, таких людей нельзя осуждать. Ведь не осуждаем же мы спортсменов, которые не сумели толкнуть штангу. Не взяли вес. Вот и эти не взяли вес — жизнь оказалась не по силам. И у каждого в прошлом — своя трагедия и своя, наверное, вина. Да ведь не нам судить. Юра?

А песня мне вспомнилась не то чтобы совсем про бича, но про забулдыгу, который «утрами туманными слишком легко уходил». Не велик, кажется, грех, но тяжела ладонь твоя, Господи! Не каждое плечо ее выдерживает.

...И падал я в душные травы,
Горячие губы ловя.
Российские добрые бабы
Любили, жалели меня.

Любили меня, окаянного,
Стирали мои рубахи,
Шального, побитого, пьяного
Спасали из уличной драки.

Любили меня застенчиво,
И я не буду прощен,
Что гордое имя Женщины
Я в лицах у них не прочел...

За то, что я их обманывал,
За то, что я их не любил,
За то, что утрами туманными
Я слишком легко уходил —

Не падать мне в душные травы,
Горячие губы ловя...
Российские добрые бабы,
Наверно, простили меня...

Юрий: «ДОРОГИЕ ПАПАШИ-МАМАШИ»

Сегодня, Александра, я расскажу о том, как иногда песня не только жить, но даже кушать помогает — в самом прямом смысле.

Во времена моего детства еще ходили по вагонам пригородных поездов нищие с гармошками и пели душещипательные песни. На гармошке стояла жестяная

банка, в которую пассажиры кидали монеты, или перед гармонистом шла какая-нибудь потрепанная дамочка и принимала пяточки и гривенники в гармонистову шапочку или кепочку (в зависимости от времени года), а гармонист выводил: «Дорогие папаши-мамаши, перед вами народный герой! Вас пятнадцать копеек не встроит, для меня ж это хлеб трудовой! Дорогие отцы-матери, братья и сестры! Помогите своей трудовой копеечкой герою Севастополя, Симферополя, Сапун-горы и города Одессы!»...

Так вот. Когда я поступил в политехникум, наш первый курс, естественно, послали в колхоз — на месяц. Жили мы в деревне Починки, с утра до вечера ходили по грязным чавкающим бороздам и собирали своими слабыми подростковыми ручонками картошку, а кто посильнее, оттаскивал наполненные этим национальным плодом ящики к дороге, откуда вечно нетрезвый мужичок отвозил их на телеге куда-то вдаль — и это был единственный колхозник, которого можно было с натяжкой отнести к трудящимся. Денег нам за нашу работу, естественно, не платили (слава Богу, хоть кормили), взятые с собой рублишки улетели в первые же три дня на сигареты и леденцы, и вот примерно через неделю мы решили тайно отправить гонцов в город — обойти родителей и собрать деньжонок, а перед преподавателем, который нас тут опекал, но с нами почему-то не работал, гонцов отмазать, ну, там, как-то картофельные ряды распределить, чтобы бреши заметно не было.

Кого послать? Выбор пал на Вовку Сарафанова и меня. Сарафан был такой довольно хулиганистый пацан, с которым не пропадешь, а насчет меня сказано было так: «Ты с нашими родителями культурно поговорить сможешь, в случае чего слезу пустишь про нашу несчастную жизнь».

И вот мы, после обеда смотавшись с поля, быстрым шагом добрались по проселочной дороге до железнодорожной станции, сели в электричку, и Сарафан сказал:

— Юрка, а давай денег заработаем, пока едем?

— А как? — спросил я.

— А побирнемся!

— Давай, — сказал я, не очень представляя себе конкретику действий, но полагаясь на Сарафана и как бы предвкушая какое-то приключение.

— Ты, значит, пойдешь впереди, будешь нести кепку и говорить: «Дорогие отцы-матери...» А я буду идти сзади под видом слепого и петь.

И вот мы двинулись по вагону. Сарафан, задрав голову с закрытыми глазами и положив мне руку на плечо, хриплым голосом запел: «Есть в Боливии маленький дом, он стоит на утесе крутом...» и какие-то другие хулиганские песни, а я, значит, дрожащим от стыда голосом лепетал примерно следующее: «Дорогие дяденьки и тетеньки! Помогите своей трудовой копеечкой двум братьям-сиротам!..» И тэ дэ, и тэ пэ.

И зазвенели в моей набирающей вес кепочке монетки, и даже рублики зашуршали. Что не очень и удивительно: вид у нас после колхозной недели был грязноватый, в меру несчастненький, да и по природным физическим данным мы были скорее шкеты, чем спортсмены-разрядники.

Каковы же были наше удивление и восторг, когда, сойдя на родной станции и пересчитав свой скромный заработок, мы обнаружили, что стали почти богачами! И Сарафан, сказав, что визиты к чужим родственникам и сбор денег для пацанов никуда не денутся, твердым шагом повел меня к своему одиноко жившему в коммунальной комнатухе старшему товарищу Брынде, который нам очень обрадовался, тут же сгонял в магазин за плавлеными сырками и «портвейном розовым» (который мне понравился гораздо меньше столь любимой мной в недалеком будущем марки «Три семерки»).

Закончив незатейливый и слегка затянувшийся ужин, мы немного попели песни, пока нас не приструнили соседи, и улеглись спать. Надо ли говорить, каким ужасным было наше завтрашнее пробуждение?! Денег-то мы для пацанов не собрали! Что ж, пришлось остаться до вечера — до прихода с работы родителей наших пацанов. И долг товарищества мы, в конце концов, исполнили.

А через много лет, когда я уже жил в Хабаровске и работал в газете, напросился однажды в археологическую экспедицию со знакомыми студентами-худграфовцами. У них это была обычная практика, совмещенная с пленэром, а мне редактор выписал командировку на неделю. Улетать вся компания должна была двумя маленькими самолетиками — в Кукан. И вот наша первая партия загрузилась, самолет взлетел и через полчаса сел в Желтом Яру, потому что в Кукане испортилась погода. И в этом Яру мы неделю прожили — в какой-то избушке. А все экспедиционные деньги, между прочим, остались у начальника — во втором самолете, который так и не вылетел из Хабаровска. И вот мы проели мои командировочные и поняли: надо что-то придумывать.

И мы пошли в ближайший пионерский лагерь и предложили: мы вам концерт, а вы нас накормите. Симпатичные пионервожатые с радостью согласились в надежде на танцы после концерта и новые интересные знакомства. И вечером в лагерном клубе собралась куча детей, радуя мой взор аккуратно повязанными пионерскими галстуками, а артист у нас был только один — Володя Носов, ставший сейчас знаменитым художником, а тогда — простой второкурсник. Но на гитаре он играл классно! И целый вечер Володя вышибал из пионеров и пионерок слезу, исполняя: «Белая береза, я тебя люблю, ну, протяни мне ветку белую свою, без любви и ласки пропадаю я...» и прочие любимые советской детворой песни. А особенно почему-то рыдали дети и взрослые на песне Юрия Визбора про судно «Кострома».

А потом нас, конечно, накормили и в запас дали, и танцы устроили, и знакомства, а в этом году вдруг позвонил мне Володя Носов и позвал в гости, потому что решил подарить мне одну свою картину, от которой я балдею. И вот мы с ним посидели, попели песни разных годов, ту пионерско-археологическую историю вспомнили.

Картина Володи у меня на стене висит, и я часто смотрю на нее и слышу музыку сфер, а визборовскую песню про «Кострому» с удовольствием печатаю здесь.

По судну «Кострома»
стучит вода,
В сетях антенн
качается звезда.
А мы сидим и курим,
мы должны
Услышать три минуты тишины.
Молчат во всех морях
все корабли,
Молчат морские станции
земли,
И ты ключом, приятель,
не стучи,
Ты эти три минуты
помолчи.

Быть может, на каком борту
пожар,
Пробоина в корме
острей ножа?
А может быть,
арктические льды
Корабль не выпускают
из беды.
Но тишина плывет,
как океан,
Радист сказал:
«Порядок, капитан».
То осень бьет в антенны,
То зима,
Шесть баллов бьют по судну
«Кострома»...

Александра: КАНИКУЛЫ У МОРЯ

Перед отпуском, Юра, самое время спеть что-нибудь веселенькое, туристское. И историю вспомнить соответствующую. Как, например, десять лет назад я с детьми и подругой, ученой дамой, преподававшей марксистско-ленинскую философию в одном хабаровском вузе, ездила отдыхать на остров Рейнеке. Папа наш от поездки уклонился. «Я, — сказал, — лучше ремонт в доме сделаю», и, разумеется, не сделал, нехороший человек, но не о нем речь.

Подруга уехала первая, она встретила меня с детьми, когда мы сошли с парома: за спиной у меня был огромный рюкзак, в одной руке я держала палатку, в другой — тяжелую сумку с картошкой и помидорами, дети тоже были нагружены рюкзаками. Подруга сказала, что ей нельзя поднимать тяжелое, поэтому шла налегке и весело щебетала: посмотри, мол, какой прекрасный вид открывается с горы! «Ничего», — злобно промямлила я, чувствуя, что понимаю, как с людьми случаются апоплексические удары. «Ничего! — фыркнула подруга. — Я тебе удивляюсь: ты в юности такой поэтической девушкой была, даже стихи писала. Куда все делось?» «Дура ты», — хотела сказать я, но не сказала, потому что не стоит начинать отдых со ссоры.

И вообще я дала себе слово, что ради детей, мечтавших о море всю зиму, перенесу все — и подругу, и спартанскую жизнь в палатке, и мужа, который от отцовских обязанностей уклонился, нехороший человек. Но не о нем, как сказано, речь.

Подруга моя была дамой со странностями. Несмотря на марксистско-ленинскую твердолобость, она верила в сглаз, порчу, экстрасенсов и прочую хиромантию. А еще она безумно боялась микробов.

Я же не верила ни во что: ни в Маркса, ни в Ленина, ни в Бога, ни в черта. А на микробов плевать хотела. Как говорила моя бабушка: от грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь. Поэтому общались мы с ней примерно так:

Я: Где мы будем мыться? Тут баня какая-нибудь есть?

Она: Баня есть. Но туда ходить не нужно.

Я (с подковыркой): Там, вероятно, грязно?

Она (не слыша иронии): Нет, там не грязно. Но туда ходят местные бабки-татарки. Они приезжих не любят.

Я: Что, сразу кипятком шпарят?

Она (нервно): Тебе бы только ерничать, а я знаю, что у них дурной глаз. Они могут порчу наслать.

Боже милостивый, порчу! Да зачем ее на тебя насылать, если ты от рождения с прибабахом, думала я, но молчала — до поры до времени.

И вот однажды, в прекрасное солнечное утро, когда мы, позавтракав, улеглись на гладких белых камешках, а я даже размечталась, что, если мне позволят пролежать на этих камнях без движения хотя бы один день, прощу все — и палатку, и подругу, и мужа, который каникулам у моря предпочел ремонт и не сделал его (нехороший, соответственно, человек), но подруга моя была деятельна и неутомима.

«Кончай валяться, — крикнула она над самым ухом. — Нужно идти на Красные скалы».

Это, оказывается, самое красивое место в Приморье, и, не посмотрев его, я совершу преступление перед человечеством. Я обреченно вздохнула и пошла — спорить с ней было бесполезно.

Ну, скалы, ну, Красные, ну, в самом деле, недурной вид. Но тащиться пять километров по жаре, по валунам, с пятилетним чугунным ребенком на плечах — извините, удовольствие того не стоило.

Назад возвращались в недружелюбном молчании.

У кострища нас ждал сюрприз — десяток чистеньких розовых картофелин. Он был тем более кстати, что свои припасы мы уже съели. Мужички, что пьянствовали утром неподалеку от наших палаток, сделали девушкам презент, поняла я и сказала: «Спасибо!»

Но подруга вдруг сбледнула с лица и судорожно стала запихивать картошку в пакет: ее, сказала она, нужно выбросить. Ребенок мой младший удивился и спросил — зачем, мол, это же не гнилая картошка, ее можно испечь, мы всегда на даче печем картошку.

Тут я со всем доступным мне сарказмом объяснила мальчику, что картошка эта — заговоренная, есть ее нельзя, поскольку кровавый понос неизбежен.

Дитя посмотрело на меня с испугом, а с подругой сделалась истерика. «Ты, — закричала она, — как гиппопотам, ты можешь растоптать человека и не заметить. Своими шуточками изводи своих домашних!» И так далее.

Я, конечно, забыла клятву молчать и терпеть все ради детей десять дней, и объяснила подруге — какая такая трепетная лань она есть на самом деле.

Отдохнули, называется.

При этом, Юра, представь, за десять дней мы даже ни разу не выпили: в дополнение ко всему подруга моя была еще и трезвенницей.

А метрах в ста от нас стояли лагерем какие-то симпатичные парни, они пытались пригласить нас в компанию, но с моей безумной пуританкой контакты были исключены. И я с завистью слушала, как мужики купаются ночью, смеются и поют под гитару:

Мы однажды вместе с Васей
отдыхали на турбазе.
Я из Волги не вылезил,
я с утрянки долбанул.
Что нам рифы, что нам мели?
Отдыхали, как хотели.
Исхудали, загорели.
Правда, Васька утонул.

Через полчаса с турбазы
притащили водолаза.
Разбудили, но не сразу.
Он глаза открыл — икнул
И «Тройного» влил в аорту —
сразу видно — парень тертый!
Спец, отличник, мастер
спорта! Правда, тоже утонул.

Прибежал директор базы:
«Не видали водолаза?
Все духи украл, зараза,
всю похмелку умыкнул!
Вот пойду!» — кричит.
И в катер.
И с разбегу дернул стартер,
и умчался на фарватер,
и там, конечно, утонул.

Ставлю рубль, ставлю
стольник —
здесь Бермудский треугольник:
за покойником покойник.
Я как крикну: «Караул!»
Из кустов в одном баллоне
весь в ремнях и самогоне
прибежал полковник Пронин.
Ну, этот сразу утонул.

А потом тонули лодка,
врач и повар с пьяной теткой
Рыбнадзор — тот вместе
С лодкой,
Ну а к вечеру — ваще...
Два директора завода,
все туристы с парохода.
Главное, канули, как в воду —
Ни привета, ни вещей.

Утром сторож появился —
он ничуть не удивился.
Говорит: «Ты что, взбесился?!
Глянь на Волгу — вон она!
Тут намерен посередке
утонула баржа с водкой.
Может, сплаваем в охотку?»
И нырнул. И тишина.

Юрий: НЕМНОГО МИСТИКИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Вот ты, Александра, в своей песенной истории вспомнила об отдыхе на море и о романтической подруге, «совмещавшей марксистско-ленинскую твердолобость с наивной верой в сглаз, порчу, экстрасенсов и прочую хиромантию», и эту подругу как бы покритиковала — что она тебе отпуск испортила. А лично мне твоя подруга даже слегка симпатична — ну, я бы на ее месте тоже потащил друзей на какие-нибудь Красные скалы, чтобы подарить им «недурной вид», и о фантастике при этом не забывал.

И, поскольку мы с тобой только что вернулись со сплава по таежной реке, о котором напишем серьезный репортаж под названием «По большой воде на маленьком плоту», то сам Бог велит мне сегодня «спеть» про этот сплав — были там и вода, и скалы, и, я бы сказал, игра в «прочую хиромантию» (не ты ли тучи усилием воли разгоняла?!).

Будем считать, что моя история — как бы вставная новелла в наш нормальный материал, в котором, естественно, нет места для прибабыхов и примочек, хотя марксистско-ленинская идеология доставала нас и в дремучей тайге — но это уже для твоего пера, я же расскажу свой индивидуальный сюжет.

...На этот сплав меня пригласил наш товарищ Виктор, и я отчего-то зациклился — вот, если схожу, то все у меня дальше будет о'кей, а если нет — то наоборот.

И по первому зову укатил в Переяславку, а там — наводнение, о сплаве и речи быть не может, ладно, подумал я, написал об этом наводнении репортаж и стал тупо ждать следующего сигнала, откладывая неотложные дела и поездки.

Через неделю Виктор сказал: «Идем», и я мигом снялся с насиженного стула, а все говорили: «Ну ты что, рехнулся, там же наводнение продолжается и тайфун обещают», но мне уже было все равно.

Ну, а то, что ты, Александра, к нам в последний, можно сказать, момент присоединилась — оттого, что один телевизионщик дал отбой, мол, в дождь фильм не снимешь, и место на плоту освободилось, — это твоя проблема.

А моя началась еще в автобусе. Вот едем мы в Переяславку, вдруг водитель затормозил у остановки, где рыдала маленькая девчушка, а подруги ее утешали: «Да вернется твоя мама!», но, увидев, что помощь не нужна, шофер погнался и — снова затормозил — на дороге стояли гаишники, скорая и лежал сбитый парень. Очень плохие «звонки», сказал я. Беру их на себя.

Вот так, до сплава, началась моя любимая еще со времен фэншва система заморочек, подаренная Воннегутом-Шекли-Толкиным и гениально сформулированная Ежи Лецем: «Человек не одинок. Ведь кто-то его стережет». Но и — по Курту: «Кто-то тебя бережет». А по Роберту — они «там, наверху», играют на тебя в карты с переменным успехом, поэтому не удивляйся, если у тебя сторел гараж. Черный юмор, так сказать. Д. Р. Р. Т. Ну а если же всерьез: даже за маленького хоббита «там, наверху», идет крутая борьба между «светлыми» и «темными». И вот уж в этом-то я, когда влез в толкинизм, воочию убедился. Но это совсем другая история.

Ладно, подумал я, пусть этот непонятно зачем нужный мне сплав усложнится для меня лично такой вот фэн-игрой. Посмотрим и будем помнить предупреждение Шекли («Чего особенно нужно остерегаться на этой планете?» — «Остерегаться нужно ВСЕГО»).

...На второй день сплава, во время стоянки, я поперся в тундровую тайгу по грибы. Прекрасно зная, между прочим, что идти по мхам надо осторожно — под обманчиво-ровной зеленой мшистостью таятся ямы. Вот в такую

яму я все-таки и въехал правой ногой, спасибо, не сломал, но растяжение связок получил классное! Другой бы на моем месте завыл от боли, а я как бы даже обрадовался: первый «звонок» отработал, второй привет от «темных» покруче должен быть.

И вот вечер, ужин у костра, команду нашу волнует один вопрос: сломался сплав из-за моей ноги или нет? То есть, гнать ли нам завтра в конечный пункт или ловить кайф еще четыре дня — по плану? Да ерунда, сказал я, все нормально, и даже вроде бы попрыгал на уже сильно распухшей к этому времени ноге.

Трое остались ночевать в маленькой охотничьей избушке, а другие трое, включая меня, пошли спать на пришвартованный к берегу плот. Парни, сказал я, вы идите вперед, спальные расстелите, а я следом потихонечку похрамаю, тропинку-то видно.

И вот, тащусь я в крошечной тьме по этой тропинке и думаю: надо какую-нибудь палку найти — опираться, и в ту же минуту вижу лежащую поперек тропинки палку. Поднял я ее — и это оказалась натуральная еловая трость точно под мою руку — в смысле расстояния от кисти до земли. И я с ней благополучно доковылял до плота, а утром очистил ножом от коры и обалдел!

На рукоятке-корне открылись такие рисунки! Птица летящая, тигр, пулеметчик, иероглифы, латинские и русские буквы... Ты, Александра, видела, как я с этой тростью, словно с писаной торбой, носился — и полировал ее тряпочкой, и подсолнечным маслом смазывал, а вся команда у меня ее посмотреть просила и эти рисунки на рукоятке расшифровывала.

И понял я, что такую замечательную трость в нужном месте и в точное время мне «светлые» на тропу положили. И что дальше все и вправду будет нормально.

Но это я вперед забежал. А когда я — уже с тростью, но еще не зная, ЧТО она такое, — ковылял по темной тайге к плоту, то вдруг увидел прямо на тропе светящийся крест. И прямо остолбенел, как Робинзон Крузо, наткнувшийся на след босой ноги. Я осторожно обошел этот крест и, дойдя до плота, спросил: «Мужики, а вы видели там, на тропе?..» «Крест, что ли? — сказал Коля. — Так это мы его из светящихся гнилушек сложили, чтобы ты своротку на плот не пропустил».

Нужно ли говорить, как сладко спалось мне, несмотря на большую ногу, на нашем замечательном плоту под убаюкивающий гул реки...

И больше на сплаве ничего плохого со мной (и с товарищами) не случилось, но зато, когда мы уже возвращались в Переяславку, «темные» начали в бессильной злобе лупить вдогон — по машине: сначала полетела какая-то труба, потом кончился бензин, потом лопнула шина... Но это уже не мои проблемы.

Как говорил Воннегут, «только не принимайте мои слова всерьез». И песню я сюда вкатываю совершенно не фантастическую и давно любимую. Как бы про сплав.

Все перекаты,
Да перекаты,
Послать бы их по адресу!
На это место
Уж нету карты,
Плывем вперед по абрису.
А где-то бабы
Живут на свете,
Друзья сидят за водкою.

Владеют волны,
Владеет ветер
Моей дырявой лодкою.
А если есть там
С тобою кто-то,
Не стоит долго мучиться!
Люблю тебя я
До поворота,
А дальше как получится.
К большой реке я
Сегодня выйду,
А завтра лето кончится...
И подавать я
Не должен виду,
Что умирать не хочется.

И все же, ребята, приятно думать, что «там наверху» кто-то тебя стережет, но кто-то и бережет.

Александра: «Я ВОСПАРИЮ МЕТРА НА ДВА, НА ТРИ»

Опять весна, Юра, на белом свете.

И хочется что-то хорошее рассказать. И спеть.

И вот, представь, подумала я, подумала — что же такое светлое связано в моей жизни с весной, и ничего не вспомнила, кроме одного эпизода, когда мы с ребенком пускали кораблики на Неве.

Я показывала мальчику Ленинград, мы устали, спустились к набережной, распотрошили мой блокнот и отправили вниз по течению целую эскадру маленьких белых лодочек. Было тепло, и Адмиралтейская игла блестела на солнышке. И Нева плескалась у ног.

«Вот бы прокатиться по реке», — мечтательно сказал ребенок.

Мы купили билеты на речной трамвай и поехали: Нева, Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, канавка, в которой утопилась Лиза, мосты, набережные, дворец Шереметева, Инженерный замок с привидениями — полный набор для провинциалов.

Дитя было счастливо, а я забавлялась, глядя на экскурсовода. Он, вероятно, в прошлом был актером, выгнанным из театра за пьянку и вопиющую бездарность, ибо носил седые кудри до плеч, классический сизый нос, бархатный берет и с подвыванием декламировал: «Люблю тебя, Петра творенье!» Он был трогательно глуп. Он говорил замечательные вещи, например: «Поцелуев мост не потому называется Поцелуевым, что на нем целуются, а потому что его построил купец Поцелуев». Или: «В этом дворце (в смысле — Шереметевском) умерла великая актриса Параша Жемчугова. Она не вынесла гнета крепостничества и самодержавия».

Да уж. Нас бы кто так угнетал.

Параша умерла, если мне память не изменяет, родами, и муж ее законный, граф Шереметев, — был безутешен...

Тем не менее весенний день в Ленинграде был хорош и дурак-экскурсовод там тоже был уместен: он выглядел неким комическим дополнением к идиллии. Жизнь, я давно заметила, любит смешивать жанры. Ну, чтоб не вовсе уноситься в небеса.

И еще один весенний день вспомнился мне.

Это в девяностом году было: я лежала в больнице с таким низким гемоглобином, что ниже бывает только у тех, кого везут на кладбище.

И пришла меня навестить твоя, Юра, жена, а моя любимая подруга Машечка. Мы с ней немножко побродили по больничному двору в поисках уединенного места и нашли скамеечку, сразу за которой начиналась помойка, а на той помойке среди мерзости и запустения цвела розовым цветом безгрешная худосочная вишенка.

«Всюду жизнь», — сказали мы с Машей, приземлились на эту лавочку и душевно распили бутылку красного сухого вина (для крови полезно). Для души, как выяснилось, тоже, поскольку с того дня я стала выздоравливать и скоро выздоровела совсем.

Глупости, что в здоровом теле — здоровый дух. Наоборот. Дух все же первичен. Если у души появляется желание жить, то и тело живет.

А в тот день впервые за много месяцев душа моя открыла глаза, встрепенулась, порадовалась солнышку, Маше, цветущей вишне, бутылке доброго вина и сказала себе: ничего, что вокруг помойка. Все равно весна пришла. Все равно надо жить.

А вскоре мой взрослый уже мальчик, с которым мы когда-то пускали кораблики по Неве, спел чудную песню про весну, про то, что «я воспарю метра на два, на три».

Именно.

Выше — страшно, а ниже — полета не получится.

Так мы все и летаем по жизни — низко-низко, как крокодилы из анекдота. Ну, как умеем... Извините.

ДВОРНИК СТЕПАНОВ

Набив межзвездной
пустотой
оба кармана
тихо, как вор,
в город приходит ночь.
И одуревший от весны
дворник Степанов
дерзкой метлой мусор
погонит прочь.
И тут словно ночной
ковбой,
из-за угла выйду я,
наступая на лужи,
и сложит оружие
непобедимая зима.
И тут от запаха весны,
снега и хвои
что-то во мне произойдет
внутри.
И, оттолкнувшись от земли
дерзкой ногою,
я воспарю метра на два,
на три.

Но и не более —
чтоб с непривычки
не стучало в ушах
от давления, но и не менее,
поскольку хочется летать!
И, одуревший от весны,
в дальние страны я полечу
сквозь небосвод ночной,
И, заглядевшись на меня,
дворник Степанов
бросит метлу
и полетит за мной.
Так отчего же весь народ
ходит, как пьяный?
Что нас влечет,
что нас лишает сна?
А просто в туче воробьев
дворник Степанов
в небе висит —
значит, пришла весна!

Юрий: ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА С ВОЛЬДЕМАРОМ

Давай, Александра, помянем сегодня Володю Сополева, незабвенного Вольдемара, соавтора нашей любимой и настольной-застольной книги «Несчастливая жизнь Байрама и Вольдемара». Ровно три года назад перестало биться сердце поэта, и все эти три года я живу с ощущением какой-то несправедливости происшедшего.

Ну почему не сработал «автопилот», на котором люди добираются до дома, где был Володин ангел-хранитель, почему в ту студеную январскую ночь не затащил его за шиворот в какой-нибудь теплый подъезд? Не тайга ведь, не степь...

Или все же — от судьбы не убежишь, не уползешь? Сколько у него в стихах набормочено-напророчено... «Упал человек на снег. Исполненный милосердия, стараюсь не наступить». «Коль все-таки с Байрамом мы замерзнем, пускай нам общим памятником будут не купленные нами две бутылки».

И совсем уже до мороза по коже —

А жене моей так скажи:
Вольдемар, мол, в степи замерз,
А деньгу, что с тобой нажил,
Он с любовью с собой унес.

Вот только деньгу он никакую не нажил. Зато рукописи остались, и все мы с Байрамом мечтаем издать «Несчастную жизнь...» в полном объеме. Только вот тоже никак деньгу для этого нажить не можем.

...Помнишь, Александра, как приехали мы все с кладбища, сели за поминальный стол — и такая тоска навалилась.

И тогда Байрам сказал: «Вольдемарушке мы бы такие не понравились».

И стали мы вспоминать разные случаи, и они отчего-то показались нам веселыми, хотя, быть может, ничего веселого в них и не было, а когда настала моя очередь поднять поминальную рюмку, я рассказал про зимнюю рыбалку с Вольдемаром.

— Дмитрич, — часто говорил мне Вольдемар, — вот всем ты хорош, но — не рыбак.

— Это я-то не рыбак? — возмущался я. — Да знаешь, как люблю я летом с удочкой над речкою сидеть, а рядом верные друзья-рыбаки Гришка и Корней, и вот мы сидим, а рыбка клюется, на сердце, сам понимаешь, так легко...

— Это ты не рыбак, а так... рыболов, — презрительно сверкал стеклами очков Вольдемар. — А настоящий рыбак — это тот, кто ходит на зимнюю рыбалку.

И вот он меня убедил, и в один прекрасный воскресный день мы втроем (третьим был, естественно, Байрам) отправились на зимнюю рыбалку. Место для рыбалки мы выбрали не очень далекое — буквально напротив моего дома. Тем не менее меня слегка поразила экипировка Байрама — если Вольдемар был в валенках, тулупе, со специальным рыбацким ящиком и какой-то железной штуковиной, которую он волок за собою с помощью веревки, то Байрам выглядел так, словно шел в Париж по делу и к нам на пять минут завернул, в легкой обуви, чуть ли не в белой рубашке с галстуком...

И вот мы на льду: Вольдемар этой своей железной штуковиной стал долбить лунки, мне поручил выгребать из них колотый лед какой-то специальной поварешкой с дырками, а Байрам стоял рядом и смотрел на часы. Я по наивности полагал, что он засекает время долбления, так как в особенности зимней рыбалки входит соблюдение каких-то нормативов...

— Без пяти десять, — сказал Байрам, — я пошел.

И быстрым шагом направился в сторону Прибрежки, а точнее — к специализированному магазину, в котором в те далекие доперестроечные времена отпускали продукт почему-то не раньше десяти утра.

— Да мы, понимаешь, с вечера еще всем необходимым для зимней рыбалки запаслись, — пояснил, видя мое недоумение, Вольдемар, — но вечером же и употребили. Ты не бери в голову, Дмитрич, сейчас ловить будем.

Он вручил мне какую-то короткую палочку с леской и чем-то тяжеленьким и блестящим на конце этой лески и велел опустить леску в лунку и трясти.

И вот трясу я, трясу, как бы даже начал уже входить во вкус зимней рыбалки, но тут рядом с нами возник Байрам с позвякивающей сумкой в руке и сказал примерно следующее: всю рыбу все равно не переловишь, пошли лучше к Дмитричу на кухню, Мария нам картошки нажарит...

И мы быстро свернули свои снасти и, гремя по льду железной штуковиной на веревке, пошли ко мне на кухню...

Дважды еще ходил я с Вольдемаром на зимнюю рыбалку — и что? Один раз не успели мы даже лунки продолбить, как Вольдемар провалился под лед, и мы пулей помчались ко мне на кухню согреть и сушить его, а другой раз — Корней с нами напросился...

Так меня Вольдемар и не пригласил к зимней рыбалке.

Зимой все же веселей на кухне сидеть, чем на льду.

...А еще за тем поминальным столом вспоминали мы знаменитые розыгрыши Вольдемара, и мне в очередь достался рассказ про баночку белил. Чтобы описать этот многоступенчатый, с задействованием массовки, с тайными магнитофонными записями спектакль, мне понадобились бы десять наших колонок и твое перо, Александра, — ибо разве расскажешь в двух словах, как я мирил Вольдемара,

якобы укравшего на службе баночку белил, и Леонида Г., якобы не желающего работать в одной бригаде с похитителем баночки белил?..

Жизнь стала тусклее без тебя, Вольдемарушка.

А песенку я тут пристегну соответствующую — несерьезную, хотя и про серьезное место. Впрочем, как говорят в народе, «все там будем». Дело житейское.

Четверть века
в трудах и заботах я
Все бегу, тороплюсь да спешу,
А как выдастся время
свободное,
На погост погулять выхожу.

Там, на кладбище,
Все спокойненько,
Никого не видеть,
не слышать,
Все культурненько
И пристойненько,
Исключительная благодать!

Вот, к примеру,
захочется выпить вам,
Ну а выпить нигде не дают,
Все грозят и грозят
вытрезвителем
И в нетрезвую душу плюют.
А на кладбище
Все спокойненько
От общности вдалеке,
Все культурненько
И пристойненько,
И закусочка на бугорке!

Нам судьба уготована
Странная,
Беспокойная ночью и днем,
Все друг друга клянем
на собраниях,
Надрываемся, глотку дерем.

А на кладбище
Все спокойненько
Среди верб, тополей и берез,
Все культурненько
И пристойненько,
И решен там жилищный вопрос!
Старики, я Шекспир
по призванию,
Мне Гамлетов писать бы,
друзья!

Но от критиков нету признания,
От милиции нету житья.
А на кладбище
Все спокойненько,
Ни друзей, ни врагов не видать,
Все культурненько,
Все пристойненько,
Исключительная благодать!

...Герой одного романа моего любимого писателя К. Воннегута ответил однажды на вопрос «Всерьез вы говорите или нет?» так: «Я и сам не пойму, пока не установлю, серьезная штука жизнь или нет». А Вольдемар Воннегута, между прочим, тоже любил...

(Окончание в следующем номере)



АВТОРЫ НОМЕРА

Елена Арсеньевна ГРУШКО (Арсеньева) родилась в Хабаровске, окончила филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Работала на студии телевидения, в редакции журнала «Дальний Восток», в книжном издательстве. В Хабаровске вышли ее первые книги. Профессиональный писатель, автор более ста книг: как художественных (лирическая проза, фантастические произведения для взрослых, исторические романы, детективы, любовные дамские романы, детские фантастические повести), так и исследований в области славянской мифологии и демонологии. Является постоянным автором издательства «Эксмо». Член Союза писателей России с 1989 года. Живет в Нижнем Новгороде.

Валентин Вадимович БЕРДИЧЕВСКИЙ родился в 1959 году в Омске, окончил художественно-графический факультет Омского государственного педагогического университета. Автор трех книг, нескольких пьес. В 1991 году вышли книги «Школа колдунов» и «Крыса-Дворник», написанные в соавторстве с Т. Мокроусовой. В 1994 году — «Болотный колдун». С 1995 по 2012 год в театре «Арлекин» шли спектакли по двум его пьесам «Подземный король» и «Принцесса и горбун». В 2005 году получил первую премию областного министерства культуры за рассказ «Мышонок». Печатался в журналах «Москва», «Урал», «Литературный Омск» и других. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

Алла Эммануиловна ГОЛУБЕВА родилась в Москве. Окончила историко-филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института, затем факультет журналистики Хабаровского университета марксизма-ленинизма. Более сорока лет проработала в СМИ. Имеет многочисленные публикации в различных газетах и журналах, печаталась в альманахе «На берегах Биры и Биджана», журнале «Дальний Восток». Выпустила три книги: «Алочка Неведомская в жизни и после нее», «Не дарите мертвых цветов» и «Теперь он запомнит», в которые вошли повести, рассказы, стихи, очерки. Живет в Краснодаре.

Рюальд Григорьевич ДОБРОВЕНСКИЙ родился в 1936 году в городе Ельце. Окончил Московское государственное хоровое училище (1954) и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (1975). Учился в Московской консерватории (1954–1955). С 1958 года, по окончании срочной армейской службы, почти полтора десятилетия жил и работал журналистом в Хабаровске и на Сахалине. Первая поэтическая публикация — в журнале «Дальний Восток» (1959). Первые книги, изданные в Хабаровске: «Солнечные часы», «Лукошко». С 1975 года живет в Латвии. Был редактором и главным редактором (1991–1995) журнала «Даугава», редактором издательства «Лиесма» (1983–1988). Почетный член Академии Наук Латвии (2002). Среди книг: повесть-сказка «За Скрипичным ключом» (Хабаровск, 1967), повесть «Град мой Китеж» (Москва, 1972), «Алхимик, или Жизнь композитора Александра Бородина» (Рига, 1984), «Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском» (Рига, 1986), «Райнис и его братья» (Рига, 2000), «Воскресный король» (журнал «Дальний Восток», 2013–2014). Произведения Р. Добровенского переведены на латышский, литовский, немецкий, французский, испанский, голландский языки. Живет в Икшкиле.

Юрий Викторович ЖЕКотов родился в 1964 году в г. Николаевске-на-Амуре. Окончил Приморский сельскохозяйственный и Иркутский педагогический институты. Работал электриком в Николаевском леспромхозе, главным зоотехником совхоза «Ключевской» Смидовичского района ЕАО, директором коррекционной школы-интерната г. Николаевска-на-Амуре. В настоящее время работает учителем в школе. Печатался в сборнике «Светлые души», альманахе «Охотничьи просторы», в журналах «Природа и человек – 21 век», «Родное Приамурье», а также в газетах. Лауреат и дипломант многих литературных конкурсов, в том числе международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» (Москва, 2007). Автор книги «Зов белухи». Живет в Николаевске-на-Амуре.

Иван Владимирович ЕРПЫЛЁВ родился в городе Медногорске Оренбургской области в 1989 году. Окончил юридический факультет Оренбургского института (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина». Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

(г. Москва). Член литературного объединения имени В. И. Даля при Оренбургском областном Доме литераторов с 2002 года. Печатался в газетах «Медногорский рабочий», «Оренбургская неделя», «Вечерний Оренбург», «Оренбургская сударыня», альманахе «Гостинный двор», журнале «Изборский клуб», трехтомнике «Внуки вешего Бояна», антологии «Здравствуй, это — я!», антологии «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово...» (Москва, 2013). Автор книги стихотворений «Дети польнного века» (Санкт-Петербург, 2013). Лауреат Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка». Живет в Оренбурге.

Александр Игоревич КУЛИКОВ родился в 1958 году во Владивостоке. Окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета. С 1987 по 1999 год преподавал в школе русский язык и литературу. В последние годы – журналист «Комсомольской правды». Автор поэтических книг «Баркас» (1987), «Рэгтайм» (1996). Стихи и переводы публиковались в журналах и альманахах «Дальний Восток», «Юность», «Октябрь», «Серая лошадь», «Сихотэ-Алинь», «Рубеж». Живет во Владивостоке.

Виталий Александрович МАКСИМЕНКО родился в 1975 году в селе имени Полины Осипенко Хабаровского края. Окончил физико-математический факультет Хабаровского государственного педагогического университета. Работает в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (г. Хабаровск). Кандидат физико-математических наук. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Юность», «Дальний Восток», а также в сетевых литературных журналах «Точка зрения» и «Млечный путь». Победитель литературного конкурса «Креатив». Живет в Хабаровске.

Александра Викторовна НИКОЛАШИНА родилась в Хабаровске. Окончила факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работала в средствах массовой информации на Камчатке, в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, ныне — главный редактор журнала «Дальний Восток». Печаталась в журналах «Дальний Восток», «Звезда», «Знамя», коллективных сборниках. Автор книги «Поживите без меня». Член Союза писателей России. Живет в Хабаровске.

Павел Сергеевич ПОДЗОРОВ родился в 1975 году в Белоруссии, в городе Бобруйске. Окончил Могилевский финансово-экономический институт, Международную кадровую академию. Работает начальником отдела сбыта РУП «Могилевэнерго». Публиковался в газетах «Чистый МИР», «Звезда», журналах «Маладосць», «Эколог и Я», «Метаморфозы», американском журнале на русском языке «Чайка» (Seagull magazine), журнале «Гостинная» (США), альманахе «Скіфія–2015–Весна». Дипломант конкурса «ЭкоФэнтези-2014». Живет в Бобруйске (Республика Беларусь).

Виктор Иванович РЕМИЗОВСКИЙ (1932 — 2015) родился в Днепропетровске. Окончил Каменец-Подольский сельхозинститут и физико-математический факультет Дальневосточного государственного университета. Кандидат геолого-минералогических наук, академик Дальневосточной народной академии наук, автор многих научных публикаций, семи монографий по истории Дальнего Востока. Работал редактором очерка и публицистики журнала «Дальний Восток». Печатался в журналах «Вестник ДВО РАН», «Дальний Восток» и других. Член Союза писателей России. Жил в Хабаровске.

Николай Васильевич СЕМЧЕНКО родился в 1953 году в селе Святогорье Хабаровского края. В 1975 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работает ответственным секретарем редакции газеты «Тихоокеанская звезда». Печатался в журналах «Костер», «Пионер», «Уральский следопыт», «Дальний Восток», в коллективных сборниках. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России. Живет в Хабаровске.

Елена СОСНИНА Лауреат Сетевого литературного конкурса Литер.ру в сентябре 2004 года. Член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП). Поэт союза Shiva-club.

Елена Павловна СУПРАНОВА родилась во Владивостоке. Окончила Дальневосточный технологический институт. Экономист, работала преподавателем колледжа. Печаталась в

краевых, городских газетах, в журналах «Алые паруса Приморья» (Владивосток), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Семья и школа» (Москва), «Дальний Восток» (Хабаровск), «День и ночь» (Красноярск), «Соотечественник» (Австрия). В 2000 году вышла книга стихов «Переболеть капель», в 2005 году — книга рассказов. Лауреат литературного конкурса «Русский Stil – 2008» в Германии, а также литературного конкурса «Литературная Вена – 2009» в Австрии, победитель конкурса «Русский Stil – 2010» (Германия) и конкурса «Литературный Олимп – 2010» (Россия). Член Международной гильдии писателей. Живет во Владивостоке.

Александр Васильевич УРМАНОВ родился в 1957 году в Амурской области. Окончил филологический факультет Благовещенского государственного института. Работал в школе, преподавал в БГПИ. Был докторантом кафедры русской литературы XX века Московского педагогического государственного университета. Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы Благовещенского государственного педагогического университета. Главный редактор литературно-художественного, историко-публицистического, критического альманаха «Амур». Живет в Благовещенске.

Юрий Дмитриевич ШМАКОВ (1943 — 2008) — русский писатель, активист фэн-движения, журналист. Родился в городе Свердловске. Трудовую деятельность начал слесарем на закрытом военном заводе под Свердловском, окончил соответствующий техникум. В 1966–1971 годах — учеба на факультете журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького. На Дальнем Востоке с 1971 года, сначала в газете «Молодой дальневосточник», затем, в 1975–1978 годах, работал в отделе пропаганды Хабаровского крайкома партии, собственным корреспондентом по Дальнему Востоку газет «Пионерская правда» (1979–1985) и «Учительская газета» (1985–1989). В 1989 году Юрий Шмаков вместе с хабаровским писателем Павлом Халовым создал при Хабаровском краевом отделении Детского фонда издательство «Амур», которое единственное в стране специализировалось на выпуске книг, написанных детьми для детей. С 1989 по 1996 год работал редактором отдела детской и юношеской литературы издательства «Амур», затем снова в газете «Молодой дальневосточник». В 2005–2008 годах — редактор экологического журнала «Родное Приамурье». В 2007 году Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» присваивает журналу «Родное Приамурье» Хрустальный Женьшень. Автор сказочной повести «Пять подвигов Хаджикока», вышедшей в 1977 году с предисловием В. Крапивина. Жил в Хабаровске.

Марина Леонидовна ЯСИНСКАЯ родилась в Ростовской области в городе Батайске. Окончила юридический факультет и факультет лингвистики и международных отношений Ульяновского государственного университета, а также юридический факультет (программа магистра права) Университета Альберты в Канаде. В настоящее время работает в уголовном департаменте министерства юстиции Канады. В 2008 году стала лауреатом премии Факультет в номинации «Фантастика и фэнтези», в 2013-м — лауреатом четвертого литературного конкурса КГУ «Проявление» в номинации «Проза». Победитель сетевого фанта-литературного конкурса «Грелка», финалист всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». Имеет несколько десятков публикаций в различных журналах: «Сибирские огни», «Нева», «Уральский следопыт», «Полдень XXI век», «Химия и жизнь», «Мир фантастики» и других. Ряд рассказов публиковали в различных сборниках и антологиях: «Русская фантастика–2011 и 2012», «Настоящая фантастика–2013» и других. Живет в Канаде, в городе Эдмонтон.

КГБУК «Редакция «Дальний Восток»

оказывает услуги по полной предпечатной подготовке авторских рукописей к изданию, включающие редактуру, корректуру, дизайн, верстку.

Предоставляем готовый макет в электронном виде, в формате, соответствующем требованиям заказчика.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Редакция принимает к рассмотрению рукописи, присланные на электронных носителях (CD- и DVD-дисках, флэш-картах, по электронной почте) и **на бумажном носителе одновременно**. Флоппи-дискеты в качестве носителей могут быть отклонены по техническим причинам. Нежелательно предоставление рукописей в виде книжно-журнальной верстки. Рукописи, выполненные от руки, отклоняются сразу.

Произведения прозы объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) и поэзии более 5 авторских листов не рассматриваются.

Рукописи не рецензируются, а носители не возвращаются. Сроки рассмотрения рукописей редакция определяет по мере их поступления. К сожалению, редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку с авторами, а только извещает авторов о своем решении.

В конце года редколлегия журнала определяет победителей в номинациях «проза», «поэзия», «очерк и публицистика», «критика и библиография».

Просим авторов сообщать о себе следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество;
- краткие биографические сведения (*где и когда родились, образование, какое учебное заведение окончили, где и кем работали и работаете в настоящее время, звания, награды, членство в СП*), в каких изданиях печатались; автором каких книг, сборников являетесь; где живете;
- домашний адрес, индекс, контактный телефон; e-mail.

Присылайте также личное фото для публикации на сайте журнала.

Эти сведения Вы можете выслать по почте, по факсу или на электронный адрес редакции.

МНЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ АВТОРАМИ В ПУБЛИКАЦИЯХ, МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Российский литературный журнал

Директор — Н. С. Савина; главный редактор — А. В. Николашина;
редактор прозы — Т. Н. Савельева; редактор поэзии — Е. Р. Добровенская;
секретарь — Н. Е. Черникова; набор и верстка — Н. М. Соболев;
корректор — З. М. Бугрова

Учредитель — Союз писателей Российской Федерации.

**Издание осуществляется при финансовой поддержке
Министерства культуры Хабаровского края**

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ.
Свидетельство о регистрации № 349 от 15 ноября 1990 года.

Сдано в набор 06. 07. 2015. Подписано к печати 03. 09. 2015.

Формат 70х108/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21. Заказ № 560. Тираж 700 экз.

Цена свободная.

Подписной индекс журнала:
в каталоге МАП — 14406; в каталоге «Роспечать» — 73103.

Адрес редакции и издателя: 680000, Хабаровск, пер. Капитана Дьяченко, 7а.

Телефоны: приемная — (4212) 32-59-68; главный редактор — (4212) 32-92-78;
отделы прозы и поэзии — (4212) 31-24-01; отдел публицистики — (4212) 31-20-86
Факс (4212) 32-59-68; E-mail: dvjournal@mail.ru

ОАО «Хабаровская краевая типография»: 680038, Хабаровск, ул. Серышева, 31.